ЭДГАР АЛЛАН

ПО

Повесть о приключениях
Артура Гордона Пима
Рассказы



ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Рассказы

Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Рассказы (сборник)
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима
Рассказы
Метценгерштейн
Береника
Морелла
Король Чума. Рассказ, содержащий Аллегорию
Тишина. Притча
Вильям Вильсон
Почему французик носит руку на перевязи
Низвержение в Мальстрем
Беседа Моноса и Уны
Овальный портрет
Маска Красной Смерти
Ангел Необъяснимого. Экстраваганца
Разговор с мумией
Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром
Сфинкс

Бочонок амонтильядо
Прыг-Скок
Как была набрана одна газетная заметка

Аннотация

Повесть о приключениях Артура Гордона Пима – единственный законченный роман родоначальника триллеров Эдгара Алана По. Сам автор пытался выдать его за реальный документ, ведь роман начинается как обычное повествование о морских приключениях. Тем более странными и страшными становятся дальнейшие события, которые приводят к скорому концу, пропитанному ужасом необъяснимого. И хотя при жизни автора критики называли роман «неудачей», он стал самым переводимым произведением По. Перевод на французский был сделан Шарлем Бодлером. Другой француз – Жюль Верн – написал продолжение романа под названием «Ледяной сфинкс». Герберт Уэллс называл «Повесть...» одной из трех книг особенно поразивших его детское воображение. «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта полны аллюзий к приключениям Пима. Роман печатается в переводе Г. Злобина. Рассказы, вошедшие в сборник, демонстрируют все грани таланта Эдгара По – новатора, юмориста и мастера

острого сюжета.

Эдгар Аллан По
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Рассказы (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Повесть о приключениях Артура Гордона Пима[1]

Предисловие

Несколько месяцев тому назад, по возвращении в Соединенные Штаты после ряда удивительнейших приключений в Южном океане, изложение которых предлагается ниже, обстоятельства свели меня с несколькими джентльменами из Ричмонда, штат Виргиния, каковые обнаружили глубокий интерес ко всему, что касалось мест, где я побывал, и посчитали моим непременным долгом опубликовать мой рассказ. У меня, однако, были причины для отказа, и сугубо частного характера, затрагивающие только меня одного, и не совсем частного.

Одно из соображений, которое удерживало меня, заключалось в опасении, что поскольку большую часть моего путешествия дневника я не вел, то я не сумею воспроизвести по памяти события достаточно подробно и связно, дабы они и казались такими же правдивыми, какими

---

[1] Сноски: 1

© Перевод. Г. Злобин.

были в действительности — не считая разве что естественных преувеличений, в которые все мы неизбежно впадаем, рассказывая о происшествиях, глубоко поразивших наше воображение.

Кроме того, события, которые мне предстояло изложить, были столь необыкновенного свойства и притом никто в силу обстоятельств не мог их подтвердить (если не считать единственного свидетеля, да и тот индеец-полукровка), — что я мог рассчитывать лишь на благосклонное внимание моей семьи и тех моих друзей, которые, зная меня всю жизнь, не имели оснований сомневаться в моей правдивости, в то время как широкая публика, по всей вероятности, сочла бы написанное мною беззастенчивой, хотя и искусной выдумкой. Тем не менее одной из главных причин того, почему я не последовал советам своих знакомых, было неверие в свои сочинительские способности.

Среди виргинских джентльменов, проявивших глубокий интерес к моим рассказам, особенно той их части, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, незадолго, до того ставший редактором «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого

мистером Томасом У. Уайтом[2] в Ричмонде. Как и прочие, мистер По настоятельно рекомендовал мне, не откладывая, написать обо всем, что я видел и пережил, и положиться на проницательность и здравый смысл читающей публики; при этом он убедительно доказывал, что, какой бы неумелой ни получилась книга, сами шероховатости стиля, если таковые будут, обеспечат ей большую вероятность быть принятой как правдивое изложение действительных событий.

Несмотря на эти доводы, я не решился последовать его совету. Тогда он предложил (видя, что я непоколебим), чтобы я позволил ему самому описать, основываясь на изложенных мною фактах, мои ранние приключения и напечатать это в «Южном вестнике» *под видом вымышленной повести*. Не видя никаких тому препятствий, я согласился, поставив единственным условием, чтобы в повествовании фигурировало мое настоящее имя. В результате две части, написанные мистером По, появились в «Вестнике» в январском и февральском выпусках (1837 г.), и для того, чтобы они воспринимались именно

[2] Сноски: 2

Томас У. Уайт (1788–1843) — печатник, в чьей типографии печатался журнал «Сатерн литерери мессенджер», который Э. По редактировал в 1835–1837 гг.

как беллетристика, в содержании журнала значилось его имя.

То, как была принята эта литературная хитрость, побудило меня в конце концов взяться за систематическое изложение моих приключений и публикацию записей, ибо, несмотря на видимость вымысла, в которую так искусно была облечена появившаяся в журнале часть моего рассказа (причем ни единый факт не был изменен или искажен), я обнаружил, что читатели все-таки не склонны воспринимать ее как вымысел; напротив, на имя мистера По поступило несколько писем, определенно высказывающих убежденность в обратном. Отсюда я заключил, что факты моего повествования сами по себе содержат достаточно свидетельств их подлинности и мне, следовательно, нечего особенно опасаться недоверия публики.

После этого expose[3] всякий увидит, сколь велика та доля нижеизложенного, которая принадлежит мне; необходимо также еще раз оговорить, что ни единый факт не подвергся искажению на нескольких первых страницах, которые написаны мистером По. Даже тем читателям, кому не

---

[3] Сноски: 3
Изложение, отчет (*фр.*).

попался на глаза «Вестник», нет необходимости указывать, где кончается его часть и начинается моя: они без труда почувствуют разницу в стиле.

А.-Г. Пим. Нью-Йорк, июль, 1838 г.

1

Меня зовут Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морскими товарами в Нантакете, где я и родился. Мой дед по материнской линии был стряпчим и имел хорошую практику. Ему всегда везло, и он успешно вкладывал деньги в акции Эдгартаунского нового банка, как он тогда назывался. На этих и других делах ему удалось отложить немалую сумму. Думаю, что он был привязан ко мне больше, чем к кому бы то ни было, так что я рассчитывал после его смерти унаследовать большую часть его состояния. Когда мне исполнилось шесть лет, он послал меня в школу старого мистера Рикетса, однорукого джентльмена с эксцентрическими манерами — его хорошо знает почти всякий, кто бывал в Нью-Бедфорде. Я проучился в его школе до шестнадцати лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда, расположенную на холме. Здесь я сблизился с сыном капитана Барнарда, который обычно плавал на судах Ллойда и Реденберга, —

мистер Барнард также очень хорошо известен в Нью-Бедфорде, и я уверен, что в Эдгартауне у него множество родственников. Сына его звали Август, он был почти на два года старше меня. Он уже ходил с отцом за китами на «Джоне Дональдсоне» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него дома, оставаясь там на целый день, а то и на ночь. Мы забирались в кровать, и я не спал почти до рассвета, слушая его истории о дикарях с Тиниана и других островов, где он побывал во время своих путешествий. Меня поневоле увлекали его рассказы, и я постепенно начал ощущать жгучее желание самому пуститься в море. У меня была парусная лодка «Ариэль» стоимостью примерно семьдесят пять долларов, с небольшой каютой, оснащенная как шлюп. Я забыл ее грузоподъемность, но десятерых она держала без труда. Мы имели обыкновение совершать на этой посудине безрассуднейшие вылазки, и, когда я сейчас вспоминаю о них, мне кажется неслыханным чудом, что я остался жив.

Прежде чем приступить к основной части повествования, я и расскажу об одном из этих приключений. Как-то у Барнардов собрались гости, и к исходу дня мы с Августом изрядно захмелели.

Как обычно в таких случаях, я предпочел занять часть его кровати, а не тащиться домой. Я полагал, что он мирно заснул, не обронив ни полслова на свою излюбленную тему (было уже около часу ночи, когда гости разошлись). Прошло, должно быть, полчаса, как мы улеглись, и я начал было засыпать, как вдруг он поднялся и, разразившись страшными проклятиями, заявил, что лично он не собирается дрыхнуть, когда с юго-запада дует такой славный бриз, — что бы ни думали на этот счет все Гордоны Пимы в христианском мире вместе взятые. Я был поражен, как никогда в жизни, ибо не знал, что он затеял, и решил, что Август просто не в себе от поглощенного вина и прочих напитков. Изъяснялся он, однако, вполне здраво и заявил, что я, конечно, считаю его пьяным, но на самом деле он трезв как стеклышко. Ему просто надоело, добавил он, валяться, словно ленивому псу, в постели в такую ночь, и сейчас он встанет, оденется и отправится покататься на лодке. Я не знаю, что на меня нашло, но едва он сказал это, как я почувствовал глубочайшее волнение и восторг, и его безрассудная затея показалась мне чуть ли не самой великолепной и остроумной на свете. Поднялся почти штормовой ветер, было очень холодно: дело происходило

в конце октября. Тем не менее я спрыгнул в каком-то экстазе с кровати и заявил, что я тоже не робкого десятка, что мне тоже надоело валяться, словно ленивому псу, в постели и что я тоже готов, чтобы развлечься, на любую выходку, как и какой-то там Август Барнард из Нантакета.

Не теряя времени, мы оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старого полусгнившего причала на лесном складе «Пэнки и Компания», почти стукаясь бортом о разбитые бревна. Август прыгнул в лодку, которая была наполовину полна воды, и принялся вычерпывать воду. Покончив с этим, мы подняли стаксель и грот и смело пустились в открытое море.

С юго-запада, как я уже сказал, дул сильный ветер. Ночь была ясная и холодная. Август сел у руля, а я расположился на палубе около мачты. Мы неслись на огромной скорости, причем ни один из нас не проронил ни слова с того момента, как мы отошли от причала. Я спросил моего товарища, куда он держит курс и когда, по его мнению, нам стоит возвращаться. Несколько минут он насвистывал, потом язвительно заметил: «*Я* иду в море, а *ты* можешь отправляться домой, если угодно». Повернувшись к нему, я сразу понял, что, несмотря на кажущееся *безразличие*,

он сильно возбужден. При свете луны мне было хорошо видно, что лицо его белее мрамора, а руки дрожат так, что он едва удерживает румпель. Я понял, что с ним что-то стряслось, и не на шутку встревожился. В ту пору я не умел как следует управлять лодкой и полностью зависел от мореходного искусства моего друга.

Ветер внезапно стал крепчать, мы быстро отдалялись от берега, и все-таки мне было стыдно выдать свою боязнь, и почти полчаса я решительно хранил молчание. Потом я не выдержал и спросил Августа, не лучше ли нам повернуть назад. Как и в тот раз, он чуть ли не с минуту молчал и вообще, казалось, не слышал меня. «Потихоньку, полегоньку, — пробормотал он наконец. — Время еще есть… домой потихоньку, полегоньку». Другого ответа я не ожидал, но в тоне, каким были произнесены эти слова, было что-то такое, что наполнило меня неописуемым страхом. Я еще раз внимательно посмотрел на спутника. Губы его были мертвенно-бледны и колени тряслись так, что он, казалось, не может двинуться с места. «Ради бога, Август! — вскричал я, напуганный до глубины души. — Что случилось?.. Тебе плохо?.. Что ты задумал?» — «Что случилось?.. — выдавил он в полнейшем как

будто удивлении и в тот же миг, выпустив из рук румпель, осел на дно лодки. — Н-ничего… ничего не случилось… поворачиваю назад… разве не видишь?» Только теперь меня осенило и я понял, в чем дело.

Бросившись вперед, я приподнял друга. Он был пьян, пьян до бесчувствия, так что не мог держаться на ногах, ничего не слышал и не видел вокруг. Глаза его совсем остекленели; в крайнем отчаянии я выпустил его из рук, и он, как бревно, скатился обратно в воду на дно лодки. Было ясно, что во время пирушки он выпил гораздо больше, чем я думал, и его странное поведение в постели было результатом последней степени опьянения, — в таком состоянии, как и в припадке безумия, жертва часто способна сохранять вид человека, вполне владеющего собой. Однако холодный ночной воздух сделал свое дело, нервное возбуждение под его воздействием начало спадать, и то обстоятельство, что Август, несомненно, весьма смутно сознавал опасность положения, в каком мы находились, приблизило катастрофу. Сейчас мой друг совсем лишился чувств, и никакой надежды на то, что в ближайшие часы он придет в себя, решительно не было.

Трудно представить меру моего ужаса. Вин-

ные пары успели улетучиться, я чувствовал себя вдвойне нерешительным и беспомощным. Я понимал, что не справлюсь с лодкой, что яростный ветер и сильный отлив гонят нас навстречу гибели. Где-то позади собирался шторм, у нас не было ни компаса, ни пищи, и я знал, что если не изменить курс, то еще до рассвета мы потеряем землю из виду. Эти мысли наряду с массой других, столь же пугающих, с поразительной быстротой промелькнули у меня в сознании и на несколько мгновений парализовали мою волю к действию.

Наша лодка, то и дело зарываясь носом в кипящую пену, летела с чудовищной скоростью, полным ветром — ни на стакселе, ни на гроте рифы не были взяты. Чудо из чудес, что волны не проломили борта, — ведь Август, как уже говорилось, бросил румпель, а я сам был настолько взволнован, что мне не пришло в голову сесть к рулю. К счастью, лодка продолжала идти прямо, и постепенно я в какой-то мере обрел присутствие духа. Ветер угрожающе крепчал, и всякий раз, когда нас возносило на гребень, волны разбивались о подзор кормы и обдавали нас водой. Но я почти ничего не ощущал: все члены моего тела словно одеревенели. Наконец я собрал последние силы и, с отчаянной решимостью кинувшись

вперед, сорвал грот. Как и следовало ожидать, парус перекинуло ветром через нос, он намок в воде и потащил за собой мачту, которая, сломавшись, обрушилась в воду, едва не повредив борт. Только благодаря этому происшествию я избежал неминуемой гибели. Оставшись под одним стакселем, лодка продолжала нестись по ветру, то и дело захлестываемая тяжелыми волнами, но непосредственная угроза все-таки миновала. Я взял руль и вздохнул свободнее, видя, что у нас еще есть какая-то возможность в конце концов спастись. Август по-прежнему лежал без чувств на дне лодки, и я начал опасаться, что он захлебнется (в том месте, где он упал, воды набралось почти на целый фут). Я ухитрился приподнять товарища и, обвязав вокруг его пояса веревку, которую прикрепил к рым-болту на палубе, оставил в сидячем положении. Сделав, таким образом, все, что мог, дрожа от волнения, я целиком вверил себя всевышнему и, собравшись с силами, решил достойно встретить любую опасность.

Едва я пришел к этому решению, как вдруг неистовый протяжный вопль, словно взревела тьма демонов, наполнил воздух. Никогда, покуда я жив, мне не забыть сильнейшего приступа ужаса, что овладел мною в тот миг. Волосы у меня

встали дыбом, кровь застыла в жилах. Сердце остановилось, и, не поднимая глаз, так и не узнав причины катастрофы, я покачнулся и упал без сознания на тело моего неподвижного спутника.

Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь в каюте большого китобойного судна «Пингвин», держащего курс на Нантакет. Около меня стояло несколько человек, а бледный, как смерть, Август усердно растирал мне руки. Возгласы благодарения и радости, которые он издал, увидя, что я открыл глаза, вызвали улыбки облегчения и слезы на суровых лицах присутствующих. Вскоре разъяснилась и загадка того, как мы остались живы. На нас наскочило китобойное судно, которое, держась круто к ветру, направлялось к Нантакету на всех парусах, какие только рискнули поднять, и, следовательно, гало почти под прямым углом к нашему курсу. На вахте было несколько впередсмотрящих, но они не замечали нашу лодку до того мгновения, когда избежать столкновения было ужо невозможно, — крики, которыми они пытались предупредить нас, завидев лодку, и повергли меня в ужас. Огромный корабль, как мне рассказывали, подмял нас с такой же легкостью, с какой наше утлое суденышко переехало бы соломинку, и без малейшего, хоть сколько-

нибудь заметного замедления хода. Ни единого возгласа не донеслось с лодки, терпевшей крушение, был слышен лишь слабый, заглушаемый ревом ветра и волн, скребущий звук, пока нашу хрупкую скорлупу, которую уже поглотила вода, не протащило вдоль киля наскочившего на нас китобоя, и это все.

Приняв нашу лодку за какую-то брошенную за бесполезностью посудину (напомню, что у нас сорвало мачту), командир корабля (капитан Э. — Т. — В. Блок из Нью-Лондона) решил не обращать внимания на происшествие и следовать своим курсом. К счастью, двое из стоявших на вахте побожились, что у руля определенно кто-то находился и что человека можно еще спасти. Вспыхнул спор, Блок вышел из себя и заявил, что «только у него и дел, чтобы заботиться о какой-то яичной скорлупе, что он не станет поворачивать корабль из-за всякой чепухи, что если там человек, то в этом нет ничьей вины, кроме его собственной, — он может идти ко дну и будь он проклят» или что-то в этом роде. В спор вступил Хендерсон, первый помощник капитана, справедливо возмущенный, как и вся остальная команда, его словами, выдающими крайнее бессердечие и жестокость. Видя поддержку матросов, он ре-

шительно сказал капитану, что тот заслуживает виселицы и что он не подчинится его распоряжениям, даже если его повесят, едва он ступит на сушу. Оттолкнув Блока в сторону (который побледнел, но не сказал ни слова), он зашагал к корме и, схватившись за штурвал, твердым голосом крикнул: «К повороту!» Матросы кинулись по своим местам, и судно совершило искусный поворот. Маневр занял почти пять минут, и трудно было предположить, что можно успеть прийти кому-то на выручку, если вообще в лодке кто-то был. И все-таки, как уже знает читатель, Август и я были спасены; мы избавились от смерти благодаря почти непостижимой двойной удаче, которую мудрые и благочестивые люди приписывают особому вмешательству провидения.

Пока судно еще не забрало ветер, помощник капитана приказал спустить ял и спрыгнул в него с двумя матросами, теми самыми, как я понимаю, которые утверждали, что видели меня у руля. Едва они отгребли от кормы, — луна сияла по-прежнему ярко, — как судно сильно накренило под ветер, и в тот же миг Хендерсон, привстав с кормового сиденья, закричал гребцам, чтобы те *табанили*. Он ничего не объяснял, только нетерпеливо повторял: *«Табань*! Табань!»

Люди принялись грести изо всех сил в обратную сторону, но к этому времени судно уже завершило поворот и устремилось вперед, хотя команда на борту прилагала все усилия, чтобы убрать паруса.

Как только ял поравнялся с грот-мачтой, помощник капитана, презирая опасность, ухватился за вант-путенсы на борту судна. Тут судно опять резко накренилось, обнажив правый борт почти до киля, тогда-то и стала очевидной причина его беспокойства. На гладком блестящем днище («Пингвин» ниже ватерлинии был обшит медью, и его набор кренился медными болтами) каким-то необыкновеннейшим образом повисло человеческое тело, которое колотилось об обшивку при малейшем движении корабля. После нескольких безуспешных попыток, когда каждый толчок судна грозил потопить шлюпку, меня — ибо это было мое тело — наконец вызволили из опасности и подняли на борт. Оказалось, что какой-то болт сдвинулся с места, пропорол обшивку, и, когда нас протаскивало под днищем, я зацепился за него и повис там в совершенно невообразимом положении. Конец болта прошел через воротник надетой на мне зеленой суконной куртки, сквозь заднюю часть шеи и вышел нару-

жу между двумя мышцами чуть ниже правого уха. Меня немедленно уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. Хирурга на борту не было. Правда, капитан старался помочь мне, как мог, чтобы оправдать, как мне кажется, в глазах команды свое чудовищное поведение в начале происшествия.

Тем временем Хендерсон на шлюпке снова отошел от судна, хотя ветер уже достигал почти ураганной силы. Не прошло и нескольких минут, как ему стали попадаться обломки нашей лодки, и вскоре один из матросов, которые были с ним, стал уверять, что сквозь рев бури он слышит крики о помощи. Это заставило отважных моряков упорно продолжать поиски, несмотря на то что капитан Блок то и дело подавал им сигналы вернуться и каждый миг пребывания на воде в такой хрупкой шлюпке был чреват смертельной опасностью. В самом деле, почти невозможно себе представить, как крохотная шлюпка избежала крушения в первую же секунду. Шлюпка, однако, была сработана на славу, специально для китобойного промысла, и была снабжена воздушными ящиками, в чем я потом имел возможность убедиться, — на манер некоторых спасательных ботов, которыми пользуются у

побережья Уэльса.

После тщетных поисков в течение упомянутого времени было решено вернуться на судно. Едва они пришли к этому заключению, как с какого-то темного предмета, быстро проплывавшего неподалеку, послышался слабый крик. Они пустились вдогонку и скоро настигли неизвестный предмет. Это был палубный настил «Ариэля». Около него из последних сил боролся с волнами Август. Когда его поднимали на борт шлюпки, оказалось, что он привязан веревкой к плавающему дереву. Напомню, что это была та самая веревка, которой я обвязал Августа вокруг пояса, а конец прикрепил к рым-болту, чтобы удержать его в сидячем положении; вышло так, что эта моя предосторожность в конечном счете сохранила ему жизнь. «Ариэль» был сколочен без особого тщания, и, когда на нас наскочил «Пингвин», остов его развалился на куски, а палубный настил оторвало от корпуса водой, хлынувшей в лодку, и он, вместе с другими обломками, выплыл на поверхность; благодаря этому Август тоже удержался на поверхности и избежал таким образом ужасной гибели.

Прошло более часа с того момента, как Августа подняли на борт, прежде чем он мог уяснить, что же, собственно, произошло с нашей лодкой,

и рассказать о себе. Наконец он полностью очнулся от беспамятства и подробно рассказал о том, что он испытал, оказавшись за бортом. Едва придя в себя, он обнаружил, что его с немыслимой быстротой крутит под водою, а вокруг его шеи туго, в три-четыре раза обвязана веревка. В следующее мгновение он почувствовал, что быстро поднимается на поверхность и, сильно стукнувшись головой обо что-то твердое, опять теряет сознание. Когда он снова пришел в себя, он мог уже кое-что соображать, хотя рассудок его был еще затемнен и мысли путались. Он понял, что лодка потерпела крушение, он в воде, хотя и на поверхности и может более или менее свободно дышать. Вероятно, в это время лодка быстро неслась по ветру и тащила его, лежащего на спине, за собой. Само собой разумеется, он мог не опасаться, что пойдет ко дну, пока сумеет удержаться в том же положении. Вскоре волна кинула его на самый настил, и он судорожно вцепился в доски, время от времени призывая на помощь. Как раз перед тем, как его услышали со шлюпки мистера Хендерсона, он, обессилев, разжал пальцы, соскользнул в воду и решил, что погиб. Пока он боролся за свою жизнь, ему ни разу не пришла в голову мысль ни об «Ариэле»,

ни о том, что же, собственно, с ним случилось. Им целиком завладело смутное ощущение ужаса и отчаяния. Когда его наконец подобрали, он был без памяти, и, как уже говорилось, прошел добрый час, прежде чем он вполне осознал, в какую попал переделку. Что до меня, то я был возвращен к жизни из состояния, граничащего со смертью (после того как в течение трех с половиной часов перепробовали всевозможные средства), и результате энергичного растирания фланелью, смоченной в горячем масле, — эта мера была предложена Августом. Рана в шее, хотя и имела отвратительный вид, оказалась неопасной, и я скоро от нее оправился.

Выдержав один из самых жестоких штормов, какие случались у берегов Нантакета, «Пингвин» около девяти часов утра вошел в порт. Мы с Августом успели появиться у него дома как раз к завтраку, который, по счастью, запоздал из-за вчерашней попойки. За столом никто не обратил внимания на наш измученный вид, думаю — потому, что все были чересчур утомлены, хотя, разумеется, это не ускользнуло бы от более пристального взгляда. Когда школьники хотят обмануть старших, они способны творить чудеса, и я убежден, что ни у кого из наших друзей в

Нантакете не закралось подозрение, что потрясающая история, рассказанная матросами в городе, о том, как они пустили ко дну какое-то судно с тридцатью или сорока беднягами на борту, имела касательство к «Ариэлю», моему товарищу или ко мне. Мы с Августом неоднократно обсуждали происшествие и всякий раз содрогались от ужаса.

Во время одного такого разговора Август честно признался, что ни разу в жизни не испытывал столь мучительного смятения, как в тот момент, когда на борту нашего утлого суденышка вдруг осознал, до какой степени он пьян, и почувствовал, как под воздействием винных паров погружается куда-то в небытие.

2

В силу наших пристрастий или предубеждений мы не способны извлекать урок даже из самых очевидных вещей. Можно было бы предположить, что происшествие, подобное тому, о котором я рассказал, значительно охладит мою зарождающуюся страсть к морю. Но, напротив, я никогда не испытывал более жгучей жажды безумных приключений, сопутствующих жизни мореплавателя, чем по прошествии недели с момента нашего чудесного избавления. Это-

го короткого промежутка времени оказалось вполне достаточно, чтобы из моей памяти изгладились мрачные краски недавнего опасного происшествия и в ярком свете предстали все его волнующие мазки, вся его живописность. Наши беседы с Августом день ото дня становились все более частыми и захватывающими. Его манера рассказывать о своих приключениях в океане (более половины которых, как я теперь подозреваю, были просто-напросто выдуманы) вполне отвечала моему экзальтированному характеру, и они находили отклик в моем пылком, хотя несколько болезненном воображении. Странно также, что мое влечение к морской жизни более всего подогревалось тогда, когда он рисовал случаи самых невероятных страданий и отчаяния.

Меня не пленяли светлые тона в его картинах. Мне виделись кораблекрушения и голод, смерть или плен у варварских орд, жизнь в терзаниях и слезах на какой-нибудь седой необитаемой скале, посреди недоступного и непостижимого океана. Впоследствии меня уверяли, что подобные видения или вожделения — ибо они действительно превращались в таковые — обычны среди всего людского племени меланхоликов; в то же время, о котором идет речь, я усматривал в них про-

роческие проблески высшего предначертания, которому я в какой-то мере обязан следовать, Август целиком проникся моим умонастроением. Не исключено даже, что наш сокровенный союз имел следствием частичное взаимопроникновение характеров.

Спустя около полутора лет после гибели «Ариэля» компания «Ллойд и Реденберг» (каким-то образом связанная, как я предполагаю, с господами Эндерби из Ливерпуля) занялась починкой брига «Дельфин» и снаряжением его для охоты на китов. Это была старая посудина, которая даже после того, как с ней сделали все, что можно было сделать, едва ли стала мореходной. Мне трудно сказать, почему «Дельфин» предпочли другим, хорошим судам, принадлежащим тем же владельцам, но дело обстояло именно так. Мистера Барнарда назначили капитаном, и Август собирался отправиться с ним. Пока бриг готовили к плаванию, он постоянно распространялся о том, какие отличные сейчас представляются возможности для осуществления моей мечты пуститься в путешествие. Он нашел во мне вполне благосклонного слушателя. Но устроить все оказалось не так-то просто. Если мой отец отнюдь не противодействовал мне, то с матерью случалась

истерика при одном упоминании о моей затее; однако неприятнее всего было то, что мой дед, от которого я многого ожидал, поклялся лишить меня наследства, если я еще хоть раз заведу разговор на эту тему. Эти препятствия, однако, не только не погасили мое желание, но даже подлили масла в огонь. Я решил идти в море во что бы то ни стало и, сообщив свое решение Августу, вместе с ним принялся разрабатывать план действий. Все это время я ни с кем из своих родственников не заговаривал о плавании, и поскольку был поглощен по видимости обычными занятиями, то все предположили, что я отказался от своих намерений. Впоследствии я не раз вспоминал мое поведение в те дни, испытывая смешанное чувство неудовольствия и удивления. Отъявленное лицемерие, с помощью которого я добивался достижения своего замысла и которым было отмечено каждое мое слово и каждый поступок на протяжении столь длительного срока, оказалось мне по плечу лишь благодаря пылким и необузданным надеждам, с какими я ожидал исполнения моей давно лелеемой мечты о путешествиях.

Дабы не навлечь на нас подозрений, я по необходимости вынужден был много дел оставить на попечение Августа, который каждый день

большую часть времени был занят на борту «Дельфина», присматривая за кое-какими работами в каюте отца и трюме. Вечерами, однако, мы непременно встречались и обменивались новостями.

Так пролетел без малого месяц, а мы не сумели остановиться на каком-нибудь определенном плане, который обеспечил бы нам успех, пока, наконец, Август не придумал, что необходимо предпринять. В Нью-Бедфорде у меня жил родственник, мистер Росс, и время от времени я гостил у него в доме по две-три недели. Бриг должен был выйти в море около середины июня (1827 года), и было решено, что за день или два до отплытия «Дельфина» мой отец получит, как повелось, письмо от мистера Росса с приглашением для меня приехать и провести две недели с его сыновьями Робертом и Эмметом. Август взялся сочинить письмо и доставить его по назначению. Отправившись как будто в Нью-Бедфорд, я должен был встретиться с моим товарищем, который обеспечит мне убежище на борту «Дельфина». Он уверил меня, что устроит это убежище достаточно удобным для длительного пребывания, в течение которого я не должен обнаруживать себя. Когда бриг, следуя своим курсом, уйдет далеко

в море, так что никто не решится поворачивать его назад, меня, по словам Августа, как положено, водворят со всеми удобствами в каюту; что до его отца, то он лишь от души посмеется над нашей проделкой. По пути, разумеется, попадутся суда, с которыми можно будет отправить домой письмо и объяснить моим родителям случившееся.

Наконец наступила середина июня, все было готово. Август написал письмо, вручил его моему отцу, и в понедельник утром я поспешил, как считали дома, на пакетбот, отправляющийся в Нью-Бедфорд. Вместо этого я отправился прямо к Августу, который ждал меня за углом. Согласно первоначальному плану я должен был: дождаться в укромном месте темноты, а затем проникнуть на судно, по поскольку, на счастье, стоял густой туман, то было решено не терять времени. Август направился к пристани, а на отдалении последовал за ним я, закутанный, дабы меня не узнали, в толстый морской плащ, который он прихватил с собой. Едва мы прошли мимо колодца мистера Эдмунда и еще раз свернули за угол, как прямо передо мной собственной персоной предстал, глядя мне в лицо, не кто иной, как мой дед мистер Петерсон. «Гордон, да ты ли это? — воскликнул он, оправившись от удивле-

ния. — Что с тобой?.. Зачем ты напялил на себя это старое тряпье?» — «Сэр! — отвечал я что ни на есть хриплым голосом и стараясь изо всех сил, как того требовала чрезвычайность момента, напустить на себя оскорбленный недоумевающий вид. — Сэр! Вы ошибаетесь. Во-первых, мое имя вовсе не какой-то там Гордон, а во-вторых, я не позволю всякому проходимцу называть мой новый плащ тряпьем». Ей-ей, я едва мог удержаться от хохота, видя, как повел себя почтенный джентльмен, получив этот достойный отпор. Он отступил на два-три шага, побледнел, затем побагровел, сдвинул на лоб очки, потом снова опустил их на переносицу и в бешенстве кинулся на меня, подняв зонтик. Однако он тут же остановился как вкопанный, словно что-то внезапно сообразил, и, повернув, заковылял, прихрамывая, по улице, трясясь от ярости и бормоча сквозь зубы: «Никуда не годится… нужны новые очки… принял чужого человека за Гордона… Будь он неладен, этот долговязый Том, бездельник, ржавая селедка!»

После этой рискованной встречи мы продвигались с большей осторожностью и без приключений добрались до пристани. На борту «Дельфина» находилось два или три матроса, да и те что-то

делали у комингса люка на баке. Что до капитана Барнарда, то он, как мы знали, был занят в конторе «Ллойд и Реденберг» и останется там допоздна, так что мы могли не опасаться его появления. Август первый подошел к трапу, и вскоре, не замеченный работающими матросами, за ним последовал и я. Мы быстро пробрались в кают-компанию. Там никого не было. Кают-компания оказалась оборудованной с большим комфортом и вкусом, что весьма редко на китобойных судах. В нее выходили четыре отличные отдельные каюты с широкими удобными койками. Я обратил внимание на большую печь и на удивительно толстый дорогой ковер, который был постлан на пол в салоне и каютах. Высота подволока достигала добрых семи футов, словом, здесь сверх ожидания было просторно и уютно. Мне удалось лишь бегло осмотреть обстановку, так как Август торопил меня, считая, что я должен как можно скорее укрыться в моем убежище. Он провел меня в свою каюту, которая помещалась по правому борту, сразу за переборкой. Когда мы вошли, он закрыл дверь на засов. Я подумал, что никогда не видел более приятной комнатки, чем та, где мы оказались. Она имела в длину около десяти футов и только одну широкую, удобную койку, как и те,

о которых я уже упомянул. В тон части каюты, что примыкала к переборке, было свободное пространство площадью фута четыре, где стоял стол со стулом, а над ним были навешены полки, полные книг, главным образом о плаваниях и путешествиях. Тут были и другие небольшие предметы, придающие комнате уют, и среди них некое устройство, вроде ледника или рефрижератора, где, как показал мне Август, находилось множество вкусных вещей — в продуктовом и в винном отделении.

Затем он надавил пальцами на одно место в углу и сказал, что часть настила, размером около шестнадцати квадратных дюймов, здесь аккуратно вырезана и снова прилажена по месту. Когда он нажал рукой на край выпиленной части, тот чуть приподнялся, и он подсунул под него пальцы. Таким образом он поднял крышку люка (ковер держался на ней благодаря мебельным гвоздям), и я увидел, что он ведет в кормовой трюм. Затем Август фосфорной спичкой зажег маленькую свечу и, поместив ее в потайной фонарь, спустился в люк, позвав меня за собой. После того как я последовал его указанию, он с помощью гвоздя, вбитого с внутренней стороны, опустил крышку, причем ковер, как легко догадаться,

занял прежнее положение, скрыв какие бы то ни было следы отверстия.

Фонарь со свечой бросал такой слабый свет, что каждый шаг посреди наваленной кое-как кладки давался нам с величайшим трудом, мы шли чуть ли не ощупью. Постепенно, однако, глаза мои привыкли к мраку, и, держась за товарища, я продвигался вперед более уверенно. Бесчисленное множество раз нам приходилось пригибаться, пролезать через какие-то узкие проходы, но наконец он привел меня к окованному листовым железом ящику, наподобие тех, в каких иногда перевозят фаянс. В высоту он имел почти четыре фута, в длину полных шесть, но был очень узок. На ящике стояли две больших порожних бочки из-под масла, а сверху, поднимаясь до палубы каюты, было уложено огромное количество соломенных циновок. Кругом, куда ни ступи, в полнейшем беспорядке теснились, громоздясь до самого верха, всевозможнейшие предметы корабельного хозяйства и груды различных ящиков, корзин, бочонков, тюков, так что казалось чуть ли не чудом, что мы вообще сумели пробраться к ящику. Впоследствии я узнал, что Август намеренно набил трюм до отказа, чтобы наилучшим образом скрыть мое местопребывание, причем

работал он с помощью только одного человека, не идущего в плавание.

Мой спутник сказал, что при желании одну торцовую стенку ящика можно сиять. Он отодвинул ее в сторону и показал мне внутренность ящика. Я был приятно поражен: на дне ящика во всю длину был постелен матрац, снятый с каютной, койки, тут же находились почти все предметы первой необходимости, какие только можно было разместить в таком малом пространстве, оставив в то же время достаточно места, чтобы я мог расположиться — сидя или вытянувшись во весь рост. Среди вещей было несколько книг, перо, чернила и бумага, три одеяла, большой кувшин, наполненный водой, бочонок морских сухарей, три или четыре болонские колбасы, громадный окорок, зажаренная баранья нога и полдюжины бутылок горячительных напитков и ликера. Я немедленно вступил во владение своим крохотным жилищем, причем убежден, что испытал при этом удовольствие большее, нежели то, какое когда-либо доводилось испытать монарху, вступающему во дворец. Август научил меня, как закреплять открывающуюся стенку ящика, а затем, опустив свечу к настилу, показал мне кусок темной бечевки на полу. Эта бечевка,

объяснил он, протянута от моего убежища через все необходимые повороты и проходы между грузом к люку, ведущему в его каюту, и привязана к гвоздю, вколоченному в трюмную палубу как раз под ним. Следуя вдоль веревки, я могу легко выбраться отсюда без его помощи, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство вызовет такую необходимость. Затем он попрощался со мной, оставив мне фонарь с обильным запасом свечей и спичек, и обещал наведываться всякий раз, когда удастся проскользнуть сюда незамеченным. Это произошло семнадцатого июня.

Насколько можно судить, я провел в своем убежище три дня и три ночи, почти не вылезая из ящика, и лишь дважды, чтобы размять мускулы, выпрямился во весь рост между ящиками, как раз напротив открывающейся стенки. Все это время Август не показывался, но это не сильно беспокоило меня, поскольку я знал, что бриг должен вот-вот выйти в море и что в предотъездной суете ему нелегко выбрать, случай спуститься ко мне. Наконец я услышал, как поднялась, а затем опустилась крышка люка, и вскорости тихим голосом Август спросил, все ли у меня в порядке и не нужно ли мне чего-нибудь. «Нет, — сказал я. — Удобнее не устроишься. Когда отплываем?»

— «Судно снимается с якоря меньше чем через полчаса, — ответил он. — Я пришел сказать тебе об этом, чтобы ты не волновался из-за моего отсутствия. Я не смогу снова спуститься сюда какое-то время, может быть, дня три-четыре. Наверху все в порядке. Когда я вылезу и закрою крышку, пожалуйста, пройди вдоль бечевки сюда, где торчит гвоздь. Я оставляю здесь часы — они могут тебе пригодиться, чтобы узнавать время, ведь дневного света здесь нет. Ты, наверное, не знаешь, сколько ты тут просидел… всего три дня… сегодня двадцатое. Я принес бы часы сам, да боюсь, что меня хватятся». С этими словами он исчез.

Приблизительно через час после того, как Август ушел, я отчетливо почувствовал наконец, что судно движется, и поздравил себя с благополучным началом плавания. Вполне довольный, я решил по возможности ни о чем больше не думать и спокойно ожидать естественной развязки событий, когда мне разрешат сменить мой ящик на более просторное, хотя вряд ли намного более удобное каютное помещение. Первым делом надо было достать часы. Оставив свечу зажженной, я стал пробираться в полумраке вдоль бечевки, через бесконечный лабиринт переходов, так что иногда, одолев довольно большое расстояние, я

снова оказывался в футе или двух от исходной точки. В конце концов я добрался до гвоздя и, взяв часы, целым и невредимым вернулся назад.

Затем я просмотрел книги, которые заботливо подобрал для меня Август, и остановился на экспедиции Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Некоторое время я с интересом читал, потом почувствовал, что меня одолевает дремота, осторожно погасил свечу и вскоре уснул здоровым сном.

Проснувшись, я почувствовал, что никак не могу собраться с мыслями, и прошел какой-то срок, прежде чем мне удалось припомнить все обстоятельства моего положения. Постепенно я припомнил все. Я зажег свечу и посмотрел на часы, но они остановились, и я, следовательно, был лишен возможности узнать, как долго я спал. Члены мои совсем онемели, и я был вынужден размять мускулы, выпрямившись между ящиками. Почувствовав вскоре волчий аппетит, я вспомнил о холодной баранине, которой отведал перед тем как уснуть и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что она совершенно испортилась! Это обстоятельство вызвало у меня сильное беспокойство, ибо, связав его с беспорядочным состоянием

ума после пробуждения, я подумал, что спал, должно быть, необыкновенно долго. Одной из причин тому мог быть спертый воздух в трюме, что имело бы в конечном счете пренеприятные последствия. Сильно болела голова, казалось, что трудно дышать, и вообще меня обуревали самые мрачные предчувствия. И все же я не осмеливался дать о себе знать, открыв люк или как-нибудь иначе, а потому, заведя часы, решил, насколько возможно, запастись терпением.

На протяжении следующих двадцати четырех тягостных часов никто не явился избавить меня, и я не мог не винить Августа в явном невнимании к другу.

Но больше всего меня беспокоило то, что воды в моем кувшине поубавилось до полупинты, а я мучился жаждой, изрядно поев копченой колбасы, когда обнаружил, что моя баранина пропала. Мне было явно не по себе, читать решительно не хотелось. Кроме того, меня постоянно клонило ко сну, но я трепетал при мысли, что, поддавшись искушению, окажусь в удушливой атмосфере трюма, под каким-нибудь гибельным воздействием, например угарного газа. Между тем бортовая качка подсказывала мне, что мы вышли в океан, а непрерывное гудение, доносившееся словно бы

с огромного расстояния, убеждало, что разыгралась исключительной силы буря.

Августа все не было, и я терялся в догадках. Мы наверняка отошли достаточно далеко, и я мог бы уже подняться наверх. Конечно, с ним могло что-нибудь стрястись, но мне не приходило в голову ничего такого, что объяснило бы, почему он не вызволит меня из моего плена, — разве что он скоропостижно скончался или упал за борт. Но думать об этом было нестерпимо. Возможно, что нас задержал противный ветер и мы все еще находились в непосредственной близости от Нантакета. Это предположение, однако, тоже отпадало, ибо в таком случае судну пришлось бы часто делать поворот оверштаг, но оно постоянно кренилось на левый борт, из чего я с удовлетворением заключил, что благодаря устойчивому бризу с кормы справа мы не сходили с курса. Кроме того, если мы по-прежнему были поблизости от нашего острова, то почему бы Августу не спуститься и не сообщить мне об этом?

Размышляя таким образом о тягостях моего беспросветного одиночества, я решил выждать еще сутки, и если не придет помощь, то пробраться к люку и либо поговорить с другом, либо на худой конец глотнуть свежего воздуха через

отверстие и запастись водой в его каюте. Так, занятый этими мыслями, я забылся глубоким сном, вернее впал в состояние какого-то оцепенения, хотя всячески противился этому. Мои сновидения поистине были страшны. Какие только бедствия и ужасы не обрушивались на меня! То какие-то демоны свирепого обличья душили меня огромными подушками. То громадные змеи заключали меня в свои объятия, впиваясь в лицо своими зловеще поблескивающими глазами. То передо мной возникали бескрайние, пугающие своей безжизненностью, пустыни. Бесконечно, насколько хватал глаз, вздымались гигантские стволы серых голых деревьев. Корнями они уходили в обширные зыбучие болота с густо-черной мертвой отвратительной водой. Казалось, в этих невиданных деревьях было что-то человеческое, и, раскачивая свои костистые ветви, они резкими, пронзительными голосами, полными нестерпимых мук и безнадежности, взывали к молчаливым водам о милосердии. Затем картина переменилась: я стоял один, обнаженный, посреди жгучих песков Сахары. У самых моих ног распластался на земле свирепый лев. Внезапно глаза его открылись, и на меня упал бешеный взгляд. Изогнувшись всем туловищем,

он вскочил и оскалил свои страшные клыки. В следующее мгновение его кроваво-красный зев исторг рыкание, подобное грому с небесного свода. Я стремительно бросился на землю. Задыхаясь от страха, я наконец понял, что очнулся ото сна. Нет, мой сон был вовсе не сном. Теперь я уже был в состоянии что-то соображать. У меня на груди тяжело лежали лапы какого-то огромного живого чудовища… Я слышал его горячее дыхание на своем лице… его страшные белые клыки сверкали в полумраке.

Даже если бы мне даровали тысячу жизней за то, что я пошевелю пальцем, выдавлю хоть единый звук, то и тогда я не смог бы ни двинуться, ни заговорить. Неизвестный зверь оставался в том же положении, не предпринимая пока попытки растерзать меня, а я лежал под ним совершенно беспомощный и, как мне казалось, умирающий. Я чувствовал, как быстро покидают меня душевные и физические силы, я кончался, кончался единственно от страха. В голове у меня закружилось… я почувствовал отвратительную тошноту… глаза перестали видеть… даже сверкающие зрачки надо мной словно бы затуманились. Собрав остатки сил, я почти одними губами помянул имя господне и покорился неизбежному.

Звук моего голоса, видимо, пробудил у зверя затаенную ярость. Он бросился на меня всей своей тушей; но каково же было мое удивление, когда он тихо, протяжно заскулил и начал лизать мне лицо и руки со всей пылкостью и самыми неожиданными проявлениями привязанности и восторга! Я был поражен, совершенно сбит с толку, разве я мог забыть, как по-особому подвывал мой ньюфаундленд Тигр, его странную манеру ласкаться. Да, это был он! Кровь застучала у меня в висках, то была внезапная, до головокружения острая радость спасения и возврата к жизни. Я поспешно поднялся с матраца, на котором лежал, и, кинувшись на шею моему верному спутнику и другу, облегчил мою отчаявшуюся душу бурными горячими рыданиями.

Поднявшись с матраца, я обнаружил, что мысли мои, как и в тот раз, находятся в полном помрачении и сумятице.

Долгое время я был почти не в силах сообразить, что к чему; лишь мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать трезво, и я припомнил кое-какие обстоятельства, связанные с моим состоянием. Правда, я тщетно пытался объяснить появление Тигра, строил сотни догадок на этот счет, но в конце концов был вынужден доволь-

ствоваться утешительной мыслью, что он здесь и будет делить со мной тягостное одиночество и утешать своими ласками. Большинство людей любит собак, но к Тигру я питал пристрастие более пылкое, чем обыкновенно, и, конечно же, ни одно животное так не заслуживало этого, как он. Семь лет он был моим неразлучным спутником и неоднократно имел случай показать всевозможные благородные качества, за которые мы так ценим собак. Когда он был еще щенком, я выручил его из лап какого-то зловредного мальчишки, тащившего его на веревке в воду, а три года спустя, будучи взрослым псом, он отплатил мне тем же, — спас от дубинки уличного грабители.

Нащупав часы и приложив их к уху, я обнаружил, что они снова остановились. Но меня это ничуть не удивило, потому что по своему болезненному состоянию я знал, что, как и прежде, проспал очень долго, правда, узнать, сколько именно, было невозможно. У меня начался жар, нестерпимо хотелось нить. Я стал шарить, ища кувшин, где оставался еще небольшой запас воды, — света у меня не было, так как свеча догорела до самого гнезда в фонаре, а коробка со спичками не попадалась под руку. Наконец я наткнулся на кувшин, но он был пуст; Тигр, очевидно, не

удержался и вылакал воду и сожрал остатки баранины: у самого отверстия ящика валялась хорошо обглоданная кость. Испорченное мясо мне было ни к чему, но при мысли о том, что я лишился воды, я совсем пал духом. Я испытывал такую слабость, что меня трясло, как в лихорадке, при малейшем движении.

Вдобавок к моим бедам, бриг бешено кидало из стороны в сторону, и бочки из-под масла, которые стояли на ящике, грозили ежеминутно свалиться и загородить доступ в мое убежище. Кроме того, я ужасно страдал от приступов морской болезни. Эти соображения заставляли меня рискнуть во что бы то ни стало добраться до люка и просить помощи до того, как я окажусь не в силах вообще что-либо сделать. Утвердившись в этом решении, я принялся ощупью искать коробку со спичками и свечи. Коробку я нашел без особого труда, по свечей не оказалось там, где я думал (хотя я хорошо запомнил место, куда я их положил), и посему, отказавшись пока от поисков, я приказал Тигру лежать тихо и немедленно двинулся в путь к люку.

Во время этого путешествия моя слабость стала очевидной, как никогда. Каких трудов мне стоило ползти, руки и колени у меня то и дело

подгибались, и тогда, в полном изнеможении упав лицом на пол, я лежал по нескольку минут почти без чувств. И все-таки я продвигался мало-помалу, думая лишь о том, как бы не потерять сознания в этих узких, запутанных проходах между грудами клади, в результате чего меня неминуемо ждала смерть. Собрав все силы, я рванулся вперед и больно стукнулся головой об острый угол обитой железом клети. Удар лишь оглушил меня на несколько мгновений, но, к своему невыразимому огорчению, я увидел, что сильная порывистая качка сбросила клеть поперек прохода и она совершенно загородила мне дорогу. Как я ни старался, я не мог сдвинуть ее ни на дюйм, поскольку она оказалась зажата среди всяких ящиков и предметов корабельного хозяйства. Поэтому, несмотря на слабость, мне оставалось либо, отойдя от бечевки, искать новый проход, либо перелезть через препятствие и возобновить путь по другую сторону клети. Первая возможность таила такое множество опасностей и трудностей, что о ней нельзя было даже помыслить без содрогания. Ослабевший телом и духом, я неизбежно заблужусь, если сделаю такую попытку, и обреку себя на гибель в мрачных лабиринтах трюма. Поэтому я без

колебаний решил призвать на помощь остатки сил и воли и попробовать по мере возможности перелезть через клеть.

Я встал, чтобы осуществить свой план, но тут же увидел, что он потребует еще больших трудов, чем подсказывали мои опасения. В проходе по обе стороны клети громоздилась целая стена разной клади, и при малейшей моей оплошности она могла обрушиться мне на голову; если это и не случится сейчас, не исключено, что она завалит проход потом, когда я буду возвращаться, и образует такую же преграду, перед которой я стоял. Что до клети, то она была высокой, неудобной и решительно некуда было даже поставить ногу. Тщетно, чего-чего не пробуя, старался я достать до верха, в надежде затем подтянуться на руках. Впрочем, и к лучшему, ибо, дотянись я до верха, у меня все равно не хватило бы никаких сил перебраться через клеть. Наконец, отчаянно пытаясь хоть немного сдвинуть ее с места, я услышал, как на боковой ее стороне что-то дребезжит. Я нетерпеливо ощупал рукой края досок и почувствовал, что одна из них, весьма широкая, оторвалась от стойки. Орудуя перочинным ножом, который, к счастью, был при мне, я ухитрился после немалых трудов оторвать ее совсем; протиснувшись

сквозь отверстие, я, к чрезвычайной своей радости, не обнаружил на противоположной стороне досок — другими словами, клеть была открыта, и я, следовательно, пролез через днище. Затем я без особых задержек прошел вдоль бечевки и достиг гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился и легонько нажал на крышку люка. Она, против ожидания, не поддавалась, тогда я нажал более решительно, все еще опасаясь, что в каюте Августа находится кто-нибудь посторонний. Крышка, однако, оставалась неподвижной, и я встревожился, помня, как легко она открывалась раньше. Тогда я толкнул крышку посильнее — она сидела так же плотно, затем надавил со всей силой — она не сдвинулась с места, наконец, налег на нее в гневе, ярости, отчаянии — она не поддавалась никак. Крышка сидела совершенно неподвижно, значит, люк либо обнаружили и забили гвоздями, либо завалили каким-то тяжелым грузом, сдвинуть который я не мог.

Крайний ужас и смятение овладели мною. Напрасно пытался я рассуждать о вероятной причине моего заточения. Я не мог придумать сколько-нибудь связного объяснения и безвольно опустился на пол: мое мрачное воображение начало рисовать множество бедствий, ожидающих

меня, и наиболее отчетливо — смерть от жажды, голода, удушья и погребение заживо.

В конце концов присутствие духа отчасти возвратилось ко мне. Я встал и ощупью стал искать щель или трещину в крышке люка. Таковые обнаружились, и я тщательно обследовал, не пропускают ли они свет из каюты, но света не было видно. Я просунул лезвие ножа в одну щель, в другую, и всюду оно натыкалось на что-то твердое. Я поцарапал кончиком ножа — похоже на массивный кусок железа, причем с особой, неровной поверхностью, из чего я заключил, что это якорная цепь. Единственное, что мне оставалось, — это вернуться к себе в ящик и либо смириться с моим печальным уделом, либо успокоиться и самому разработать план спасения. Я немедленно отправился в обратный путь и после неимоверных трудностей добрался до места. Когда я в изнеможении упал на матрац, Тигр растянулся подле меня и стал ласкаться — казалось, он хочет утешить меня в моих бедах и страданьях и убеждает крепиться.

Необыкновенное его поведение в конце концов заставило обратить на себя внимание. Он то несколько минут подряд лизал мне лицо и руки, то вдруг переставал и тихонько взвизгивал. Про-

тягивая к нему руку, я каждый раз находил, что он лежит на спине, с поднятыми кверху лапами. Это повторялось неоднократно и потому показалось мне странным, хотя я никак не мог понять, в чем дело. Собаку, видимо, что-то мучило, и я решил, что Тигр получил какое-нибудь повреждение; беря его лапы в руки, я внимательно осмотрел их одну за другой, но не нашел ни единой царапины. Я подумал, что он голоден, и дал ему большой кусок окорока, который он с жадностью проглотил, но потом возобновил свои непонятные действия. Тогда я предположил, что он, как и я сам, страдает от жажды, и посчитал было, что так оно и есть, но тут мне пришло в голову, что осмотрел-то я лишь его лапы, а рана могла быть где-нибудь на теле или на голове. Я осторожно ощупал его голову, но ничего не нашел. Зато когда я провел рукой по спине, то почувствовал, что в одном месте шерсть слегка взъерошена на всем полукружье. Потом я дотронулся до какого-то шнурка и, проведя по нему пальцами, убедился, что им обвязано все туловище собаки.

Осторожно ощупывая шнурок, я наткнулся, судя по всему, на листок почтовой бумаги, сквозь который он и был продернут, причем таким образом, что записка находилась как раз под левым

плечом животного.

3

Да, у меня тут же промелькнула мысль, что листок бумаги — записка от Августа, что случилось что-то непредвиденное, помешавшее ему вызволить меня из заточения, и он прибегнул к этому способу, чтобы уведомить меня об истинном положении дел. Дрожа от нетерпения, я возобновил поиски фосфорных спичек и свечей. Я смутно помнил, что тщательно припрятал их перед тем, как заснуть, да и до последней моей вылазки к люку я в точности знал, куда я их положил. Однако сейчас я тщетно пытался припомнить место и убил целый час на бесплодные и нервные поиски пропажи — наверное, никогда я так не мучился от тревожного нетерпения. Но вот, высунувшись из ящика и принявшись шарить подле балласта, я вдруг заметил слабое свечение в той стороне, где находится руль. Я был поражен: оно казалось всего лишь в нескольких футах от меня, и я решительно двинулся вперед. Едва я тронулся с места, как свет пропал из виду, и мне пришлось возвращаться, ощупывая ящик, обратно, пока я не принял прежнее положение и не увидел свет снова. Осторожно наклоняя голову из стороны в

сторону, я понял, что, если медленно, тщательно следя за светом, пробираться в направлении, противоположном тому, куда я было направился, можно приблизиться к нему, не теряя из виду. Протиснувшись сквозь множество узких поворотов, я вскоре достиг источника света — на опрокинутом бочонке валялись обломки моих спичек. Я удивился, как они сюда попали, и в ту же секунду моя рука нащупала два-три куска воска, побывавших, очевидно, в пасти Тигра. Я сразу понял, что он сожрал все мои свечи и теперь я вообще не сумею прочитать записку. Несколько мелких комков воска смешались с мусором в бочонке, так что я отчаялся извлечь из них пользу. Однако я как можно бережнее собрал крупицы фосфора и с большим трудом вернулся к своему ящику, где меня все это время ждал Тигр.

Я решительно не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не видел собственной руки, даже поднося ее к самым глазам. Клочок белой бумаги был едва различим, да и то лишь тогда, когда я смотрел на него не прямо, а немного скосив глаза. Можно представить, какой мрак царил в моей темнице и как записка, написанная моим другом, если это в самом деле была записка, лишь причинила мне

еще больше огорчений, бесцельно обеспокоив мой и без того ослабленный и смятенный ум. Тщетно перебирал я в воспаленном мозгу самые нелепые средства раздобыть огонь, — такие в точности привиделись бы в лихорадочном сне курильщику опиума, — каждое из которых само по себе и все вместе казались то необыкновенно резонными, то ни с чем не сообразными, равно как попеременно брала верх склонность к фантазии или способность рассуждать здраво. Наконец мне пришла в голову мысль, которая представлялась вполне разумной, и я справедливо удивился, почему не напал на нее раньше. Я положил листок бумаги на переплет книги и бережно ссыпал остатки фосфорных спичек, которые я собрал с бочонка, на записку. Затем я принялся быстро, с нажимом растирать их ладонью. Немедленно по всей поверхности бумаги распространилось ясное свечение, и, если бы на ней было что-нибудь написано, я наверняка без малейшего труда прочитал бы это. Однако на листке не было ни слова — я видел только мучительную, пугающую белизну: через несколько секунд свечение померкло, наступила тьма, и сердце у меня замерло.

Я уже не раз говорил о том, что последнее вре-

мя мой разум находился в состоянии, близком к помешательству. Были, разумеется, недолгие периоды абсолютного здравомыслия, иногда даже подъема, но не часто. Не нужно забывать, что на протяжении многих дней я дышал затхлым воздухом трюма на китобойном судне и большую часть этого времени испытывал недостаток воды. Последние четырнадцать или пятнадцать часов во рту у меня не было ни капли и я ни на минуту не сомкнул глаз. Если не считать галет, то мои запасы пищи состояли преимущественно — а после пропажи баранины единственно — из копченостей, вызывающих нестерпимую жажду: что до галет, я никак не мог их есть, ибо они были как камень и не лезли в пересохшее и распухшее горло. Сейчас меня трясло, как в лихорадке, и вообще я был совершенно разбит. Это объяснит то обстоятельство, что после неудачи со спичками я провел несколько часов в полнейшей безнадежности, прежде чем сообразил, что осмотрел-то я лишь одну сторону листка! Не берусь описывать свою ярость (именно это чувство владело мной более всего), когда меня внезапно осенило, какой дурацкий промах я совершил.

Сама по себе неудача не имела бы особого значения, если бы я по глупости не поддался первому

побуждению: увидев, что на листке ничего не написано, я с досады по-ребячьи порвал его в клочки и бросил неизвестно куда.

Наиболее трудную часть этой задачи решила сообразительность моего Тигра. Разыскав после долгих поисков какой-то клочок записки, я дал понюхать бумагу псу, пытаясь заставить его понять, что он должен принести остальные куски. К моему удивлению (ибо я не обучал его разным штукам, какими славится его порода), Тигр как будто бы сразу же постиг, чего я добиваюсь от него, кинулся искать и через несколько секунд притащил другую, немалую часть записки. Затем он принялся тереться носом о мою руку, очевидно ожидая похвалы за выполнение приказа. Я ласково похлопал его по шее, и он бросился искать снова. На этот раз прошло несколько минут, зато, вернувшись, он притащил в зубах большой клочок бумаги, благодаря которому записка составлялась целиком: как оказалось, я порвал ее всего лишь на три части. К счастью, мне не доставило труда найти оставшиеся обломки фосфора, поскольку две-три крупицы испускали тусклый свет. Неудачи научили меня быть в высшей степени осторожным, и поэтому я медлил, еще раз обдумывая то, что собирался предпринять. Весь-

ма вероятно, рассуждал я, на той стороне бумаги, которую я не видал, что-то написано, — но которая это сторона? Да, я сложил клочки вместе, но это не давало ответа, хотя и убеждало, что слова (если таковые имеются) находятся все на одной стороне, представляя собой связный текст, как он и был написан. На этот счет не должно быть ни тени сомнения, поскольку оставшегося фосфора явно не хватит для третьей попытки, если та, которую я собирался предпринять, тоже окончится неудачей. Как и в прошлый раз, я сложил вместе клочки записки на переплете книги и сидел несколько минут, еще и еще взвешивая свой план. Не исключено, подумал я наконец, что исписанная сторона бумаги имеет на поверхности некоторую неровность, которую, по-видимому, можно ощутить, обладая тонким осязанием. Я решил попробовать и осторожно провел пальцем по записке, но ничего не почувствовал. Тогда я перевернул клочки другой стороной, сложил их на переплете и снова стал вести указательным пальцем вдоль записки. И здесь я различил тусклое мерцание, которое двигалось за моим пальцем. Я понял, что оно исходит от мельчайших частиц фосфора, которые остались на бумаге. Значит, надпись, если в конце концов окажется, что она

все-таки существует, находится на другой, то есть нижней, стороне бумаги. Я опять перевернул записку и проделал ту же операцию, что и при первой попытке. Я быстро растер крупицы фосфора, появилось свечение, и на этот раз я отчетливо увидел несколько строчек, написанных крупным почерком и, очевидно, красными чернилами. Свет был достаточно яркий, но тут же погас. И все же, уйми я свое чрезмерное волнение, я успел бы прочитать все три фразы — а их было именно три, это я заметил. Однако горячее желание схватить весь текст сразу помешало мне, и я сумел прочитать лишь семь последних слов: «…кровью… Хочешь жить, не выходи из убежища».

Знай я даже полное содержание записки, сообщающей о каких-то неслыханных несчастьях, уясни я весь смысл увещания, переданного моим другом, то и тогда — я твердо убежден в этом — я не испытал бы и десятой доли того мучительного и непонятного ужаса, какой вселило в меня это отрывочное предупреждение. И это слово — «кровь»… сколько тайн, страданий, страха несло оно во все времена… какая утроенная сила заключалась сейчас в нем (хотя и оторванном от предыдущих слов и потому неясном и неопределенном)… как холодно и тяжело, посреди глухого

мрака моей темницы, падали его звуки в отдаленнейшие уголки моей души!

У Августа, без сомнения, были веские причины предупредить, чтобы я оставался в убежище, и я строил тысячи предположений на этот счет, но ни одно не давало удовлетворительного объяснения тайне. Сразу же поело последней вылазки к люку и до того, как мое внимание переключилось на странное поведение Тигра, я пришел к решению сделать так, чтобы меня во что бы то ни стало услышали наверху, или, если это не удастся, попытаться прорезать ход наверх через нижнюю палубу. Доля уверенности в том, что в случае крайней необходимости я сумею осуществить одно из этих намерений, придавала мне мужество вынести все беды (в противном случае оно покинуло бы меня). Однако несколько слов, которые я успел прочитать, окончательно отрезали мне оба пути к отступлению, и сейчас я в первый раз вполне постиг безвыходность моего положения. В припадке отчаяния я упал на матрац и пролежал пластом около суток в каком-то оцепенении, лишь на короткие промежутки приходя в себя.

В конце концов я снова очнулся и задумался над своим ужасным положением. Ближайшие двадцать четыре часа я еще смогу кое-как про-

держаться без воды, но дольше меня не хватит. В первые дни моего заключения я довольно часто потреблял горячительные напитки, которыми снабдил меня Август, но они только возбуждали нервы и ни в какой мере не утоляли жажду. Теперь у меня оставалось всего лишь с четверть пинты крепкого персикового ликера, которого решительно не принимал мой желудок. Колбасы я все съел, от окорока сохранился только небольшой кусок кожи, а сухари сожрал Тигр, за исключением одного-единственного, да и от того осталось только несколько крошечных кусочков. В довершение к моим бедам с каждым часом усиливалась головная боль и повышался лихорадочный жар, который мучил меня в большей или меньшей мере с того момента, когда я в первый раз забылся сном. Последние несколько часов мне было трудно дышать, и сейчас каждый вдох сопровождался болезненными спазмами в груди. Но было еще одно обстоятельство, причинявшее мне беспокойство, обстоятельство особого рода, и именно его тревожные последствия и заставили меня побороть оцепенение и подняться с матраца. Я имею в виду поведение моего Тигра.

Какую-то перемену в нем я заметил еще тогда, когда в последний раз растирал крупицы фосфо-

ра на бумаге. Он сунул морду к моей движущейся руке и негромко зарычал, но я был слишком взволнован в тот момент, чтобы обращать на него внимание. Напомню, что вскоре после этого я бросился на матрац и впал в своего рода летаргический сон. Через некоторое время, однако, я услышал у себя над ухом свистящий звук — это был Тигр. Он весь дергался в каком-то крайнем возбуждении, дыхание со свистом вырывалось у него из пасти, зрачки яростно сверкали во тьме. Я что-то сказал ему, он тихонько заскулил и затих. Я снова забылся и снова был разбужен таким же манером. Это повторялось раза три или четыре, пока, наконец, поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно проснулся. Он лежал у выхода ящика, угрожающе, хотя и негромко рыча и щелкая зубами, как будто его били судороги. У меня не оставалось сомнения, что он взбесился из-за недостатка воды и спертого воздуха трюма, и я положительно не знал, как мне быть. Мысль о том, чтобы убить его, была нестерпима, и все же это казалось абсолютно необходимым для собственной безопасности. Я отчетливо различал его глаза, устремленные на меня с выражением смертельной враждебности, и каждое мгновение ожидал, что он кинется на

меня. В конце концов я не выдержал чудовищного напряжения и решил выйти из ящика во что бы то ни стало; если же Тигр воспрепятствует мне, я буду вынужден покончить с ним. Для того чтобы выбраться наружу, я должен, был перешагнуть через него, а он как будто уже разгадал мои намерения: поднялся, опираясь на передние лапы (я заметил это по тому, как изменилось положение его глаз), и оскалил белые клыки, которые легко можно было разглядеть во тьме. Я сунул в карманы остаток кожи от окорока, бутылку с ликером, взял большой охотничий нож, который оставил мне Август, и, как можно плотнее запахнувшись в плащ, шагнул было к выходу. Едва я двинулся с места, как собака с громким рычанием кинулась вперед, чтобы вцепиться мне в горло. Всем весом своего тела она ударила меня в правое плечо, я опрокинулся на левый бок, и разъяренное животное перескочило через меня. Я упал на колени и зарылся головой в одеяла — это и спасло меня. Последовало второе бешеное нападение, я чувствовал, как плотно сжимались челюсти на шерстяном одеяле, которое окутывало мою шею, и все же, к счастью, его острые клыки не прокусили складки насквозь. Пес навалился на меня, — через несколько се-

кунд я буду в его власти. Отчаяние придало мне энергии, и, собрав последние силы, я скинул с себя собаку и поднялся на ноги. Одновременно я быстро стянул с матраца одеяла, накинул их на пса, и, прежде чем он успел выпутаться, я выскочил из ящика и плотно захлопнул за собой дверцу, избежав таким образом преследования. В момент схватки я выронил кожу от окорока, и теперь все мои запасы свелись к четверти пинты ликера. Как только эта мысль промелькнула у меня в сознании, на меня вдруг что-то нашло; как избалованному ребенку, мне захотелось во что бы то ни стало осуществить свою вздорную затею, и, поднеся бутылку ко рту, я осушил ее до капли и со злостью швырнул на пол.

Едва замер треск разбившейся бутылки, как я услышал свое имя, произнесенное со стороны помещения для команды настойчивым, но приглушенным голосом. Настолько неожиданно было что-либо подобное, так напряглись все мои чувства при этом звуке, что я не смог отозваться. Я лишился дара речи, и в мучительном опасении, что мой друг уверится в моей смерти и вернется на палубу, бросив поиски, я выпрямился между клетями близ входа в мой ящик, содрогаясь всем телом, ловя ртом воздух и силясь выдавить хоть

слово. Даже если бы мне обещали тысячу жизней за один звук, то и тогда я не смог бы произнести его. Где-то впереди между досками послышалось движение. Вскоре звук стал слабее, потом еще слабее и еще. Разве можно когда-нибудь забыть, что я почувствовал в тот миг? Он уходил… мой друг… мой спутник, от которого я вправе ожидать помощи… он уходил… неужели он покинет меня?.. Ушел!.. Ушел, оставив меня умирать медленной смертью, оставил угасать в этой ужасной и отвратительной темнице… а ведь одно-единственное слово… едва слышимый шепот спас бы меня… но я не мог произнести ни звука! Я испытывал муки в тысячу раз страшнее самой смерти. Сознание у меня помутилось, мне стало дурно, и я упал на край ящика.

Когда я падал, из-за пояса у меня выскользнул нож и со звоном стукнулся об пол. Самая волшебная мелодия не показалась бы столь сладостной! Весь сжавшись от напряжения, я ждал, услышал ли Август шум. Поначалу все было тихо. Потом раздался негромкий неуверенный шепот: «Артур?.. Это ты?..» Возродившаяся надежда вернула мне дар речи, и я закричал во всю силу моих легких: «Август! Август!» — «Тише! Молчи ты, ради бога, — ответил он дрожащим от волнения

голосом. — Сейчас я приду… Вот только проберусь здесь». Я слышал, как он медленно двигался между грудами клади, и каждая секунда казалась мне вечностью. Наконец я почувствовал у себя на плече его руку, и он тотчас поднес к моим губам бутылку с водой. Лишь тот, кто стоял на краю могилы или познал нестерпимые муки жажды, усугублявшиеся такими обстоятельствами, в каких находился я в этой мрачной темнице, — лишь тот способен представить себе неземное блаженство, которое я испытал от одного большого глотка самой чудесной жидкости на свете.

Когда я отчасти утолил жажду, Август вытащил из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я тут же с жадностью проглотил. Он принес с собой также летучий фонарь, и его теплый свет доставил мне, пожалуй, не меньшее наслаждение, чем еда и вода. Однако же мне не терпелось узнать причину затянувшегося отсутствия моего друга, и он приступил к рассказу о том, что произошло на судне во время моего заточения.

4

Как я и думал, бриг снялся с якоря приблизительно через час после того, как Август принес

мне часы. Это было двадцатого июня. Напомню, что к тому моменту я находился в трюме уже три дня; все это время на борту царила суматоха, люди бегали взад и вперед, особенно в салоне и каютах, так что Август не имел никакой возможности навестить меня, не рискуя раскрыть тайну нашего люка. А когда мой друг наконец спустился в трюм, я заверил его, что все обстоит наилучшим образом, и потому следующие два дня он почти не беспокоился за меня, ища тем не менее случай заглянуть в убежище. Такой случай выпал *лишь на четвертый день*. Все это время он неоднократно порывался рассказать отцу о нашем предприятии и вызволить меня, но мы сравнительно недалеко отошли от Нантакета, и по некоторым замечаниям, оброненным капитаном Барнардом, вряд ли можно было заключить, что он не повернет судно, как только обнаружит меня на борту. Кроме того, у Августа — как он говорил — не возникло предположения, что я в чем-нибудь нуждаюсь, и он знал, что в случае крайней необходимости я тут же дам о себе знать. Поэтому по зрелом размышлении он заключил, что мне лучше остаться здесь до тех пор, пока у него не появится возможность навестить меня незамеченным. Я уже сообщил, что такая воз-

можность появилась только на четвертый день после того, как он оставил мне часы, или на седьмой — после того, как я укрылся в трюмо. Он не взял ни воды, ни провизии, намереваясь просто позвать меня к люку, а уж затем передать мне из каюты запасы. Когда он сошел вниз, то по громкому храпу понял, что я сплю. Из соответствующих сопоставлений я пришел к выводу, что как раз в это время я забылся тяжелым сном после моей вылазки к люку за часами и что, следовательно, мой сон длился по меньшей мере *целых три дня и три ночи*. Из собственного недавнего опыта и рассказов других я имел основания убедиться в том, какое сильное усыпляющее действие оказывает зловоние, распространяемое рыбьим жиром в закрытом помещении; и когда я думаю о жутких условиях, в которых я пребывал, и длительности срока, в течение которого брит использовался в качестве китобойного судна, я склонен скорее удивляться тому, что, однажды заснув, я вообще проснулся, нежели тому, что проспал без перерыва указанное выше время.

Сперва Август позвал меня шепотом, не закрывая люк, однако я не ответил. Тогда он опустил крышку и позвал меня громче, потом полным голосом — но я продолжал храпеть. Он не знал,

что ему делать. Пробираться к моему ящику сквозь завалы в трюме отняло бы довольно много времени, а между тем его отсутствие могло быть замечено капитаном Барнардом, который имел обыкновение поминутно пользоваться услугами сына для сортировки и переписывания деловых бумаг, связанных с рейсом. Поэтому он подумал, что лучше вернуться и подождать другого случая. Он шел на это с тем более легким сердцем, что спал я, по видимости, как нельзя более безмятежно, и он не мог предположить, что я испытываю особые неудобства от заключения. Как только он принял это решение, внимание его привлекло какое-то движение и шум, доносившийся, очевидно, из салона. Он быстро выскользнул из люка, закрыл крышку и распахнул дверь своей каюты. Едва он переступил порог, как чуть ли не в лицо ему грянул выстрел, и в то же мгновение его свалил с ног удар вымбовкой.

Чья-то сильная рука прижала его к полу, крепко стиснув ему горло, и все же он мог разглядеть, что происходит вокруг. Связанный по рукам и ногам, на ступеньках трапа лежал вниз головой его отец, и из глубокой раны на лбу непрерывной струей лилась кровь. Из груди его не вырывалось ни звука, он, очевидно, кончался. Над капитаном

со злорадной усмешкой наклонился первый помощник и, хладнокровно вывернув ему карманы, достал большой бумажник и хронометр. Семь человек экипажа (среди них был кок-негр) рыскали по каютам вдоль левого борта и скоро вооружились ружьями и патронами. Кроме Августа и капитана Барнарда, в салоне находилось всего девять человек, причем из числа самых отъявленных головорезов на судне. Затем негодяи стали подниматься на палубу и повели с собой моего друга, предварительно связав ему за спиной руки. Они направились прямо на бак, который был захвачен бунтовщиками: у закрытого входа стояли двое с топорами, и еще двое дежурили у главного люка. Помощник капитана крикнул: «Эй, вы, там, внизу! Слышите?.. А ну, вылезайте поодиночке... И чтоб никаких штучек!» Прошло несколько минут, затем показался англичанин, который записался на корабль необученным матросом, — он хныкал и униженно умолял помощника капитана пощадить его. В ответ последовал удар топором по голове. Бедняга без единого стона упал на палубу, а кок-негр легко, точно ребенка, поднял его на руки и рассчитанным движением выбросил за борт. Матросы, оставшиеся внизу, услышали удар и всплеск во-

ды; теперь ни угрозами, ни посулами невозможно было заставить их подняться на палубу, и кто-то предложил выкурить их оттуда. Тогда несколько человек разом выскочили наверх, и в какой-то момент казалось, что они одолевают бунтовщиков. Последним, однако, удалось плотно закрыть дверь кубрика, так что оттуда успели выбежать только шесть матросов. Поскольку у этих шестерых не было оружия и противник превосходил их числом, то после короткой схватки они вынуждены были уступить силе. Помощник капитана обещал их помиловать, рассчитывая, разумеется, побудить оставшихся внизу тоже сдаться, ибо они слышали каждое слово, сказанное на палубе. Результат подтвердил его хитрость, равно как и дьявольскую жестокость. Вскоре все, находившиеся в кубрике, изъявили готовность сдаться и стали один за другим подниматься наверх; их тут же связывали и опрокидывали на пол рядом с первыми шестью матросами — оказалось, что двадцать семь человек в бунте не замешаны.

Затем началась поистине чудовищная бойня. Связанных матросов волочили к трапу. Здесь кок топором методически ударял каждого по голове, а другие бунтовщики скидывали несчастную жертву за борт. Таким образом было убито два-

дцать два человека, и Август уже считал себя погибшим, каждую минуту ожидая своей очереди. Но негодяи то ли устали, то ли пресытились кровавым зрелищем, во всяком случае расправа над четырьмя пленниками и моим другом, которые тоже лежали связанными на палубе, была временно отложена, а помощник капитана послал вниз за ромом, и вся эта компания убийц начала попойку, которая длилась до захода солнца. Между ними разгорелся спор о том, что делать с оставшимися в живых, которые находились тут же, шагах в пяти, и слышали каждое слово. Изрядно выпив, некоторые бунтовщики, казалось, подобрели. Стали даже раздаваться голоса о том, чтобы освободить пленников при условии, если они примкнут к ним и будут участвовать в дележе добычи. Однако чернокожий кок (который во всех отношениях был сущим дьяволом и который, очевидно, имел такое те влияние на других, как и сам помощник капитана, если даже не большее) не желал ничего слышать и неоднократно порывался возобновить побоище у трапа. По счастью, он был настолько пьян, что его без труда удерживали менее кровожадные собутыльники, среди которых был и лотовой, известный под именем Дирка Петерса. Этот человек был сыном

индианки из племени упшароков, которое обитает среди недоступных Скалистых гор, неподалеку от верховий Миссури. Отец его, кажется, торговал пушниной или, во всяком случае, каким-то образом был связан с индейскими факториями на реке Льюиса. Сам Петерс имел такую свирепую внешность, какой я, пожалуй, никогда не видел. Он был невысокого роста, не более четырех футов восьми дюймов, но сложен как Геркулес. Бросались в глаза кисти его рук, такие громадные, что совсем не походили на человеческие руки. Его конечности были как-то странно искривлены и, казалось, совсем не сгибались. Голова тоже выглядела какой-то несообразной: огромная, со вдавленным теменем (как у большинства негров) и совершенно плешивая. Чтобы скрыть этот недостаток, вызванный отнюдь не старческим возрастом, он обычно носил парик, сделанный из любой шкуры, какая попадалась под руку, — будь то шкура спаниеля или американского медведя-гризли. В то время, о котором идет речь, на голове у него был кусок медвежьей шкуры, который сообщал еще большую свирепость его облику, выдававшему его происхождение от упшароков. Рот у Петерса растянулся от уха до уха, губы были узкие и казались, как и другие части физиономии,

неподвижными, так что лицо его совершенно независимо от владеющих им чувств сохраняло постоянное выражение. Чтобы представить себе это выражение, надо вдобавок принять во внимание необыкновенно длинные, торчащие зубы, никогда, даже частично, не прикрываемые губами. При мимолетном взгляде на этого человека можно было подумать, что он содрогается от хохота, но если вглядеться более пристально, то с ужасом обнаружишь, что если это и веселье, то какое-то бесовское. Об этом необыкновеннейшем существе среди моряков Нантакета ходило множество историй. Некоторые касались его удивительной силы, которую он проявлял, будучи в раздраженном состоянии, а иные вообще сомневались, в здравом ли он уме. Но на борту «Дельфина» в момент бунта он, по-видимому, был всего лишь предметом всеобщего зубоскальства. Я так подробно остановился на Дирке Петерсе потому, что, несмотря на кажущуюся свирепость, именно он помог Августу спастись от смерти, а также и потому, что я буду часто упоминать о нем в ходе моего повествования, которое — позволю себе заметить — в последних своих частях будет содержать происшествия, настолько несовместимые с областью человеческого опыта и

в силу этого настолько выходящие за границы достоверности, что я продолжаю свой рассказ без малейшей надежды на то, что мне поверят, однако в стойком убеждении, что время и развивающиеся науки подтвердят наиболее важные и наименее вероятные из моих наблюдений.

После долгих колебаний и двух-трех яростных ссор было решено усадить всех пленников (за исключением Августа, которого Петерс словно бы в шутку настоятельно пожелал иметь при себе в качестве клерка) в какой-нибудь малый вельбот и пустить по воле волн. Помощник капитана сошел в салон посмотреть, жив ли капитан Барнард: его, как вы помните, бунтовщики бросили там, когда поднялись на палубу. Вскоре появились оба, капитан бледный как смерть, но немного оправившийся от раны. Едва слышным голосом он обратился к матросам, убеждая их не бросать его в море и вернуться к исполнению своих обязанностей, а также обещая высадить их на сушу, где пожелают, и не передавать дело в руки правосудия. Но то был глас вопиющего в пустыне. Двое негодяев подхватили его под руки и столкнули через борт в лодку, которую успели опустить на воду, пока помощник капитана ходил в кают-компанию. Четырем матросам, ле-

жавшим на палубе, развязали руки и приказали следовать за капитаном, что они и сделали без малейшей попытки к сопротивлению, но Августа по-прежнему оставили крепко связанным, хотя он бился и молил только об одном — чтобы ему разрешили попрощаться с отцом. В лодку передали горсть морских сухарей и кувшин с водой, но пленники не получили ни мачты и паруса, ни весел, ни компаса. Несколько минут, пока бунтовщики о чем-то совещались, лодка шла за кормой на буксире, затем веревку обрубили. Тем временем спустилась ночь, на небе не было ни луны, ни звезд, шла опасная короткая волна, хотя ветер был умеренный. Лодка мгновенно пропала из виду, и вряд ли можно было питать надежду на спасение несчастных, находившихся в ней.

Это произошло на 35°30’ северной широты и 61°20’ западной долготы, то есть сравнительно недалеко от Бермудских островов. Поэтому Август старался утешить себя мыслью, что лодке удастся достичь суши или подойти достаточно близко к островам и встретить какое-нибудь судно.

Затем на бриге поставили все паруса, и он лег на прежний курс на юго-запад: бунтовщики, очевидно, задумали разбойничью экспедицию, намереваясь, наверное, захватить какое-то судно,

идущее с островов Зеленого Мыса в Порто-Рико. Никто не обращал никакого внимания на Августа — ему развязали руки и разрешили находиться на передней части корабля, но не подходить, однако, близко к салону. Дирк Петерс обращался с ним довольно мягко, а однажды даже спас его от жестокого кока. И все же положение Августа было отнюдь не безопасным, ибо бунтовщики пребывали в состоянии постоянного опьянения и полагаться на их хорошее настроение или безразличие было нельзя. Однако более всего Августа, как он сам рассказывал, мучило беспокойство обо мне, и я не имею оснований сомневаться в его дружеской верности. Он не раз порывался раскрыть смутьянам тайну моего пребывания на борту, но его удерживала отчасти мысль о зверствах, свидетелем которых он имел несчастье быть, а отчасти надежда на то, что ему как-нибудь удастся в скором времени облегчить мое положение. Он был ежеминутно начеку, но, несмотря на постоянное бдение, минуло целых три дня, как бунтовщики бросили в открытом море вельбот, прежде чем выпал удобный случай. В ночь на четвертый день с востока налетел жестокий шторм, и все матросы были вызваны наверх убирать паруса. Воспользовавшись замешатель-

ством, Август незаметно спустился вниз и проник в свою каюту. Каково же было его горе и смятение, когда он обнаружил, что ее превратили в склад съестных припасов и корабельного хозяйства и что огромную, в несколько саженей, якорную цепь, которая была сложена под сходным трапом в кают-компанию, перетащили сюда, чтобы освободить место для какого-то сундука, и теперь она лежала как раз на крышке люка! Сдвинуть ее, не обнаружив себя, было решительно невозможно, и он поспешил вернуться на палубу. Когда он появился наверху, помощник капитана схватил его за горло, потребовав отвечать, что он делал в каюте, и хотел перекинуть его через поручни, но вмешательство Дирка Петерса снова спасло Августу жизнь. Ему надели наручники (каковых на судне было несколько пар) и крепко связали ноги. Затем моего друга отвели на нижнюю палубу и заперли в каюту для команды, примыкающую к переборке бака, со словами, что нога его не ступит на палубу, «пока бриг называется бригом». Так выразился кок, швырнув его на койку, — трудно угадать, что именно он хотел сказать. Однако это происшествие, как вскоре станет очевидным, в конечном счете способствовало моему освобождению.

5

Какое-то время после ухода кока Август предавался отчаянию, окончательно оставив надежду выйти из этой дыры живым. Он пришел к решению, что первому человеку, который спустится сюда, он скажет, где я нахожусь, считая, что мне лучше пойти на риск и оказаться пленником у бунтовщиков, нежели погибнуть от жажды в трюме, ибо со дня моего заключения прошло уже десять дней, а запас воды в моем кувшине был рассчитан от силы на четыре. Покуда он размышлял, его внезапно осенила мысль, нельзя ли попробовать снестись со мной через главный трюм. В других обстоятельствах трудности и риск, связанные с этим предприятием, заставили бы его отступиться, но сейчас — что бы ни случилось — у него у самого было немного шансов выжить, следовательно, терять было нечего, и он твердо решил осуществить свой замысел.

Первой заботой были наручники. Сперва ему показалось, что их не снять, и он расстроился, что с самого начала возникло непреодолимое препятствие, однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что с некоторым усилием протискивая сложенные ладони сквозь браслеты,

последние можно безболезненно снять с руки и надеть при желании снова, — очевидно, этот вид наручников был не приспособлен для подростков, ввиду тонкости и гибкости их костяка. Затем он ослабил веревку на ногах, оставив на ней петлю, чтобы быстро затянуть ее снова в случае чьего-либо появления, и принялся осматривать переборку, у которой находилась койка. В этом месте она была составлена из мягких сосновых досок толщиною в дюйм, и он убедился, что без особого труда проделает в ней отверстие. В этот момент с трапа, ведущего на бак, раздался голос, и едва он успел протиснуть правую руку в браслет (левый он не снимал) и затянуть веревку скользящим узлом вокруг лодыжек, как спустился Дирк Петерс в сопровождении Тигра, который тут же вспрыгнул на койку и улегся на ней. Собаку привел на судно Август, который знал мою привязанность к животному и решил, что мне будет приятно иметь его при себе во время путешествия. Он пошел ко мне домой за собакой сразу же после того, как спрятал меня в трюме, но забыл сказать мне об этом, когда принес часы. С того момента как вспыхнул бунт, Август не видел Тигра и решил, что его вышвырнул за борт какой-нибудь негодяй из числа дружков помощника

капитана. Впоследствии выяснилось, что собака забилась под вельбот, но не могла вылезти назад без посторонней помощи. Петерс выпустил его и с каким-то доброжелательством, которое мой друг вполне оценил, привел к нему в кубрик для компании; оставив, кроме того, кусок солонины, несколько картофелин и кружку с водой, он поднялся наверх, обещав прийти на следующий день и принести что-нибудь поесть.

Когда тот ушел, Август стянул с рук браслеты и освободил от веревки ноги. Затем он откинул изголовье матраца, на котором лежал, и перочинным ножом (негодяи не сочли нужным обыскать моего друга) принялся усиленно резать поперек одну из досок в переборке как можно ближе к настилу. Он выбрал именно это место потому, что в случае внезапной помехи он мог быстро скрыть свою работу, опустив матрац на прежнее место. Остаток дня его, однако, никто не тревожил, и к вечеру он полностью перерезал доску. Здесь следует заметить, что никто из команды не использовал кубрик для сна, ибо с момента мятежа все постоянно находились в кают-компании, попивая вина и пируя за счет запасов капитана Барнарда и не заботясь, более чем это было абсолютно необходимо, о том, что-

бы вести корабль. Это обстоятельство оказалось исключительно благоприятным как для меня, так и для Августа: в противном случае он не смог бы до меня добраться. Но дело обстояло именно так, и Август с рвением продолжал работу. Однако лишь незадолго до рассвета он закончил вторую прорезь в доске (находившуюся выше первой примерно на фут), проделав, таким образом, отверстие, которое было достаточно велико, чтобы с легкостью пролезть на нижнюю палубу. Он прополз сквозь отверстие и без особого труда добрался до главного нижнего люка, хотя для этого ему пришлось карабкаться на бочки для ворвани, которые ярусами возвышались чуть ли не до верхней палубы, так что там едва оставалось пространство, чтобы двигаться вперед. Он достиг люка и увидел, что Тигр следовал за ним понизу, протискиваясь между двумя рядами бочек. Было, однако, уже слишком поздно, он не успел бы пройти ко мне до зари, ибо главная трудность заключалась в том, чтобы пробраться сквозь тесно уложенную кладь в нижнем трюме. Он решил поэтому вернуться и дождаться следующей ночи, но предварительно попробовал приоткрыть люк, чтобы не терять времени, когда он придет сюда. Едва он приподнял крышку, как Тигр бросился

к щели, принялся нюхать и протяжно заскулил, одновременно скребя лапами и как бы пытаясь сдвинуть доски. Собака, без сомнения, почувствовала мое присутствие в трюме, и Август подумал, что она наверняка разыщет меня, если спустится вниз. Тогда-то Августу и пришла мысль послать мне записку с предупреждением, чтобы я не пытался выбраться наверх, во всяком случае при нынешних обстоятельствах, а полной уверенности, что сумеет повидать меня завтра, как он предполагал, у него не было. Последующие события показали, какой счастливой была эта мысль: не получи я записки, я неизбежно выискал бы какое-нибудь, пусть самое отчаянное, средство поднять на ноги всю команду, в результате чего и его и моя жизнь оказались бы, вероятнее всего, под угрозой.

Решение о записке было принято, но чем и на чем писать? Старая зубочистка была тотчас переделана в перо, причем на ощупь, потому что между палубами царил кромешный мрак. Бумага тоже нашлась — вторая страница письма мистера Росса, вернее дубликат подделки. Это был первоначальный вариант, не удовлетворивший Августа из-за недостаточного сходства почерков, и он написал другой, а первый по счастливой

случайности сунул в карман, где он сейчас весьма кстати и обнаружился. Теперь недоставало только чернил, но и здесь нашлась замена: Август перочинным ножом уколол палец как раз над ногтем, и из пореза, как это обычно и бывает от повреждений в этом месте, обильно выступила кровь. Итак, записка была написана, насколько это вообще можно было сделать в темноте и в этих условиях. В ней коротко говорилось, что на бриге вспыхнул мятеж, что капитан Барнард оставлен в море, что я могу рассчитывать на помощь по части съестного, но никоим образом не должен обнаруживать свое присутствие. Записка заканчивалась словами: «Пишу кровью… Хочешь жить, не выходи из убежища».

Привязав листок бумаги к собаке и спустив ее по ступенькам в трюм, Август поспешил обратно в кубрик и никаких признаков того, что кто-нибудь из экипажа заходил сюда в его отсутствие, там не обнаружил. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он вогнал в доску над ним нож и повесил куртку, валявшуюся в каюте. Затем он надел наручники и обвязал веревкой ноги.

Едва он успел закончить эти приготовления, как в кубрик спустился Дирк Петерс, совершенно пьяный, но в отличнейшем настроении, и

принес моему другу дневной паек. Он состоял из дюжины больших печеных картофелин и кувшина воды. Он уселся на ящик возле койки и принялся разглагольствовать о помощнике капитана и вообще о делах на судне. Держался он как-то неровно и непонятно. Один раз Августа даже смутило его странное поведение. Наконец он ушел, пробормотав, что завтра принесет пленнику хороший обед. Днем пришли еще два члена команды — гарпунщики — в сопровождении кока, причем все трое в состоянии совершенного опьянения. Как и Петерс, они, не таясь, говорили о своих намерениях. Оказалось, что среди бунтовщиков возникли серьезные разногласия относительно конечной цели путешествия и что они пришли к единодушному мнению лишь в одном пункте — напасть на судно, идущее с островов Зеленого Мыса, которое они ожидали встретить с часу на час. Насколько можно было понять, бунт вспыхнул не только из-за добычи — главным подстрекателем был первый помощник капитана, затаивший личную обиду на капитана Барнарда. Теперь, как явствовало, команда разделилась на две основные группы: одну возглавлял помощник капитана, другую кок. Те, что были с помощником капитана, предлагали захватить

первый подходящий корабль и, снарядив его где-нибудь на островах Вест-Индии, пуститься в разбойничье плавание. Вторая группа, более многочисленная и включавшая Дирка Петерса, стояла на том, чтобы следовать первоначальному маршруту в южную часть Тихого океана, а там либо заняться китобойным промыслом, либо предпринять что-нибудь еще, смотря по обстоятельствам. Рассказы Петерса, который часто ходил в эти широты, очевидно, имели успех у бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и жаждой развлечений. Он распространялся о том, какой новый и увлекательный мир откроется перед ними на бесчисленных островах Тихого океана, как они будут наслаждаться полной безопасностью и свободой от всех ограничений, и особенно восхвалял благодатную природу, богатую и легкую жизнь и чудную красоту женщин. И все же к согласному решению на судне пока не пришли, хотя картины, нарисованные полукровкой, завладели разгоряченным воображением моряков, и, по всей вероятности, его рассказы в конце концов могли возыметь действие.

Троица убралась примерно через час, и больше в тот день на баке никто не появлялся. Август

лежал без звука почти до самой ночи. Потом он освободился от наручников и веревки на ногах и начал приготовления к вылазке. Около какой-то койки он нашел бутылку и наполнил ее из кувшина, оставленного Петерсом, в карманы засунул холодные картофелины. К его величайшей радости, ему попался также фонарь с сальным огарком. Фонарь он мог зажечь в любую минуту, поскольку в его распоряжении была коробка фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он из предосторожности так сложил одеяло, что создавалось впечатление, будто на копке лежит укрывшийся им человек, и пролез сквозь отверстие. Оказавшись по ту сторону переборки, он, как и прежде, повесил куртку на нож, чтобы скрыть отверстие, а затем вставил выпиленный кусок доски на место. Теперь он находился на нижней палубе и стал пробираться, как и в первый раз, между настилом верхней палубы и бочками для китового жира к главному люку. Там он зажег фонарь и спустился в трюм, осторожно нащупывая путь среди плотно установленного груза. Через несколько секунд он почувствовал невыносимую духоту и зловоние. Он не представлял себе, как я мог так долго дышать таким тяжелым воздухом. Он несколько раз позвал

меня, но никто не отвечал; казалось, что самые худшие его предположения подтвердились. Бриг бешено швыряло из стороны в сторону, и стоял такой шум, что различить в нем дыхание или храп было совершенно немыслимо.

Он открыл крышку фонаря и, когда была возможность, поднимал его как можно выше, чтобы я — если я еще был жив — заметил свет и знал, что мне идут на выручку. Однако я не издавал ни звука, и предположение, что я погиб, постепенно превращалось в уверенность. Тем не менее он решил пройти, если удастся, к ящику и хотя бы убедиться в истинности своих подозрений. Какое-то время, совершенно подавленный, он еще продвигался вперед, пока не увидел, что проход совершенно загроможден и он не сможет сделать дальше ни шага тем путем, каким шел. Будучи не в силах сдержаться, он в отчаянии бросился на бревна и зарыдал, как ребенок. Как раз в этот момент он услышал треск бутылки, которую я швырнул на пол. Поистине счастливой оказалась эта случайность, ибо при всей незначительности от нее зависела моя висевшая на волоске жизнь. Врожденная застенчивость и сожаление о своей слабости и нерешительности помешали Августу сразу признаться в том, в чем более тесное и

откровенное общение побудило его поделиться со мной впоследствии.

Видя, что он не может пробраться вперед из-за непреодолимых препятствий, Август решил отказаться от намерения повидать меня и немедленно вернуться в кубрик. Прежде чем порицать его за это, необходимо принять во внимание чрезвычайные обстоятельства, которые крайне осложняли его положение. Приближалось утро, и его отсутствие могло быть обнаружено — вернее, так оно и должно было случиться, если он не успеет до рассвета вернуться в кубрик. В фонаре догорала свеча, а возвращаться к люку в темноте было необыкновенно трудно. Нужно учитывать также, что у него имелись все основания считать меня погибшим, и в этом случае он уже ничем не мог мне помочь, даже если бы достиг ящика, а по пути ему пришлось бы встретиться с множеством опасностей. Он несколько раз звал меня, но я не отвечал. На протяжении одиннадцати дней и ночей у меня было ровно столько воды, сколько помещалось в оставленном им кувшине, причем маловероятно, что я экономил ее в начале заключения, поскольку имел веские резоны ожидать благополучного разрешения дела. Кроме того, для него, дышавшего сравнительно свежим воздухом

жилых помещений, атмосфера в трюме была отвратительна и куда более невыносима, чем показалось мне, когда я впервые устраивался в ящике, — ведь к тому времени люки оставались открытыми в течение многих месяцев. Добавьте к этим соображениям сцену страшного кровопролития, свидетелем которой совсем недавно был мой друг, его собственный плен, лишения, добавьте, что он сам едва избежал смерти и сейчас еще находился в каком-то двусмысленном и опасном положении, добавьте, словом, все так несчастливо сложившиеся обстоятельства, способные вконец истощить духовные силы, и тогда вы, читатель, вслед за мной отнесетесь к его очевидной неустойчивости в дружбе и вере скорее с чувством глубокой печали, нежели гнева.

Итак, Август отчетливо слышал треск разбившейся бутылки, но он не был уверен, что звук донесся из трюма. Однако и искры надежды было достаточно, чтобы продолжать поиски. Он вскарабкался по грузу почти до средней палубы, а затем, выждав момент, когда качка стихла, стал изо всех сил звать меня, пренебрегая на этот раз опасностью быть услышанным членами команды. Напомню, что как раз в это время я услышал его голос, но не смог превозмочь волнения и

отозваться. Убежденный, что сбылись худшие его предположения, он спустился на палубу, чтобы, не теряя времени, вернуться в кубрик. В спешке он столкнул несколько небольших ящиков, и я слышал, если помните, шум от падения. Он уже проделал значительный путь назад, когда стук ножа снова заставил его заколебаться. Он немедленно возвратился и, вторично забравшись на грузы и дождавшись затишья, так же громко стал звать меня. На этот раз я обрел дар речи. Вне себя от радости, что я жив, он решил пройти ко мне, невзирая ни на что. Кое-как выбравшись из лабиринта, образованного наваленным грузом, он наткнулся на подходящую как будто щель и после неимоверных усилий, вконец изнемогая, очутился у ящика.

6

Этот рассказ в общих чертах Август успел сообщить в момент нашей встречи подле ящика, и лишь позднее он поведал свои приключения во всех подробностях. Он опасался, что его хватятся, да и я сгорал от нетерпения избавиться от ненавистного плена. Мы решили немедленно добраться до его отсека, где я должен был выждать за перегородкой, пока он разведает, что

творится наверху. Ни он, ни я положительно не знали, что делать с Тигром, хотя и помыслить не могли о том, чтобы оставить его здесь. Пес совсем затих, и, даже приложив ухо к стенке ящика, мы не различали его дыхания. Я уже подумал, что он околел, и открыл дверцу ящика. Тигр лежал совершенно неподвижно, вытянувшись во всю длину, но еще дышал. Нельзя было терять ни минуты, и все-таки я не мог заставить себя бросить на верную смерть животное, которое дважды спасло мне жизнь. С огромным трудом, изнемогая от усталости, мы кое-как потащили его с собой, причем Августу неоднократно приходилось брать собаку на руки и перелезать с ней через всевозможные препятствия — подвиг, на который я из-за крайней слабости был совершенно неспособен. Наконец мы достигли отверстия в перегородке, Август пролез внутрь, туда же мы протолкнули и Тигра. Все было в порядке, и мы не преминули вознести благодарственные молитвы господу за избавление от неминуемой гибели. Мы условились, что я пока останусь подле отверстия, чтобы мой друг имел возможность делиться со мной своим дневным пайком, а я — дышать сравнительно свежим воздухом.

Некоторые части моего рассказа, те, где я ка-

сался корабельного груза, могут показаться сомнительными иным читателям, которым доводилось наблюдать, как обычно загружают судно, и поэтому я должен определенно заметить, что в этом важнейшем деле капитан Барнард допустил позорную небрежность и не показал себя ни предусмотрительным, ни многоопытным моряком, как того очевидно требовал опасный служебный долг. Погрузку нельзя вести кое-как, и даже на собственном небольшом опыте я убедился, что небрежение или невежество в этой части ведет к гибельным последствиям. Чаще других терпят кораблекрушение каботажные суда, на которых из-за обычной суматохи во время погрузочных и разгрузочных работ плохо следят за правильным размещением грузов. Самое главное состоит в том, чтобы исключить возможность малейшего перемещения груза или балласта даже в моменты наисильнейшей качки. Для этого надо принимать в расчет не только количество груза, но и характер его, а также степень заполненности трюма. В большинстве случаев правильная укладка груза достигается уплотнением. Так, при перевозке табака или муки тюки и мешки настолько уплотняют в трюме, что при разгрузке они оказываются совершенно сплющенными и

лишь через некоторое время приобретают свою первоначальную форму. К уплотнению, однако, прибегают преимущественно в тех случаях, когда необходимо выгадать место в трюме, ибо при *полной* его загрузке такими товарами, как мука или табак, опасности перемещения нет вовсе или оно таково, что не причинит вреда. Бывало даже, что чрезмерное уплотнение приводило к весьма печальным последствиям, но по причинам, совершенно отличным от опасности, возникающей из-за сдвига груза. Известен, например, случай, когда плотно уложенная при определенных атмосферных условиях партия хлопка затем раздалась в объеме и разорвала в море корпус корабля. Нет сомнения, что то же самое могло бы произойти с табаком, в котором происходит обычный процесс ферментации, если бы не промежутки между тюками из-за их округлой формы.

Когда же трюм загружен не полностью, тогда и может возникнуть опасность сдвига груза, против чего и требуется принять соответствующие меры предосторожности. Только те, кто встречался со штормом, вернее, кто испытал бортовую качку в момент внезапно наступившего затем штиля, могут представить себе, с какой мощью накреняется судно и какая чудо-

вищная движущая сила сообщается в результате всем свободным предметам на борту. Тогда-то и становится очевидной необходимость самой тщательной укладки груза в неполном трюме. Когда судно с неудачной конструкцией носа лежит в дрейфе (особенно с небольшим числом парусов на носу), его часто кренит набок; это случается в среднем каждые пятнадцать-двадцать минут и *при условии правильной укладки груза* не влечет за собой никаких серьезных последствий. Если же за нею не следили самым строжайшим образом, то при первом же сильном броске весь груз перекатывается на один борт, и, поскольку судно не может выпрямиться, вода за несколько секунд проникает в трюм, и оно идет ко дну. Не будет преувеличением сказать, что по крайней мере половина кораблекрушений во время тяжелых штормов объясняется перемещением груза или балласта.

При перевозке на судне штучного товара груз размещается как можно плотнее и покрывается слоем толстых досок длиной от борта до борта. На эти доски устанавливают прочные временные стойки, упирающиеся в бимсы, и таким образом достигается надежное крепление. При погрузке зерна и других подобных материалов требуются

особые предохранительные меры. Трюм, при отплытии загруженный зерном доверху, в пункте назначения окажется заполненным лишь на три четверти, хотя если грузополучатель замерит зерно бушель за бушелем, то количество его — несмотря на то что судно зафрахтовано специально для данной партии — значительно увеличится из-за разбухания. Эта мнимая убыль вызвана *утряской* зерна за время плавания, и она тем более ощутима, чем хуже была погода. Сколь хорошо ни закреплять досками и стойками свободно засыпанное в трюм зерно, все равно во время долгого перехода оно сдвинется, и это приведет к губительнейшим последствиям. Чтобы избежать их, перед отплытием следует как можно лучше утрясти груз; для этого существует множество способов, среди которых можно упомянуть вколачивание в зерно клиньев. Но и после всех этих приготовлений, после необыкновенно тяжелой работы по закреплению досок ни один моряк, даже знающий свое дело, не будет чувствовать себя в безопасности при сколько-нибудь сильном шторме, имея на борту груз зерна и тем паче неполный трюм со штучным товаром. Несмотря на это, сотни наших каботажных судов и еще больше европейских каждодневно уходят

в плавание со штучным грузом, причем самым опасным, без каких-либо предосторожностей. Удивительно, что кораблекрушения не бывают еще чаще. Печальным примером такой беззаботности в моей памяти остался случай с Джоэлем Райсом, капитаном шхуны «Светляк», который шел с партией кукурузы из Ричмонда, штат Виргиния, на остров Мадейра в 1825 году. Капитан совершил много плаваний без значительных происшествий; и обычно он не обращал внимания на укладку груза, разве что следил, чтобы он был закреплен как следует. До того ему не приходилось ходить с зерном, и на этот раз кукурузу просто ссыпали в трюм, загрузив его едва больше половины. Первую часть пути дул лишь свежий бриз, но когда до Мадейры оставался день ходу, налетел сильный норд-норд-ост, который заставил его лечь в дрейф. Капитан развернул, шхуну в бейдевинд, оставив только фок, взятый на второй риф, и она шла как и положено, не зачерпнув ни капли воды. К ночи шторм поутих, и хотя качка была порядочная, все же шхуна держалась хорошо до тех пор, пока тяжелый вал не опрокинул ее на правый борт. В тот же миг зерно всей своей массой с шумом сдвинулось с места и прорвало крышку главного люка. Судно тут же пошло ко

дну. Это произошло на расстоянии слышимости голоса от небольшого шлюпа с Мадейры, который подобрал одного-единственного спасшегося члена команды и вышел из шторма невредимым, как вышла бы при умелом управлении и любая шлюпка-четверка.

Что до «Дельфина», то груз у него на борту был уложен кое-как, если вообще можно считать укладкой, когда чуть ли не без разбора сваливают в одну груду бочки для жира и предметы корабельного хозяйства. (Китобойные суда обычно снабжены металлическими баками для жира, и я до сих пор не знаю, почему их не было на «Дельфине».) Я уже говорил о том, в каком беспорядке был навален груз в трюме. Между бочками для жира, установленными на нижней палубе, и верхней палубой оставался просвет, где я мог проползти; много свободного пространства было у главного люка; и кое-где еще имелись большие промежутки между грузами. А возле самого отверстия, которое проделал в перегородке Август, я нашел место, где вполне поместилась бы бочка и где я пока с удобством расположился.

Когда мой друг благополучно пролез в свой отсек, снова натянул наручники и обвязал веревкой ноги, уже совсем рассвело. Мы успели как раз

вовремя: едва он покончил с этим, как в кубрик спустился первый помощник капитана с Дирком Петерсом и коком. Разговор их касался судна с островов Мыса Верде, появления которого они ждали с часу на час. Потом кок зашел в отсек, где лежал Август, и присел у его изголовья. Я слышал каждое слово и видел каждое движение из своего убежища, ибо мой друг не вставил назад выпиленную часть доски, и я ожидал, что вот-вот негра качнет, он зацепит повешенную куртку, скрывавшую отверстие, все обнаружится, и нам, конечно, несдобровать. Фортуна, однако, была благосклонна к нам, и хотя он то и дело задевал куртку, но не настолько сильно, чтобы обнаружить лаз. Сама же куртка не качалась и не могла открыть отверстие, так как полы ее были тщательно прикреплены к перегородке. Все это время Тигр лежал в ногах у Августа и, казалось, постепенно приходил в себя; я заметил, что иногда он открывал глаза и тяжело вздыхал.

Через несколько минут помощник капитана и кок поднялись наверх, а Дирк Петерс тотчас же подошел к Августу и сел там, где только что сидел кок. Он начал весьма дружески разговаривать с Августом, и мы заметили, что он совсем не так пьян, каким прикидывался в присутствии тех

двоих. Он, не таясь, отвечал на вопросы моего друга, высказал уверенность, что его отца подобрали в море, потому что как раз перед заходом солнца в тот день, когда капитана бросили в лодке, он видел на горизонте никак не меньше пяти парусников, и вообще всячески утешал Августа, что столь же удивило меня, сколь и обрадовало. Я даже начал лелеять надежду, что с помощью Петерса мы в конце концов сумеем захватить бриг в свои руки, о чем я и сказал Августу, как только выпала возможность. Он счел это вполне вероятным, но оговорил, что в любой попытке такого рода необходимо соблюдать строжайшую осторожность, поскольку поведение полукровки могло быть следствием единственно причуды или случайного порыва, да и вообще никто не знал, действовал ли он когда-нибудь по трезвом размышлении. Через час Петерс поднялся на палубу и вернулся лишь после полудня с порядочным куском солонины и пудингом. Когда мы остались одни, я, не возвращаясь за перегородку, с удовольствием отведал того и другого. До конца дня на баке никто больше не появлялся, и под вечер я забрался к Августу в койку, где мирно проспал почти до рассвета, когда он поднял меня, услышав на палубе какое-то движение, и я как

можно быстрее вернулся в свое убежище. Когда совсем рассвело, мы увидели, что Тигр почти окончательно оправился и, не обнаруживая никаких признаков водобоязни, жадно вылакал миску воды. В течение дня к нему вернулись силы и аппетит. Его странное поведение было вызвано, конечно же, тлетворной атмосферой трюма и не имело никакого отношения к бешенству. Я не мог нарадоваться тому, что решил во что бы то ни стало взять его с собой, когда мы покидали трюм. Это было тридцатого июня, на тринадцатый день с момента нашего отплытия из Нантакета.

Второго июля в кубрик спустился помощник капитана, по обыкновению пьяный и в чрезвычайно хорошем настроении. Он подошел к Августу и, фамильярно хлопнув его по плечу, спросил, будет ли он послушным, если ему предоставят свободу, и обещает ли он не заходить в кают-компанию. Мой друг, разумеется, сказал «да», и тогда негодяй, вытащив из кармана флягу, угостил его ромом, снял наручники и веревку. Они поднялись на палубу, и часа три Август не возвращался. Затем он вернулся с хорошими новостями: ему разрешили свободно ходить по всей передней части судна вплоть до грот-мачты, а спать приказали, как и прежде, в кубрике. Кроме

того, он принес хороший обед и изрядный запас воды. Бриг держался прежнего курса, ожидая судна с островов Зеленого Мыса, и, когда вдали показался парус, все сошлись на том, что это оно и есть. Поскольку события последующих восьми дней ничем особо не примечательны и не имеют прямого отношения к моему повествованию, я изложу их в форме дневника, так как опускать их вовсе мне не хочется.

Июль, третьего дня. Август раздобыл для меня три одеяла, и я соорудил себе отличную постель в моем убежище. В течение всего дня никто, за исключением моего друга, не спускался в кубрик. Тигр расположился у переборки и все время спал, словно не вполне оправившись от последствия своей болезни. На исходе дня налетел шквал, и так неожиданно, что не успели убрать паруса и судно чуть было не опрокинулось. Ветер, однако же, сразу стих, не причинив нам никакого вреда, кроме того, что сорвал парус на фок-мачте. Весь день Дирк Петерс был чрезвычайно добр с Августом, завел с ним долгий разговор о Тихом океане и островах, где он бывал. Он спросил, не хотел ли бы Август вместе с ними отправиться в увлекательное путешествие по тем широтам, и сообщил, что команда все больше склоняется на сторону

помощника капитана. Август благоразумно ответил, что будет рад участвовать в плавании, поскольку ничего другого не оставалось и любое предложение было предпочтительнее пиратской жизни.

Июль, четвертого дня. Судно, увиденное на горизонте, оказалось небольшим бригом из Ливерпуля, и ему дали возможность беспрепятственно проследовать своим курсом. Большую часть времени Август проводил на палубе, по мере сил стараясь разузнать планы бунтовщиков. Среди них то и дело вспыхивали бурные ссоры, и во время одной из них сбросили за борт гарпунщика Джима Боннера. Число сторонников помощника капитана растет. Джим Боннер принадлежал к партии кока, к которой примыкает и Петерс.

Июль, пятого дня. На рассвете с запада подул сильный бриз, который после полудня перешел в штормовой ветер, так что пришлось убрать все паруса, кроме триселя и фока. Во время маневра сорвался с мачты матрос Симмс, входивший в группу кока, и, будучи сильно пьяным, утонул, причем никто даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Теперь на борту, вместе с Августом и мною, насчитывается тринадцать человек, а

именно: в числе сторонников чернокожего кока Сеймура, кроме него самого, — Дирк Петере, Джонс, Грили, Хартман Роджерс и Уильям Аллеи; в группу помощника капитана — я так и не узнал его имени — входит он сам, Авессалом Хикс, Уилсон, Джон Хант и Ричард Паркер.

Июль, шестого дня. Весь день штормило, то и дело налетали шквалы с дождем. Сквозь пазы в трюм набралось порядочно воды, которую безостановочно откачивали одним насосом, причем Августа тоже заставили работать у рукоятки. Как только спустились сумерки, совсем близко от нас прошел большой корабль, — его увидели лишь тогда, когда он был на расстоянии слышимости голоса. Очевидно, это было то самое судно, которое поджидали бунтовщики. Помощник капитана окликнул проходящих мимо, но ответ потонул в реве ветра. В одиннадцать часов волна накрыла среднюю часть судна, смыла большую часть левого фальшборта и нанесла кое-какие мелкие повреждения. К утру распогодилось, и на рассвете ветер почти стих.

Июль, седьмого дня. Весь день на море было сильное волнение, наш легкий бриг изрядно качало, и я слышал из своего убежища, что многие предметы в трюме сорвались со своих мест. Меня

мучила морская болезнь. Петерс долго беседовал с Августом, сообщив, что двое из его группы, Грили и Аллеи, переметнулись на сторону помощника капитана и решили сделаться пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, смысл которых мой друг в тот момент не вполне уловил. Вечером судно дало течь, с которой мы никак не могли справиться, так как она была вызвана большими напряжениями в корпусе и просачиванием воды сквозь швы. Пришлось отрезать кусок парусины и подвести его под нос; в какой-то мере это помогло, и течь уменьшилась.

Июль, восьмого дня. На восходе солнца, когда с востока поднялся легкий бриз, помощник капитана, осуществляя свои пиратские планы, взял курс на юго-запад, намереваясь достичь какого-нибудь острова в Вест-Индии. Ни Петерс, ни кок, насколько удалось узнать Августу, не стали противиться. От мысли захватить корабль, идущий с островов Зеленого Мыса, отказались. Насос свободно откачивал воду, проникавшую в щели, если мы, работая поочередно, отдыхали пятнадцать минут каждый час. Парус из-под носовой части за ненадобностью подняли.

На протяжении дня обменялись приветствиями с двумя небольшими встречными шхунами.

Июль, девятого дня. Погода чудесная. Матросы заняты починкой фальшборта. У Петерса снова был обстоятельный разговор с Августом, причем высказывался полукровка с большей прямотой, чем прежде. Он заявил, что ни под каким видом не разделяет намерений помощника капитана, и даже намекнул, что собирается взять у него власть. Он спросил, может ли он при таком обороте дел рассчитывать на помощь моего друга, на что тот без малейших колебаний ответствовал «да!». Пообещав осторожно выспросить мнение своих сторонников на этот счет, Петерс ушел. В тот день Августу больше не выпал случай поговорить с ним наедине.

7

Июль, десятого дня. Окликнули бриг, идущий из Рио-де-Жанейро в Норфолк. На море небольшой туман, с востока дует легкий встречный ветер. Сегодня умер Хартман Роджерс, которого восьмого числа после стакана грога схватили судороги. Роджерс был сторонником кока, причем именно на него Петерс полагался более всего. Он поделился с Августом подозрением, что помощник капитана отравил беднягу и что вскорости придет и его черед, если он не будет настороже.

Теперь в его группе оставались только он, Джонс и кок, тогда как в другой группе было пятеро. Он заговорил было с Джонсоном о возможности отстранить помощника от командования судном, но, поскольку план был встречен холодно, не стал распространяться на эту тему и, уж конечно, не обратился к коку. Хорошо, что он был так благоразумен, ибо после полудня кок объявил о решении примкнуть к группе помощника и окончательно взял его сторону, а Джонс, поссорившись из-за чего-то с Петерсом, в пылу пригрозил, что расскажет о его намерениях помощнику. Теперь мы не могли терять ни часа, и Петерс решительно предложил во что бы то ни стало попытаться захватить судно, если, конечно, Август поддержит его. Мой друг тут же заверил его, что ради этого готов участвовать в любом предприятии, и, посчитав, что настал удобный момент, сообщил о моем пребывании на судне. Полукровка скорее был обрадован, нежели удивлен этим открытием, потому что совершенно не полагался на Джонса, которого считал уже сторонником помощника капитана. Они сразу сошли вниз. Август позвал меня и познакомил с Петерсом. Мы решили, что, не посвящая Джонса в наши замыслы, попытаемся при первой возможности захватить судно. В

случае успеха мы направимся в ближайший порт и сдадим бриг властям. Измена сторонников Петерса нарушила его планы отправиться в Тихий океан, поскольку это путешествие невозможно предпринять без команды, и он рассчитывал либо на оправдание в суде по причине невменяемости (которое, как клятвенно утверждал, и побудило его примкнуть к бунтовщикам), либо, если его все-таки сочтут виновным, на прощение, надеясь на наше с Августом ходатайство. Наши переговоры были прерваны командой: «Все наверх, паруса убрать!» — и Август с Петерсом выскочили на палубу.

Команда, по обыкновению, была почти вся пьяна, и прежде чем успели как следует убрать паруса, бешеный шквал опрокинул бриг набок. Затем, однако, судно выпрямилось, хотя и зачерпнув немало воды. Едва на борту привели все в порядок, как обрушился еще один шквал и за ним тут же еще, не причинив, правда, никакого вреда. Похоже было, что надвигается буря, которая и в самом деле скоро налетела с яростной силой с севера и запада, Паруса были прилажены наилучшим образом, и судно легло, как положено, в дрейф под глухо зарифленным фоком. По мере приближения ночи ветер еще более усилился, вы-

звав огромную волну. Петерс с Августом пришли на бак, и мы возобновили наши переговоры.

Мы решили, что настал самый удобный момент осуществить наши планы, потому что сейчас никому не придет в голову ожидать нападения. Бриг уверенно лежал в дрейфе, и до наступления хорошей погоды не возникнет необходимости маневрирования, а затем, если наша попытка увенчается успехом, мы могли бы освободить одного-двух матросов и с их помощью добраться до суши. Главное затруднение заключалось в большой несоразмерности сил. Нас было только трое, тогда как в кают-компании — девять человек. Все оружие на судне также находилось в их расположении, за исключением пары небольших пистолетов, которые Петерс спрятал на себе, да огромного морского тесака, который он носил на поясе. Кроме того, судя по некоторым признакам, таким, например, как отсутствие на обычных местах топора или гандшпуга, мы имели основание опасаться, что помощник капитана питал кое-какие подозрения, по крайней мере по отношению к Петерсу, и он не упустит возможности так или иначе отделаться от него. Словом, наше решение не должно быть чересчур поспешным. Шансы были слишком неравны, так что мы не могли

приступить к осуществлению наших планов, не соблюдая величайшей осторожности.

Петерс предложил следующее: он выйдет на палубу, вступит в разговор с вахтенным, Алленом, и, улучив момент, без особого труда и не вызывая переполоха, сбросит его за борт; после наверх поднимаемся мы, чтобы раздобыть на палубе какое-нибудь оружие, а затем мы все трое блокируем дверь кают-компании, прежде чем нам окажут сопротивление. Я возражал против этого предложения, ибо не допускал мысли, что помощник, человек весьма хитроумный во всем, что не касалось его нелепых суеверий, так легко попадется в ловушку. То обстоятельство, что на палубе вообще был вахтенный, само по себе убедительно свидетельствовало, что он настороже, поскольку обычно во время штормового дрейфа вахтенного на палубе не ставят, если, конечно, не иметь в виду суда, где соблюдается поистине железная дисциплина. Так как мой рассказ адресован преимущественно, если не полностью, людям, которые никогда не ходили в море, очевидно, полезно описать, что происходит с судном при таких условиях. Ложатся в дрейф — или, как говорят моряки, «дрейфуют» — для разных надобностей, и осуществляется это разными

способами. В умеренную погоду в дрейф ложатся часто только для того, чтобы остановить судно или дождаться другого судна или чего-нибудь в этом роде. Если при этом судно несет все паруса, то часть их поворачивают другой стороной, то есть обстенивают, и судно останавливается. Но сейчас речь идет о необходимости лечь в дрейф во время шторма. Это делается при сильном противном ветре, когда нельзя поднять паруса без риска опрокинуться, а иногда даже при нормальном ветре, когда волнение слишком велико, чтобы идти по ветру. Если идти по ветру при тяжелой волне, то на судне неизбежны повреждения из-за того, что валы захлестывают корму, а нос глубоко зарывается в воду. К этому маневру прибегают лишь в случаях крайней необходимости. Когда судно дало течь, то его, напротив, часто пускают по ветру, даже при большой волне, ибо при дрейфе корпус испытывает такое давление, что пазы расходятся еще больше. Кроме того, необходимость поставить судно на фордевинд нередко возникает в тех случаях, когда порывы ветра настолько сильны, что рвут в клочья парус, поставленный для поворота против ветра, или когда нельзя совершить этот важнейший маневр из-за огрехов при постройке судна и по каким-

нибудь иным причинам.

Суда ложатся в дрейф по-разному, в зависимости от конструкции. Некоторые лучше всего осуществляют этот маневр под фоком, и, на мой взгляд, этим парусом чаще всего и пользуются. Большие суда с прямым парусным вооружением имеют для этой цели особые паруса — штормовые стаксели. В зависимости от обстоятельств ставят только кливер, иногда кливер и фок или фок, взятый на два рифа, а нередко и кормовые паруса. Иные считают, что наилучшим образом подходят для дрейфа фор-марселя. «Дельфин» обычно ложился в дрейф под глухо зарифленным фоком.

Когда судно ложится в дрейф, то нос его приводят к ветру лишь настолько, чтобы парус, под которым совершается маневр, забрал ветер, затем его обстенивают, то есть ставят диагонально к ветру. После этого нос ставится в нескольких градусах от направления, откуда дует ветер, и наветренная скула судна принимает на себя главный напор волн. В таком положении хорошее судно благополучно выдержит любой шторм, не зачерпнув ни капли воды и не требуя дальнейших усилий команды. Руль в таких случаях обычно закрепляют, хотя это не обязательно

(если не обращать внимания на шум, который он производит в свободном состоянии), ибо никакого влияния на судно, лежащее в дрейфе, он не оказывает. Лучше даже вообще не крепить штурвал, дабы руль имел возможность «играть», и тогда его не сорвет под ударами сильных волн. И пока парус держит, хорошо рассчитанное судно, как живое разумное существо, сохранит устойчивость при любом шторме. Опасность возникает лишь в том случае, если ветер все же разорвет парус на куски (что в нормальных условиях может произойти при настоящем урагане). Тогда судно отваливает от ветра и, встав бортом к волнам, оказывается во власти стихии, и единственный выход — потихоньку развернуть судно на фордевинд и тем временем поставить дополнительный парус. Некоторые суда могут лежать в дрейфе вообще без парусов, но полагаться на такие суда в море не следует.

Вернемся, однако, к нашему рассказу.

Итак, помощник капитана не имел обыкновения ставить на палубу вахтенного во время штормового дрейфа, и отступление от этого правила, в совокупности с фактом исчезновения топоров и гандшпугов, убеждало, что бунтовщики были настороже и нам не удастся захватить

их врасплох, как предлагал Петерс. И все же что-то надо было предпринимать, причем не откладывая: коль скоро против Петерса возникло подозрение, то с ним не замедлят расправиться при первом же удобном случае, а таковой наверняка найдут, как только стихнет шторм.

Август высказал предположение, что если бы Петерсу удалось под каким-нибудь благовидным предлогом сдвинуть якорную цепь с крышки люка в кают-компании, то мы могли бы через трюм проникнуть внутрь и неожиданно напасть на противника; однако, подумав, мы пришли к убеждению, что при сильной качке попытка такого рода обречена на неудачу.

Наконец, мне по счастью пришла в голову мысль сыграть на предрассудках и нечистой совести помощника капитана. Напомню, что два дня назад одного из матросов, Хартмана Роджерса, схватили судороги — это случилось после того, как он выпил стакан грога, — и нынче утром он умер. Петерс уверял, что Роджерса отравил помощник капитана и что у него есть на этот счет неопровержимые доказательства, которые он, однако, несмотря на уговоры, отказался сообщить нам; впрочем, этот своенравный отказ вполне соответствовал особенностям его характера. Трудно

сказать, имел он действительно основания подозревать помощника капитана или нет, но мы с готовностью присоединились к его мнению и решили действовать соответствующим образом.

Роджерс скончался в страшных мучениях около одиннадцати часов утра, и через несколько минут после смерти труп его являл такое ужасное и отвратительное зрелище, какого я, пожалуй, вообще никогда не видел. Живот у него вздулся, как у утопленника, несколько недель пробывшего в воде. На руки тоже было страшно смотреть, а уменьшившееся в размерах, сморщившееся лицо было бело, как мел, и поэтому особенно выделялись на нем два или три багрово-красных пятна, подобные тем, какие бывают при рожистом воспалении; одно из них тянулось наискось по всему лицу, полностью прикрыв глаз точно повязкой из темно-красного бархата. В таком состоянии в полдень труп вынесли на палубу, чтобы выбросить за борт, однако тут он попался на глаза помощнику капитана (он увидел мертвого Роджерса в первый раз), и тот, либо почувствовав угрызения совести, либо подавленный ужасом от такого страшного зрелища, приказал зашить тело в парусиновую койку и совершить обычный ритуал погребения в море. Отдав распоряжения,

он спустился вниз, словно желая избежать вида своей жертвы. Пока матросы делали то, что им было приказано, налетел яростный шторм, и они отложили погребение. Брошенный труп смыло к шпигатам у левого борта, где он и провалялся до того времени, о котором я говорю, перекатываясь с места на место при каждом сильном крене.

Договорившись, как действовать, мы, не теряя времени, принялись за осуществление нашего плана. Петерс вышел на палубу, где его, как мы и ожидали, остановил Аллен, которого, по всей очевидности, и поставили здесь, единственно чтобы следить за тем, что происходит на полубаке. Судьба негодяя решилась мгновенно и безо всякого шума: беспечно, словно бы в намерении поболтать, приблизившись к Аллену, Петерс схватил его за горло и, прежде чем тот успел вымолвить хоть слово, перекинул за борт. Потом Петерс позвал нас с Августом, и мы присоединились к нему. Первейшей нашей заботой было чем-нибудь вооружиться, хотя действовать приходилось с величайшей осмотрительностью, ибо, не ухватившись за что-нибудь, на палубе нельзя было находиться и секунды, а всякий раз, когда нос судна зарывался в воду, по палубе перекатывались огромные волны. Кроме того, мы

должны были спешить, ибо каждую минуту сюда мог подняться помощник капитана и поставить людей к помпам, поскольку бриг, должно быть, быстро набирал воду. После тщательных поисков мы, однако, не смогли обнаружить ничего более подходящего, чем две рукоятки от помпы. Одной рукояткой вооружился Август, другой — я, после чего мы сорвали с Роджерса рубашку, а труп столкнули в воду. Затем мы с Петерсом сошли вниз, а Август встал на страже на том самом месте, где находился Аллен, повернувшись спиной к трапу, ведущему в кают-компанию, и, если кто-нибудь из бандитов поднялся бы на палубу, он легко принял бы его за вахтенного.

Оказавшись в каюте, я стал преображаться в мертвого Роджерса. Весьма помогла в этом рубашка, снятая с трупа, так как это была какого-то особого покроя, ни на что не похожая блуза из синей трикотажной ткани с широкими поперечными белыми полосами, которую погибший носил поверх другой одежды. Облачившись в нее, я засунул под низ простыню и таким образом соорудил себе фальшивый живот, вполне смахивающий на отвратительное вздутие трупа. Распухшие конечности я сделал, натянув на руки пару белых шерстяных перчаток и набив

их случайно валявшимся здесь тряпьем. Затем Петерс натер мне лицо мелом и намазал кровью, взятой из пореза на пальце. Кровавая полоса, закрывавшая глаз, довершала грим и придавала мне ужасающий вид.

8

При тусклом свете переносного фонаря я посмотрел на себя в осколок зеркала, висевший в каюте, и почувствовал такой страх при виде своей внешности и воспоминании об ужасном покойнике, которого я изображал, что меня стала бить дрожь, в голове помутилось, и я едва мог собраться с силами, чтобы сыграть свою роль. Обстоятельства, однако, требовали решительных действий, и мы с Петерсом вышли на палубу.

Наверху все было спокойно, и, держась ближе к борту, мы втроем прокрались к кают-компании. Дверь была чуть приоткрыта, и на ступеньке под нее были подложены деревянные чурбаки, которые не позволяли закрыть ее плотно. Сквозь щели у дверных петель мы имели полную возможность увидеть все, что делается внутри. Какое счастье, что мы отказались от мысли напасть на бунтовщиков врасплох, ибо они были, по всей видимости, настороже. Лишь один спал

внизу у сходного трапа, держа подле себя ружье. Остальные же, сидя на матрацах, принесенных из других кают и разбросанных по палубе, о чем-то серьезно совещались. Пара пустых кувшинов и оловянные кружки, раскиданные то тут, то там, свидетельствовали о том, что негодяи только что отпировали, хотя и не были пьяны, как обычно. Все были вооружены ножами, кое у кого торчали за поясом пистолеты, а совсем рядом в парусиновой койке лежало множество ружей.

Мы напряженно вслушивались в их разговор, прежде чем окончательно решить, как действовать, договорившись заранее лишь о том, что при нападении на бунтовщиков попытаемся напугать их призраком Роджерса. Они обсуждали сейчас свои разбойничьи планы, и мы отчетливо услышали лишь то, что они намереваются соединиться с командой какой-то шхуны «Шершень», а если удастся, то захватить и шхуну, дабы впоследствии предпринять какую-то крупную авантюру, подробности которой никто из нас не разобрал.

Кто-то заговорил о Петерсе, помощник капитана ответил ему, но мы не расслышали, что именно, а потом он добавил громче, что «никак не возьмет в толк, зачем Петерс нянчится с этим капитановым отродьем на баке, и чем скорее

оба окажутся за бортом, тем лучше». Слова эти были встречены молчанием, но нетрудно было понять, что их выслушали с готовностью все присутствующие, и особенно Джонс. Я был взволнован до крайности, тем более что ни Август, ни Петерс, насколько я мог заметить, не знали, что делать. Что до меня, то я решил не поддаваться минутной слабости и отдать свою жизнь как можно дороже.

Вой ветра в снастях и грохот волн, перекатывающихся через палубу, заглушал голоса, и мы слышали, о чем шла речь в салоне, лишь в моменты кратковременного затишья. Один раз нам удалось разобрать, как помощник капитана приказал кому-то пойти на бак и приказать «этим паршивым салагам пожаловать сюда, где за ними можно приглядывать, ибо он не потерпит никаких темных дел на борту». К нашей удаче, яростная качка помешала выполнить распоряжение в ту же минуту. Едва кок поднялся с места, чтобы пойти за нами, как судно внезапно накренилось, причем так резко, что я подумал, выдержат ли мачты, и его швырнуло и стукнуло прямо головой в какую-то дверь напротив, так что та распахнулась и вообще поднялась суматоха. К счастью, нам троим удалось удержаться

на месте, и у нас оставалось еще время, чтобы стремительно отступить к баку и поспешно разработать план дальнейших действий до того, как кок появился наверху, или, точнее, высунулся из люка, поскольку на палубу он так и не вышел. Со своего места он не мог заметить отсутствия Аллена и потому крикнул ему о приказе помощника капитана. «Есть!» — ответил Петерс, изменив голос, и кок тут же спустился вниз, не заподозрив неладное.

Оба моих товарища смело отправились вперед и сошли по трапу в кают-компанию, причем Петерс прикрыл за собой дверь точно так же, как она была. Помощник капитана встретил их с наигранным радушием и разрешил Августу, ввиду его хорошего поведения последнее время, располагаться в салоне и вообще считать себя в будущем членом экипажа. Он налил ему полкружки рому и заставил выпить. Все это я преотлично видел и слышал, так как проследовал за своими друзьями, едва за ними закрылась дверь, и снова занял свой прежний наблюдательный пункт. Я захватил с собой обе рукоятки от помп и одну из них спрятал у сходного трапа, чтобы пустить в дело при первой же надобности.

Сохраняя, поелику возможно, равновесие, что-

бы хорошо видеть все, что происходит внутри, я старался собраться с духом, готовясь появиться перед бунтовщиками, как только Петерс подаст условленный знак. Вскоре ему удалось перевести разговор на кровопролитие во время мятежа, и постепенно речь зашла о всяческих суевериях, которые повсеместно бытуют среди матросов. Я не слышал всего, что говорилось, но хорошо видел, как действует эта тема на присутствующих. Помощнику капитана было явно не по себе, и, когда кто-то сказал, как ужасно выглядел труп Роджерса, я подумал, что с ним вот-вот случится обморок. Петерс спросил его, не лучше ли было бы сбросить труп в море, потому что страшно смотреть, как он перекатывается с места на место. При этих словах у негодяя перехватило дыхание, и он медленно обвел взглядом своих сообщников, словно умоляя, чтобы кто-нибудь вызвался сделать это. Никто, однако, не шевельнулся, и было очевидно, что вся банда доведена до крайней степени нервного возбуждения. И вот тут-то Петерс подал мне знак. Я распахнул настежь дверь в кают-компанию, без единого звука сошел вниз и, выпрямившись, застыл посреди сборища.

Если принять во внимание совокупность многочисленных обстоятельств, не удивителен тот

необыкновенный эффект, какой был вызван этим неожиданным появлением. Обычно в случаях подобного рода в воображении зрителя остается какое-то сомнение в реальности возникшего перед ним видения, какая-то, пусть самая слабая, надежда на то, что он — жертва обмана и призрак отнюдь не пришелец из мира теней. Не будет преувеличением сказать, что такие крупицы сомнения и служат причиной всяческих наваждений, что возникающий при этом страх, даже в случаях наиболее очевидных и вызывающих наибольшие терзания, должно отнести скорее за счет ужасного опасения, как бы видение *и в самом деле не оказалось реальностью*, нежели непоколебимой веры в его реальность. Однако в данном случае в воспаленных умах бунтовщиков не было и тени сомнения в том, что явившаяся фигура — это действительно оживший омерзительный труп Роджерса или, по крайней мере, его бесплотный образ. Совершенно обособленное местоположение брига и абсолютная его недоступность в такой шторм ограничили возможности обмана до таких узких и определенных пределов, что они могли мгновенно окинуть их мысленным взглядом. Двадцать четыре дня они находились в открытом море, не поддерживая ни

с кем никакой связи, и лишь перекликались со встречными судами. Команда в полном составе, точнее все те, кто, по их твердому убеждению, находился на борту, была собрана в салоне — за исключением Аллена, стоявшего на вахте, однако он так выделялся своим гигантским ростом (шесть футов и шесть дюймов), что они ни на секунду не могли предположить, будто он и есть явившийся им призрак. Добавьте к этим соображениям бурю, вызывающую благоговейный трепет, разговоры, начатые Петерсом, отвратительный труп, который произвел утром такое отталкивающее впечатление, отлично сыгранную мною роль призрака, тусклый неверный свет от раскачивающегося взад и вперед фонаря, который то освещал меня, то оставлял во мраке, добавьте все это, и тогда не придется удивляться, что наша хитрость возымела даже большее действие, нежели мы рассчитывали. Помощник капитана вскочил было с матраца, на котором лежал, но тут же, не проронив ни звука, упал замертво на ходившую ходуном палубу, и тело его, точно бревно, откатилось к левой переборке. Из оставшихся семи человек только трое в какой-то степени сохранили присутствие духа. Другие четверо на время точно приросли к полу — я ни

разу не видел таких жалких жертв безрассудного страха. И лишь со стороны кока, Джона Ханта и Ричарда Паркера мы встретили сопротивление, да и они из-за растерянности могли только кое-как защищаться. Первых двух Петерс застрелил на месте, а я свалил Паркера, ударив его по голове прихваченной с собой рукояткой. Тем временем Август схватил с пола ружье и выстрелил другому бунтовщику (по фамилии Уилсон) прямо в грудь. Теперь их оставалось только трое, но к этому моменту они очнулись и, наверное, догадывались, какую злую шутку с ними сыграли, ибо сражались с такой отчаянной решимостью, что в конце концов могли бы и одолеть нас, если бы не огромная физическая сила Петерса. Эти трое были Джонс, Грили и Авессалом Хикс. Джонс опрокинул Августа на пол, ударил несколько раз ножом в правую руку и наверняка скоро прикончил бы его (поскольку ни я, ни Петерс не могли в эту минуту освободиться от своих собственных противников), если бы не своевременная помощь друга, на которого мы, разумеется, никак не рассчитывали. Этим другом оказался не кто иной, как Тигр. В самый критический для Августа момент он с глухим ворчанием ворвался в кают-компанию и, кинувшись на Джонса, в один

миг свалил его на пол. Август, однако, не мог снова вступить в схватку из-за ранений, а мне так мешало мое одеяние, что я едва поворачивался. Тигр вцепился Джонсу в горло и не отпускал. Впрочем, Петерс был гораздо сильнее тех двоих и давно покончил бы с ними, если бы не теснота помещения и мощные толчки от качки. Вскоре ему удалось схватить тяжелый табурет — из тех, что валялись в каюте, — и он размозжил Грили голову как раз в тот момент, когда тот собирался выстрелить в меня из ружья, после чего судно резко накренилось — и его швырнуло на Хикса, которого он тут же задушил голыми руками. Итак, мы завладели бригом, и нам потребовалось меньше времени, чем мне сейчас рассказывать об этом.

Из наших соперников остался в живых только Ричард Паркер, тот самый, которого в самом начале боя я свалил ударом рукоятки от насоса. Он лежал неподвижно у двери каюты, но, когда Петерс толкнул его ногой, очнулся и запросил пощады. Его просто оглушило ударом, и, если не считать небольшой раны на голове, он был цел и невредим. Мы заставили Паркера встать и на всякий случай связали ему за спиной руки. Тигр по-прежнему глухо ворчал над лежащим

Джонсом, но, присмотревшись, мы увидели струящуюся кровь и глубокую рану на горле от острых клыков животного, — он был мертв.

Было около часу ночи, ветер не стихал. Шторм изрядно потрепал наш бриг, и надо было что-то предпринять, чтобы облегчить ему борьбу со стихией. Всякий раз, когда судно кренилось в подветренную сторону, волны захлестывали палубу, и вода проникла даже в салон, потому что, спускаясь, я не задраил люк. Весь фальшборт с левой стороны снесло начисто, равно как и камбуз, и рабочую шлюпку с кормового подзора. Грот-мачта так скрипела и ходила, что, казалось, вот-вот даст трещину. Чтобы выгадать в трюме место под груз (что иногда практикуется невежественными и своекорыстными корабельщиками), шпор грот-мачты на «Дельфине» был укреплен между палубами, и теперь возникла опасность, что сильным шквалом его вырвет из степса. Однако верхом наших бед оказались семь футов воды в трюме.

Мы оставили трупы как есть в кают-компании и принялись усиленно откачивать помпами воду, предварительно развязав, разумеется, руки Паркеру, чтобы он принял участие в работе. Хотя рана у Августа была тщательнейшим образом

перевязана и он делал, что мог, помощь от него была небольшая. Тем не менее мы убедились, что, если постоянно качать хоть одну помпу, воды не прибывает. Поскольку нас осталось только четверо, это было нелегким делом, но мы не падали духом и считали минуты, когда рассветет и мы облегчим бриг, срубив грот-мачту.

Так прошла ночь, полная тревоги и изнурительного труда, по и на рассвете шторм не стих и вообще ничто не предвещало перемены погоды к лучшему. Мы вытащили трупы из кают-компании и сбросили их в море. Теперь надо было избавиться от грот-мачты. Сделав все необходимое, Петерс стал рубить мачту; топоры мы нашли в кают-компании), а мы стояли наготове у штагов и вант. В нужный момент, когда бриг сильно накренился в подветренную сторону, он крикнул, чтобы мы рубили наветренные ванты, и вся эта масса дерева и такелажа рухнула в воду, почти не задев бриг. Судно приобрело большую устойчивость, хотя наше положение оставалось весьма ненадежным, так как, несмотря на все усилия, мы не успевали откачивать прибывающую воду одной помпой. Август же не мог работать в полную силу. На нашу беду, в наветренный борт ударил тяжелый вал, сдвинув судно на несколько

румбов, и, прежде чем оно вернулось в прежнее положение, другая волна повалила его набок. Балласт всей своей массой переместился к подветренному борту (груз еще раньше сорвало с места), и мы уже ждали, что «Дельфин» вот-вот опрокинется. Вскоре мы немного выровнялись, по, поскольку балласт оставался у левого борта, все же крен был довольно значительный, так что откачивать воду не имело никакого смысла, да мы и не смогли бы это делать, потому что выбились из сил и так натрудили руки, что они буквально кровоточили.

Хотя Паркер пытался отговорить нас, мы принялись рубить фок-мачту. Из-за большого крена дело подвигалось медленно. Падая в воду, она снесла бушприт, и от нашего «Дельфина» остался только корпус.

До сих пор мы тешили себя надеждой, что на худой конец спасемся на баркасе, который чудом не получил никаких повреждений. Наша успокоенность, однако, была преждевременной, ибо как только мы лишились фок-мачты и фока, который удерживал бриг в относительной устойчивости, волны, не перекатываясь, начали разбиваться прямо на корабле, и через пять минут они гуляли по всей палубе от носа до кормы, сорвав и баркас,

и правый фальшборт, и даже разбив вдребезги брашпиль. Более критическое положение трудно было себе представить.

В полдень шторм начал как будто понемногу стихать, но, к величайшему нашему разочарованию, затишье длилось всего несколько минут, после чего ветер подул с удвоенной силой. Около четырех часов пополудни его яростные порывы уже валили с ног, а когда спустилась ночь, у меня не оставалось ни проблеска надежды на то, что мы продержимся до утра.

К полночи «Дельфин» погрузился настолько, что вода доходила до нижней палубы. Потом мы потеряли руль, причем сорвавшая его волна необыкновенно высоко вскинула корму, и она опустилась на воду с таким ударом, какой бывает, когда судно выкидывает на берег. Мы рассчитывали, что руль выдержит любой шторм, потому что ни до, ни после мне не приходилось видеть такой прочной конструкции. Сверху вниз вдоль его главного бруса шел ряд массивных металлических скоб; таким же манером подобные скобы были установлены на ахтерштевне. Сквозь оба ряда скоб был продет толстый кованый стержень, на котором поворачивался руль. О чудовищной силе волны, сорвавшей его, можно судить по

тому, что скобы, концы которых были прошиты сквозь тело ахтерштевня и загнуты изнутри, все, как одна, оказались вырванными из твердой древесины.

Едва мы перевели дух от этого удара, как нас накрыл гигантский, не виданный мною до того вал — он начисто снес сходной трап, сорвал крышки от люков, заполнил водой каждую щель.

9

К счастью, как раз перед наступлением темноты мы крепко привязали себя к разбитому брашпилю и лежали на палубе плашмя. Только это и спасло нас от неминуемой гибели. Как бы то ни было, каждый из нас был в той или иной степени оглушен чудовищной волной, которая всем своим весом обрушилась на нас, так что мы едва не захлебнулись. Переведя дух, я окликнул моих товарищей. Отозвался один Август. «Все кончено, да пощадит господь наши души!» — пробормотал он. Потом очнулись Петерс и Паркер; оба призывали мужаться и не терять надежды: груз наш был такого рода, что бриг ни за что не затонет, а буря к утру, возможно, стихнет. Услышав это, я воодушевился: будучи в крайнем смятении, я,

как ни странно, совершенно упустил из виду, что судно, загруженное пустыми бочками для китового жира, не может пойти ко дну, а именно этого я более всего опасался последние часы. Во мне снова ожила надежда, и я использовал каждый удобный момент, чтобы еще крепче привязать себя веревками к брашпилю — тем же самым вскоре занялись и мои товарищи. Кромешная тьма и адский грохот вокруг не поддаются описанию. Палуба находилась вровень с поверхностью моря, вернее, с вздымающимися гребнями пены, то и дело захлестывающей нас. Без всякого преувеличения скажу, что едва ли одну секунду из трех мы не были погружены с головой в воду. Хотя мы лежали совсем рядом, ни один из нас не видел другого, как не видел вообще ничего на судне, которое швыряло, как скорлупку. По временам мы перекликались, чтобы поддержать друг друга, утешить и приободрить того, кто в этом более всего нуждался.

Предметом особой нашей заботы был ослабевший Август; мы опасались, как бы его не смыло за борт, потому что из-за раненой руки он, конечно, не мог привязать себя как следует, однако помочь ему было решительно невозможно. К счастью, он лежал в самом безопасном месте:

его голова и плечи были скрыты за обломками брашпиля, и набегающие волны, разбиваясь о него, значительно теряли в силе. Не будь Август под прикрытием брашпиля (куда его прибило водой после того, как он привязался на открытом месте), ему не избежать бы гибели. Вообще благодаря тому, что судно лежало на боку, мы сейчас были менее достижимы для волн, нежели при любом другом его положении. Крен, как я уже сказал, был на левый борт, так что добрая половина палубы постоянно находилась под водой. Поэтому волны, набегавшие справа, разбивались о корпус судна и накрывали нас, прижавшихся всем телом к палубе, лишь частично, а те, которые докатывались с левого борта, уже не могли причинить нам особого вреда.

Так мы провели ночь, а когда настало утро, мы воочию убедились, в каком ужасном положении находимся. Бриг превратился в обыкновенное бревно, словно пущенное по воле волн, шторм усиливался, переходя в настоящий ураган, и вообще ничто не обещало перемен к лучшему. Мы молча держались еще несколько часов, безучастно ожидая, что вот-вот лопнут наши веревки, или вконец разобьет брашпиль, или один из тех гигантских валов, что с ревом вздымались

отовсюду, так глубоко погрузит судно под воду, что мы захлебнемся, прежде чем оно всплывет на поверхность. Но милость господня избавила нас от этой участи, и около полудня нас приободрили робкие лучи благодатного солнца. Потом заметно стал стихать ветер, и Август, не подававший всю ночь никаких признаков жизни, вдруг спросил у Петерса, находившегося ближе других, есть ли, по его мнению, какая-нибудь возможность спастись. Ответа не последовало, и мы уже решили было, что полукровка захлебнулся, но затем, к великому нашему облегчению, он заговорил слабым голосом, жалуясь на невыносимую боль от веревок, врезавшихся ему в живот: надо найти способ ослабить их, либо он погибнет, ибо не в силах вынести эту адскую боль. Мы слушали его с сокрушением, но решительно ничем не могли помочь: волны окатывали нас с головы до ног. Мы убеждали его крепиться, обещая при первой же возможности облегчить его страдания. Он сказал, что будет поздно, что, пока мы сумеем оказать ему помощь, с ним будет все кончено, затем застонал и затих, из чего мы заключили, что он скончался.

Ближе к вечеру волнение улеглось, так что за целых пять минут, может быть, одна-единствен-

ная волна с наветренной стороны захлестнула палубу; отчасти ослаб и ветер, хотя несся по-прежнему с огромной скоростью. Вот уже несколько часов никто из моих товарищей по несчастью не проронил ни слова. Я решил позвать Августа. Он ответил едва слышным голосом, но я не смог ничего разобрать. Потом я обратился к Петерсу и Паркеру, однако оба молчали.

Именно вскоре после этого я впал в какое-то бесчувствие, и в моем воспаленном мозгу стали возникать удивительно приятные видения: зеленеющая роща, золотистая колыхающаяся нива, хороводы девушек, скачущие кавалькады и другие картины. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что во всех этих образах, которые проходили перед моим мысленным взором, было нечто общее, а именно — идея движения. Я не припомню, чтобы мне привиделся хоть один неподвижный предмет, такой, как дом, гора или что-нибудь в этом же роде; напротив, бесконечной чередой проносились мельницы, корабли, какие-то огромные птицы, воздушные шары, всадники, бешено мчавшиеся экипажи и многое-многое другое, что движется. Когда я очнулся, было, судя по положению солнца, около часу дня. С огромнейшим трудом я соображал, где я и что

со мной; какое-то время мне казалось, что я все еще нахожусь в трюме, около своего ящика, и что рядом со мной Тигр, а никак не Паркер.

Когда я окончательно пришел в себя, дул умеренный бриз и море было сравнительно спокойно — лишь редкая волна лениво перекатывалась через середину брига. С левой руки у меня веревка соскочила, оставив порядочную ссадину у локтя, а правая была так натерта тугой перевязью, что совершенно онемела и распухла книзу от предплечья. Другая веревка, та, которой я привязал себя у пояса, причиняла нестерпимую боль, ибо натянулась до предела. Я посмотрел на своих товарищей. Август лежал скорчившись у обломков брашпиля и не подавал признаков жизни. Петерс был жив, несмотря на то что толстый линь поперек поясницы, казалось, перерезал его надвое, и, увидев, что я задвигался, шевельнул рукой, показывая на веревку, и спросил, хватит ли у меня сил помочь ему развязаться, и тогда мы, может быть, спасемся, а в противном случае погибнем. Я посоветовал ему мужаться, пообещав помочь ему. Нащупав в кармане своих панталон перочинный нож, я после нескольких безуспешных попыток открыл наконец лезвие. Затем левой рукой мне удалось освободить правую

руку и перерезать остальные веревки. Я попытался встать, но ноги совершенно не слушались меня, правая рука тоже не действовала. Я сказал об этом Паркеру, и тот посоветовал несколько минут полежать спокойно, держась левой рукой за брашпиль, чтобы кровь снова начала циркулировать. Онемение постепенно проходило, я пошевелил одной ногой, потом другой; скоро стала частично действовать и правая рука. Не вставая на ноги, я осторожно подполз к Паркеру, перерезал веревки, и через несколько минут он тоже смог двигать конечностями. Теперь мы, не теряя времени, принялись освобождать бедного Петерса. Веревка прорвала пояс шерстяных панталон, две рубашки и так глубоко врезалась ему в поясницу, что, как только мы сняли веревку, из раны обильно потекла кровь. Несмотря на это, Петерсу тут же стало легче, он заговорил и двигался даже с меньшим трудом, чем мы с Паркером, — бесспорно, благодаря вынужденному кровопусканию.

Что до Августа, то он не подавал никаких признаков жизни, и мы почти не надеялись на благополучный исход, однако, приблизившись, убедились, что он без сознания из-за большой потери крови (повязку, которую мы сделали на

раненой руке, давно сорвало водой), а веревки, которыми он привязался к брашпилю, ослабились и никак не могли быть причиной смерти. Сняв с Августа веревки и освободив от деревянных обломков брашпиля, мы перенесли его на сухое, продуваемое ветром место, опустив голову чуть пониже туловища, и принялись усиленно растирать ему конечности. Через полчаса он пришел в себя, но лишь на следующее утро стал узнавать нас и мог говорить. Пока мы возились с нашими веревками, совсем стемнело, стали собираться тучи, и нас снова взяло тревожное опасение, что разыграется шторм, и тогда уже ничто не спасет нас, выбившихся из сил, от верной гибели. К счастью, погода всю ночь держалась умеренная, и волнение заметно спадало, что опять вселило в нас надежды на спасение. Ветер по-прежнему дул с северо-запада, но было совсем не холодно. Ввиду крайней слабости Август не мог держаться сам, и мы осторожно привязали его у наветренного борта, чтобы он не скатился в воду. Что касается нас, то мы ограничились тем, что уселись поближе друг к другу и, держась за обрывки троса на брашпиле, принялись обсуждать, как бы нам выбраться из нынешнего ужасного положения. Кому-то пришла счастливая мысль снять одежду

и выжать ее. Обсохнувшая одежда казалась теплой, приятной и придала нам бодрости. Помогли мы раздеться и Августу, сами выжали ему одежду, и он тоже почувствовал облегчение.

Теперь нас более всего мучили голод и жажда; мы боялись подумать о том, что ожидает нас в этом смысле, и даже сожалели, что избежали менее ужасной смерти в морской пучине. Правда, мы утешались мыслью, что нас подберет какое-нибудь судно, и призывали друг друга мужественно встретить испытания, которые могли еще выпасть на нашу долю.

Наконец настало утро четырнадцатого числа; погода была все такая же ясная и теплая, с северо-запада дул устойчивый, но легкий бриз. Море совсем успокоилось, бриг непонятно почему немного выровнялся, на палубе было сравнительно сухо, и мы могли свободно по ней передвигаться. Чувствовали мы себя лучше, чем минувшие три дня и три ночи, которые провели без пищи и воды, и сейчас надо было во что бы то ни стало раздобыть съестного. Поскольку трюмы и каюты были затоплены, мы принимались за дело без особой охоты, почти не рассчитывая достать что-нибудь снизу. Надергав гвоздей из обломков крышки от люка и вколотив их в две

доски, связанные крест-накрест, мы соорудили нечто вроде драги и спустили ее на веревке через люк в кают-компанию. Волоча доски взад и вперед, мы пытались зацепить что-нибудь съедобное или какой-нибудь предмет, с помощью которого мы могли бы добыть пищу. Мы занимались этим почти все утро, выудив лишь кое-какое постельное белье, которое легко цеплялось за гвозди. Нет, наше приспособление было слишком примитивно, чтобы всерьез рассчитывать на успех.

Потом мы попробовали нашу драгу в люке на баке, но тоже напрасно, и совсем уже было отчаялись, когда Петерс сказал, что, если мы будем держать его за веревку, он попытается достать что-нибудь из кают-компании, нырнув в воду. Предложение было встречено с таким восторгом, какой могла вызвать только ожившая надежда. Он немедленно разделся, оставив на себе лишь панталоны, а мы тщательно закрепили у него на поясе прочную веревку, обвязав его через плечо, чтобы она не соскочила. Затея эта была крайне трудной и опасной: поскольку в самой кают-компании вряд ли чем существенным можно было разжиться, Петерсу нужно было нырнуть вниз, взять вправо, проплыть под водой десять — двенадцать футов, попасть в узкий проход, ведущий

в кладовую, а затем вернуться назад.

Когда все было готово, Петерс спустился по сходному трапу, так что вода доходила ему до подбородка, и нырнул головой вперед, стараясь брать вправо, к кладовой. Первая попытка оказалась неудачной. Не прошло и полминуты, как веревка дернулась (мы условились, что этим он даст знать, когда его вытаскивать). Мы тут же стали выбирать веревку, по неосторожности сильно ударив Петерса о трап. Как бы то ни было, вернулся он с пустыми руками, не сумев проникнуть в проход и до половины, так как все его силы ушли на то, чтобы держаться на глубине, не дав воде вытолкнуть его на поверхность, к палубному настилу. Выбрался он весь измученный и вынужден был с четверть часа отдыхать, прежде чем отважился нырнуть снова.

Вторая попытка была еще более неудачной. Он так долго оставался под водой, не подавая знака, что, вконец встревоженные, мы стали вытаскивать его, успев в самый последний момент, — оказалось, что он несколько раз дергал веревку, а она, очевидно, запуталась за поручни в нижней части трапа, и мы ничего не чувствовали. Эти поручни на самом деле так мешали, что, прежде чем продолжать нашу работу, мы

решили сломать их. Нам не на что было рассчитывать, кроме собственных мускулов, и потому, спустившись как можно глубже по трапу в воду, мы все вчетвером налегли на них разом и обрушили вниз.

Третья попытка, как и первые две, также не принесла успеха, и мы поняли, что ничего не добьемся, если не раздобудем какой-нибудь груз, который удерживал бы ныряльщика у самой палубы, пока тот занят поисками. Мы долго не могли найти ничего такого, что могло бы служить грузом, пока наконец не наткнулись, к счастью, на обрывок цепи. Прочно прикрепив ее к лодыжке, Петерс четвертый раз спустился в кают-компанию и даже добрался до двери в помещение стюарда. На беду, дверь была заперта, и он снова вернулся ни с чем, потому что при крайнем напряжении мог пробыть под водой не больше минуты. Теперь наши дела действительно были плохи, и при мысли о неисчислимых бедах, подстерегавших нас на каждом шагу, и о малой вероятности нашего спасения мы с Августом не могли удержаться от рыданий. Но то была минутная слабость. Упав на колени, мы вознесли молитву господу, прося не оставить нас своей помощью посреди окружавших опасностей, а

поднялись уже с новой надеждой и новой решимостью искать, что еще может сделать смертный для своего избавления.

10

Вскоре после этого случилось происшествие, которое, на мой взгляд, сопровождалось такими глубокими переживаниями, вызвало такие противоположные чувства — от безграничной радости до крайнего ужаса, — какие я не испытал впоследствии ни разу, хотя за девять долгих лет на мою долю выпало немало приключений, насыщенных поразительными, а нередко и вообще непостижимыми событиями.

Мы лежали на палубе подле сходного трапа в кают-компанию и рассуждали о возможности проникнуть в кладовую. Я случайно посмотрел на Августа, обращенного ко мне лицом, и увидел, что он смертельно побледнел, а губы его задрожали самым неестественным образом. Безмерно встревоженный, я спросил, что случилось. Но он не отвечал, и я подумал было, что мой друг внезапно почувствовал себя дурно, однако в тот же момент заметил его горящий взгляд, устремленный на что-то позади меня. Я обернулся. Как мне забыть исступленный восторг, который про-

низал каждую клеточку моего существа, когда я увидел милях в двух от «Дельфина» большой бриг, идущий прямо на нас. Я подпрыгнул, точно в грудь мне ударила пулями, простирая руки к судну, замер, не в силах проронить ни слова. Петерс и Паркер были равно возбуждены, хотя каждый по-своему. Первый пустился в какую-то сумасшедшую пляску, издавая немыслимые восклицания вперемешку со стонами и проклятиями, а другой заплакал от радости, как дитя.

Показавшийся корабль был большой бригантиной голландской постройки, выкрашен в черное, с какой-то аляповатой позолоченной носовой фигурой. Он, очевидно, немало пострадал от непогоды, а шторм, который оказался гибельным для нас самих, нанес ему изрядные повреждения: фор-стеньга была сорвана, равно как и часть правого фальшборта. Когда мы в первый раз заметили бриг, он находился, как я уже сказал, на расстоянии двух миль с наветренной стороны и шел прямо на нас. Бриз был очень слабый, однако, на удивление, на бриге стояли только фок и грот с летучим кливером, так что двигался он очень медленно, а мы буквально обезумели от нетерпения. Несмотря на наше возбуждение, мы, кроме того, заметили, что бриг идет как-то

странно. Два или три раза он так значительно отклонялся от курса, что можно было подумать, что на незнакомце вообще не заметили «Дельфина» или, не видя на борту людей; решили повернуть на другой галс и уйти. Тогда мы начинали вопить что есть силы, и корабль снова менял курс и снова направлялся к нам. Так повторялось несколько раз, мы не могли понять, в чем дело, и в конце концов решили, что рулевой просто пьян.

На палубе корабля поначалу не было ни души, но, когда он приблизился к нам на четверть мили, мы увидели трех человек, судя по одежде — голландцев. Двое из них лежали на старой парусине на баке, а третий, взиравший на нас с величайшим любопытством, оперся на правый борт у самого бушприта. Это был высокий крепкий мужчина с очень темной кожей. Всем своим обликом он, казалось, призывал нас запастись терпением, радостно, хотя и несколько странно, кивая нам, и улыбался, обнажая ряд ослепительно-белых зубов. Когда судно подошло еще ближе, мы заметили, как у него с головы слетела в воду красная фланелевая шапочка, но он не обратил на это внимания, продолжая улыбаться и кивать. Я описываю все происходящее со всеми подробностями, но — следует напомнить — именно так,

как нам это казалось.

Медленно, но более уверенно, чем прежде, бриг приближался к нам — нет, я не могу рассказывать об этом событии спокойно. Наши сердца бились все сильнее, и мы излили душу в отчаянных криках и благодарениях всевышнему за полное, неожиданное чудесное избавление, которое вот-вот должно было свершиться. И вдруг с этого таинственного корабля (он был совсем близко) потянуло каким-то запахом, зловонием, которому в целом мире не найти названия, ни подобия… что-то адское, удушающее, невыносимое, непостижимое. Я задыхался, мои товарищи побледнели как мрамор. Для вопросов и догадок времени уже не оставалось: незнакомец был футах в пятидесяти и, казалось, хотел подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы, вероятно, могли перебраться на него, не спуская лодки. Мы кинулись на корму, но в этот момент корабль внезапно отвернуло от курса на пять-шесть румбов, и он прошел перед самым нашим носом, футах в двадцати, дав нам возможность увидеть все, что творится на борту. До конца дней моих не изгладится из памяти невыразимейший ужас, охвативший меня при виде того зрелища. Между кормой и камбузом валялись трупы, отталкива-

ющие, окончательно разложившиеся, двадцать пять или тридцать, среди них и женские. Тогда-то мы и поняли, что на этом проклятом богом корабле не оставалось ни единого живого существа. И все же… и все же мы взывали к мертвым о помощи! Да, в тот мучительный момент мы умоляли эти безмолвные страшные фигуры, умоляли долго и громко остаться с нами, не покидать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в таких же, как они, принять нас в свой смертный круг! Горестное крушение наших надежд повергло нас в форменное безумие, мы неистовствовали от страха и отчаяния.

Едва мы испустили первый крик ужаса, как, словно бы в ответ, раздался звук, который человек даже с самым тонким слухом принял бы за вопль себе подобного. В эту минуту судно снова сильно отклонилось в сторону, открыв перед нами носовую часть, и мы поняли причину звука. Опираясь на фальшборт, там по-прежнему стоял тот высокий человек и так же кивал головой, хотя лица его не было видно. Руки его свесились за борт, ладони были вывернуты наружу. Колени его упирались в туго натянутый канат между шпором бушприта и крамболом. К нему на плечо, туда, где порванная рубашка обнажила шею,

взгромоздилась огромная чайка; глубоко вцепившись когтями в мертвую плоть, она жадно рвала ее клювом и глотала куски. Белое оперенье ее было забрызгано кровью. Когда судно, медленно поворачиваясь, приблизило к нам нос, птица как бы с трудом подняла окровавленную голову, точно в опьянении посмотрела на нас и лениво оторвалась от своей жертвы, паря над нашей палубой с куском красновато-коричневой массы в клюве, который затем с глухим ударом шлепнулся у самых ног Паркера. Да простит меня бог, но именно в этот момент у меня впервые мелькнула мысль, — впрочем, предпочту умолчать о ней, — и я невольно шагнул к кровавой лужице. Подняв глаза, я встретил напряженный и многозначительный взгляд Августа, который немедленно вернул мне самообладание. Кинувшись стремительно вперед, я с отвращением выбросил безобразный комок в море.

Итак, терзая свою жертву, хищная птица раскачивала поддерживаемое канатом тело; это движение и заставило нас подумать, что перед нами живой человек. Теперь, когда чайка взлетела в воздух, тело изогнулось и немного сползло вниз, открыв нам лицо человека. Ничего более ужасающего я не видел! На нас смотрели пустые

глазницы, от рта остались одни зубы. Так вот какая она, та улыбка, что вселила в нас радостные надежды! Так вот… впрочем, воздержусь от рассуждений.

Бриг, как я уже сказал, прошел перед самым нашим носом и медленно, но уверенно направился в подветренную сторону. С ним, с его фантасмагорическим экипажем уходили наши светлые надежды на спасение. Когда судно неспешно проходило мимо нас, мы, наверное, могли бы каким-нибудь образом перебраться к нему на борт, если б горькое разочарование и ужасающее открытие не лишили бы нас всех мыслительных и телесных способностей. Мы все видели и чувствовали, но не могли ни думать, ни действовать, пока — увы! — не стало слишком поздно. Насколько помрачился наш рассудок от этой встречи, можно судить по тому факту, что кто-то всерьез предложил пуститься вплавь вдогонку за бригом, когда тот был уже едва различим.

С тех пор я не раз пытался приоткрыть завесу неизвестности, которая покрывала судьбу незнакомого брига. Постройка и внешний вид, как я уже сказал, наводили на предположение, что то было голландское торговое судно; о том те говорила одежда команды. Мы с легкостью

могли бы прочитать название на борту и вообще заметить что-нибудь характерное, что помогло бы проникнуть в причины катастрофы, но из-за чрезмерного возбуждения решительно ничего не соображали. По шафрановому оттенку кожи на тех трупах, которые не успели окончательно разложиться, мы заключили, что команда погибла от желтой лихорадки или иной, столь же заразной болезни. Если это так (ничего другого я не могу себе представить), то, судя по положению трупов, смерть настигла несчастных внезапно, причем всех сразу, то есть все произошло совершенно иначе, нежели вообще имеет место даже при самых широких эпидемиях, какие известны человечеству. Причиной бедствия, возможно, стал яд, случайно попавший в провиант, или употребление в пищу какой-нибудь неизвестной разновидности ядовитой рыбы, или морского животного, или птицы. Впрочем, бессмысленно строить предположения относительно того, что навсегда окутано ужасающей и непостижимой тайной.

11

Остаток дня мы провели в каком-то оцепенении, тупо глядя вслед удаляющемуся судну, пока

темнота, скрывшая его из глаз, не вернула нас к действительности. Нас снова стали мучить голод и жажда, заглушив все остальные горести и заботы. До утра, однако, ничего нельзя было сделать, и, привязавшись поплотнее, мы постарались хоть немного уснуть. Сверх всякого ожидания, мне это удалось, и я проспал до рассвета, когда мои менее удачливые спутники разбудили меня, чтобы возобновить поиски съестного.

Стоял мертвый штиль, поверхность воды казалась удивительно гладкой, было тепло и ясно. Бриг давно скрылся из глаз. Мы начали с того, что выдернули из гнезда, правда не без труда, еще один кусок цепи и прикрепили оба к ногам Петерсу. Он снова хотел донырнуть до двери кладовой в надежде открыть ее, если у него будет достаточно времени, на что он рассчитывал, поскольку бриг держался более устойчиво, чем прежде.

Ему удалось довольно быстро добраться до двери, и, сняв одну цепь с ноги, он изо всех сил старался с ее помощью открыть ход, однако дверная рама оказалась гораздо крепче, чем он ожидал. Долгое пребывание под водой абсолютно вымотало его, и вместо него должен был спуститься кто-то другой. Немедленно вызвался Паркер, но, нырнув три раза, он не сумел даже приблизиться

к злосчастной двери. Августу из-за раненой руки вообще было бесполезно предпринимать такую попытку, потому что он не смог бы открыть дверь, даже если доплыл бы до нее, и соответственно настала моя очередь попытать счастья.

Как на грех, Петерс где-то у входа в кают-компанию обронил цепь, и, нырнув, я почувствовал, что не могу устойчиво находиться под водой из-за недостаточного груза. Поэтому на первый раз я решил ограничиться тем, что достану цепь. Шаря по полу коридора, я наткнулся на какой-то твердый предмет, схватил его, не успев даже ощупать, и тут же поднялся на поверхность. Моей добычей оказалась бутылка, и можно представить нашу радость, если я скажу, что это была бутылка портвейна. Возблагодарив небо за этот своевременный и приятный дар, мы вытащили моим перочинным ножом пробку и, сделав по умеренному глотку, почувствовали невыразимое облегчение: алкоголь согрел нас и придал нам силы. Затем мы тщательно закупорили бутылку и подвесили на носовом платке, чтобы она никоим образом не разбилась.

Немного отдохнув посло этой счастливой находки, я снова нырнул и достал цепь. Привязав ее, я погрузился в воду третий раз, но лишь за-

тем, чтобы полностью убедиться, что никакой силой дверь под водой не открыть. Отчаявшись, я вернулся.

Все наши надежды, казалось, рухнули, и по лицам моих спутников я понял, что они решили безучастно ждать гибели. Очевидно, вино все-таки вызвало опьянение, которого я избежал благодаря тому, что несколько раз погружался в воду. Они же бессвязно говорили о чем-то совершенно невообразимом. Петерс несколько раз спросил меня о Нантакете. Август, как сейчас помню, с серьезным видом приблизился ко мне и попросил одолжить расческу: в волосы ему набилась рыбья чешуя, и он хотел счесать ее перед тем, как сойти на берег. На Паркера вино подействовало меньше, и он убеждал меня нырнуть в кают-компанию еще раз и достать, что попадется под руку. Я согласился, и с первого же раза, пробыв под водой целую минуту, вытащил небольшой кожаный саквояж, принадлежавший капитану Барнарду. Мы немедленно раскрыли саквояж в надежде найти что-нибудь съестное, но там были только коробка с бритвами и пара льняных рубашек. Я снова нырнул, но безуспешно. Едва я выплыл на поверхность, как услышал какой-то треск, а поднявшись на палубу, увидел,

что мои спутники, неблагодарно воспользовавшись моим отсутствием, выпили остатки вина, но нечаянно разбили, бутылку, намереваясь подвесить ее на прежнее место. Я пристыдил их за эгоизм, и Август даже расплакался. Другие двое смеялись, пытаясь свести все к шутке; лица у них при этом так чудовищно искажались, что не приведи бог мне снова стать свидетелем такого веселья. Выпитое на пустой желудок вино немедленно оказало свое губительное действие — они были совершенно пьяны. С большим трудом я уговорил их лечь, и скоро они погрузились в тяжелый сон, сопровождаемый оглушительным храпом.

Теперь на бриге, можно сказать, я остался совсем один и предался мрачным размышлениям. Я не видел для нас иного исхода, кроме медленной смерти от голода или, в лучшем случае, гибели в морской пучине при первом же шторме, ибо нам, дошедшим до крайней степени изнеможения, бороться со стихией было не под силу.

Муки голода к этому времени стали просто невыносимы, и я чувствовал, что способен на что угодно, лишь бы только утишить их. Я отрезал ножом немного кожи от саквояжа и попробовал съесть, но не смог проглотить ни кусочка, хотя

и вообразил, что чувствуешь некоторое облегчение, если жевать небольшие дольки, а после выплевывать их. Вечером мои спутники пробудились один за другим в состоянии неописуемой подавленности и слабости, вызванных алкоголем, пары которого, правда, к этому моменту уже улетучились. Их трясло, как в лихорадке, и все жалобно просили пить. Их состояние безмерно огорчило меня, и в то же время я порадовался, что благодаря счастливому стечению обстоятельств не злоупотребил вином и теперь не испытываю таких же неприятных ощущений. Своим поведением они, однако, доставили мне немало неприятностей и хлопот и не могли ничего делать для нашего самосохранения до того, как придут в себя. Я отнюдь не отказался от мысли достать что-нибудь в кают-компании, но не мог снова приступить к делу, пока кто-нибудь не будет в состоянии держать веревку. Паркер, казалось, чувствовал себя лучше других, хотя мне пришлось достаточно повозиться, прежде чем я окончательно растолкал его. Подумав, что лучше всего окунуть Паркера в морскую воду, я обвязал его веревкой и, отведя до сходного трапа (все это время он оставался совершенно пассивным), столкнул вниз и тут же вытащил. Я

имел право поздравить себя с результатами этого эксперимента, ибо Паркер словно ожил и, выбравшись на палубу, вполне нормально спросил, зачем я это сделал. Я объяснил, а он сказал, что премного обязан мне, ибо в самом деле чувствует себя гораздо лучше. Спокойно обсудив ситуацию, мы решили применить то же самое к Августу и Петерсу, после чего им немедленно стало лучше. На идею внезапного погружения в воду меня натолкнула читанная когда-то медицинская книга, где говорилось о благотворном действии душа в случаях mania a potu[4].

Убедившись, что снова могу доверить своим спутникам держать конец веревки, я нырнул еще несколько раз в кают-компанию, хотя совсем стемнело и с севера пошла слабая, но длинная зыбь и судно стало неустойчивым. Мне удалось достать лишь два ножа в футлярах, пустой кувшин на три галлона и одеяло, но никакой еды не было. Я продолжал поиски, пока не выбился из сил, но ничего не нашел. Ночью Петерс и Паркер поочередно несколько раз спускались под воду, и тоже неудачно, так что в конце концов мы отказались от своих намерений, решив, что

---

[4] Сноски: 4
Пристрастие к кубку (лат.)

понапрасну тратим силы.

Трудно себе представить, в каких душевных и физических страданиях мы провели остаток ночи. Настало утро шестнадцатого числа, мы жадно всматривались в горизонт, мы ждали помощи — но все напрасно! Море было спокойно, только с севера, как и вчера, шла длинная зыбь. Не считая бутылки портвейна, мы шестой день жили без пищи и воды и понимали, что если не раздобудем что-нибудь, то долго не протянем. Ни до, ни после я не видел такой степени истощения, в каком пребывали Петерс и Август. Повстречай я их сейчас на суше, мне и в голову бы не пришло, что я знаю этих людей. Они совершенно изменились в лице, и трудно было поверить, что именно с ними я был вместе всего лишь несколько дней назад. Паркер выглядел немного лучше, хотя отчаянно исхудал и ослаб так, что не поднимал с груди головы. Он переносил страдания с завидным терпением, нисколько не жалуясь и пытаясь хоть как-нибудь приободрить других. Что до меня, то, несмотря на плохое самочувствие в начале путешествия и вообще хрупкое сложение, я не так страдал, как остальные, похудел гораздо меньше, а главное, в удивительной мере сохранял силу ума, тогда как мои товарищи находились в своего рода ум-

ственной прострации, казалось, совсем впали в детство и, по-идиотски ухмыляясь, несли какую-то околесицу. Временами, однако, они приходили в себя и сознавали, что с ними творится, и тогда они энергично вскакивали на ноги и начинали рассуждать вполне разумно, хотя рассуждения эти были полны безнадежности. Очень может быть, что мои товарищи вовсе не считали свое состояние плачевным; равно не исключено, что и я впал во временное умопомешательство и тоже был повинен во всяких экстравагантных выходках, — судить об этом не дано никому.

После полудня Паркер вдруг громогласно заявил, что слева по борту видит землю, и хотел броситься в море, чтобы плыть туда. Мне едва удалось удержать его от этой затеи. Петерс и Август почти не обратили на него внимание — оба, как видно, были погружены в мрачное оцепенение. Я пристально всматривался туда, куда показывал Паркер, но ничего похожего на сушу не видел; впрочем, я хорошо знал, как далеко мы от земли, и не питал никаких иллюзий на этот счет. Мне пришлось, однако, долго убеждать Паркера, что он ошибся. Он разрыдался, как ребенок; крики и слезы продолжались часа два-три, потом он устал и забылся сном.

Петерс и Август безуспешно пытались проглотить кусочки кожи. Хотя я рекомендовал им жевать их и выплевывать, у них не хватало сил внять моему совету. Что до меня, то я неоднократно принимался жевать кожу и чувствовал определенное облегчение; теперь меня более всего мучила жажда, я был готов выпить даже морской воды, но меня останавливала единственно мысль об ужасных последствиях, которые выпадают на долю тех, кто оказывался в подобном положении.

Так тянулся еще один бесконечный день, как вдруг на востоке, левее от нас, впереди, я увидел парус. Какое-то большое судно шло почти перпендикулярным к нам курсом на расстоянии двенадцати — пятнадцати миль. Никто из моих спутников не заметил судно, а я решил пока молчать, чтобы нам снова не обмануться в надеждах. Но судно приближалось, я отчетливо видел, что оно на всех парусах направляется к нам. Я не мог больше сдержаться и показал на него моим товарищам по несчастью. Они тут же повскакали с мест, самыми немыслимыми способами выражая свою радость; они рыдали и заливались глупым смехом, прыгали, топали ногами, рвали на себе волосы и то молились, то исторгали проклятья.

На меня так подействовал их бурный восторг, в ту минуту я так уверовал в близость избавления, что не мог более оставаться спокойным и, целиком отдавшись экстазу, в порыве благодарности небесам бросился на палубу и стал кататься по ней, хлопая в ладоши и что-то вскрикивая, как вдруг внезапно опомнился и снова испытал всю бездну человеческого отчаяния и горя, увидев, что судно повернулось к нам кормой и полным ходом идет почти в противоположном от нас направлении, удаляясь от нашего брига.

Потом мне еще долго пришлось убеждать своих спутников, что судьба действительно отвернулась от нас. Каждым своим взглядом и жестом они давали понять, что не желают слушать моих обманных уверений. Особое беспокойство вызвал у меня Август. Несмотря на все мои доводы, он продолжал твердить, что судно быстро приближается, и уже начал собираться, чтобы перейти на его борт. Какие-то водоросли, проплывающие мимо нашего брига, он принял за лодку с того корабля и хотел спрыгнуть в нее, а когда мне пришлось силой удержать его от падения в воду, разразился душераздирающими стонами.

Отчасти примирившись с новым разочарованием, мы провожали неизвестный корабль

взглядами, пока горизонт не подернулся дымкой и не подул легкий бриз. Как только он окончательно скрылся из вида, Паркер вдруг повернулся ко мне с таким странным выражением на лице, что я вздрогнул. В облике его была решимость, какую я до того не замечал в нем, и не успел он раскрыть рта, как я чутьем понял, что он хочет сказать. Он заявил, что один из нас должен умереть, чтобы остальные могли жить.

12

Не раз и не два я уже задумывался над тем, что мы, возможно, дойдем до последней черты, и про себя решил принять любую смерть, при любых обстоятельствах, но не соглашаться на это. Мою решимость ни в коей мере не колебал голод, причинявший мне страшные муки. Ни Петерс, ни Август не слышали Паркера, поэтому я поспешил отвести его в сторону и, мысленно попросив у бога придать мне силы, принялся умолять во имя всего, что для него свято, отказаться от чудовищного замысла, убеждал, приводя всевозможнейшие, как того требовали обстоятельства, аргументы, выбросить это из головы и ничего не говорить двум другим вашим товарищам.

Он выслушал, не перебивая и не оспаривая

моих доводов, и я уже начинал надеяться, что добился желаемого результата. Но когда я замолчал, он заявил, что все сказанное мной справедливо и решиться на это — значит сделать самый мучительный выбор, перед каким только может оказаться разумное существо, но что он держался столько, сколько способен человек, что незачем гибнуть всем, если, пожертвовав одним, есть какая-то возможность спастись остальным, что сколько б я ни убеждал его, он не отступится от своей цели, потому что окончательно решился на все еще до появления корабля и лишь парус на горизонте заставил его повременить и не объявлять пока о своем намерении.

Тогда я стал просить его отложить осуществление этого замысла хотя бы на день, если уж он не хочет отказаться от него вовсе, и подождать, не встретится ли нам еще какое-нибудь судно, снова и снова повторяя все аргументы, которые я мог изыскать и которые, по моему мнению, воздействуют на такую грубую натуру. Он ответил, что молчал до последнего момента, что без пищи не протянет и часа, и поэтому завтра будет поздно — во всяком случае, для него.

Видя, что он не поддается никаким увещеваниям, я решил действовать иначе; ему, должно

быть, известно, сказал я, что я легче других перенес все бедствия и поэтому мое физическое состояние лучше, чем у него и чем у Петерса или Августа, и что, коротко говоря, я могу в случае необходимости силой настоять на своем и без колебаний выкину его за борт, если он так или иначе вздумает поделиться своими каннибальскими планами с другими. Он тотчас схватил меня за горло и, вытащив нож, несколько раз пытался пырнуть меня в живот, но из-за его крайней слабости злодеяние не удалось. Не на шутку разгневанный, я тем временем оттеснил его к борту и хотел сбросить в море. От гибели его спасло лишь вмешательство подоспевшего Петерса, который, разняв нас, спросил о причине ссоры. Прежде чем я успел что-либо, сделать, Паркер выложил все напрямик.

Слова его произвели еще большее впечатление, чем я ожидал. Оказалось, что и Август и Петерс втайне уже долго вынашивали эту чудовищную мысль, которую по чистой случайности первым вслух высказал Паркер, и теперь взяли его сторону, настаивая на немедленном осуществлении злодейского замысла. Я же рассчитывал, что по крайней мере у одного из них достанет силы духа вместе со мной воспротивиться этому ужасно-

му намерению, и тогда мы вдвоем, безусловно, предотвратим кровопролитие. Надежды мои не оправдались, и теперь я должен был позаботиться о собственной безопасности, так как мои потерявшие рассудок спутники могли посчитать дальнейшее сопротивление с моей стороны отказом участвовать на равных в трагедии, которая неминуемо разыграется в самом скором времени.

Я сказал, что я согласен на их предложение и единственно прошу отсрочки на час, пока не рассеялся туман, окутывающий нас, и тогда, может быть, мы снова увидим корабль, который мы повстречали. С большим трудом я вырвал обещание подождать; как я и ожидал, быстро поднялся бриз, туман рассеялся, но горизонт был чист. Мы приготовились бросить жребий.

Крайне неохотно останавливаюсь я на последовавшей затем драме; чего только не случалось со мной впоследствии, но эта драма с ее мельчайшими подробностями врезалась в мою память, и до конца дней горькое воспоминание о ней будет омрачать каждый миг моего существования. Читатель не посетует на меня за то, что я изложу эту часть моего рассказа так коротко, как позволят описываемые события. Для роковой

лотереи, которая должна была решить судьбу каждого из нас, мы придумали единственный способ — тянуть жребий. Для этого мы нарезали щепочек, и было решено, что держать буду я. Я удалился на один конец судна, а мои товарищи, отвернувшись, молча уселись на другом. Горчайшие муки в ходе этой драмы я пережил тогда, когда принялся раскладывать щепочки. Редко случается, чтобы человек не испытывал горячего желания сохранить себе жизнь, причем это желание тем острее, чем тоньше нить, связывающая его с земным существованием. Но теперь, когда тайное, вполне определенное и мрачное дело, которым я был занят (так непохожее на борьбу с морской стихией или постепенно усиливающимся голодом), давало возможность подумать над тем, каким образом избежать чудовищнейшей смерти, смерти ради чудовищнейшей цели, самообладание, благодаря которому я только и держался, вдруг рассеялось, как дым на ветру, оставив меня беспомощной, жалкой жертвой собственного малодушия. Поначалу я не мог даже обломать и сложить вместе крохотные щепочки — пальцы абсолютно не слушались меня, и колени дрожали от волнения. Я лихорадочно перебирал в уме сотни способов — один неверо-

ятнее другого — избежать участия в кровавой игре. Я хотел броситься на колени и просить моих спутников избавить меня от жестокой обязанности, хотел неожиданно кинуться вперед и прикончить одного из них, сделав тем самым жеребьевку бессмысленной, — словом, думал о чем угодно, кроме дела, которым я должен был заниматься. Из этого длительного умопомрачения меня вывел голос Паркера, который требовал положить конец их томительному ожиданию. Но и тогда я не мог заставить себя разложить щепочки, а соображал, какой бы хитростью заставить кого-нибудь из моих товарищей по несчастью вытащить самый короткий жребий, ибо мы условились, что ради сохранения жизни другим умрет тот, кто из четырех щепочек вытянет у меня из руки самую короткую. Пусть те, кто захочет обвинить меня в жестокости, сперва окажутся в моем положении.

Медлить дольше было невозможно, и хотя сердце у меня колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, я направился к баку, где меня ждали мои спутники. Я протянул руку, и Петерс, не колеблясь, вытянул свой жребий. Смерть миновала его: вытащенная им щепочка была не самой короткой. Вероятность, что я

останусь жить, уменьшилась. Собрав все свои силы, я повернулся к Августу. Тот тоже сразу вытащил щепочку — жив! Теперь с Паркером у нас были абсолютно равные шансы. В этот момент мной овладела какая-то звериная ярость, и я внезапно почувствовал безотчетную сатанинскую ненависть к себе подобному. Потом это чувство схлынуло, и, весь содрогаясь, закрыв глаза, я протянул ему две оставшиеся щеночки. Он долго не мог набраться решимости вытянуть свой жребий, и эти напряженнейшие пять минут неизвестности я не открывал глаз. Затем одна из двух палочек была резко выдернута из моих пальцев. Итак, жребий брошен, а я еще не знал, в мою пользу или нет. Все молчали, и я не осмеливался посмотреть на оставшуюся в руке щепочку. Наконец Петерс взял меня за руку, я заставил себя открыть глаза и по лицу Паркера понял, что на смерть обречен он, а я буду жить. Задыхаясь от радости, я без чувств упал на палубу.

Когда я очнулся, то застал кульминацию трагедии — смерть того, кто главным образом и был повинен в ней. Он не оказывал сопротивления; Петерс ударил его ножом в спину, и он упал мертвым. Не буду рассказывать о последовавшем затем кровавом пиршестве. Такие вещи можно

вообразить, но нет слов, чтобы донести до сознания весь изощренный ужас их реальности. Достаточно сказать, что, немного утолив мучительную жажду кровью жертвы, мы с обоюдного согласия четвертовали ее, руки, ноги и голову вместе с внутренностями выбросили в море, а остальное с жадностью ели кусок за куском на протяжении четырех недоброй памяти дней — семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого числа июля месяца.

Девятнадцатого числа, когда пятнадцать — двадцать минут шел сильный ливень, с помощью простыни, которую мы выудили нашей драгой из кают-компании сразу после шторма, нам удалось набрать воды. Ее было не более полгаллона, но и это скудное количество придало нам немного силы и надежды.

Двадцать первого мы снова были вынуждены прибегнуть к последнему средству. Погода по-прежнему теплая и ясная, лишь иногда туманы и легкие бризы, главным образом с севера и запада.

Двадцать второго числа, когда мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и угрюмо размышляли над нашей горестной судьбой, у меня вдруг мелькнула мысль и с ней проблеск надежды. Я

вспомнил, что, когда мы срубили фок-мачту, Петерс, который находился у якорного устройства с наветренной стороны, отдал мне топор, попросив припрятать в надежное место, и что за несколько минут до того, как на бриг обрушился последний гигантский вал, залив все водой, я отнес топор на бак и положил в одну из левых кают. И вот сейчас я подумал, что, раздобыв этот топор, мы, наверное, могли бы прорубить палубный настил над кладовой и достать там провизию.

Я изложил этот план своим товарищам, оба вскрикнули от радости, и мы тотчас отправились на бак. Тут спускаться вниз оказалось гораздо труднее, так как проход был уже; кроме того, напомню, что всю надстройку над трапом в салон давно смыло, тогда как спуск в кубрик, представляющий собой простой люк площадью примерно в три квадратных фута, остался неповрежденным. Я, однако, не колебался ни секунды и, обвязавшись, как и раньше, веревкой, смело опустился в воду ногами вперед, быстро добрался до каюты и с первого же раза нашел топор. Мое появление было встречено с восторгом, а легкость, с какой удалось достать топор, сочли добрым знаком, предвещающим конечное избавление.

Надежда воодушевила нас, и мы поочередно

с Петерсом принялись рубить палубу — Август не мог помочь нам из-за раненой руки. И все-таки мы могли работать без передышки лишь минуту-другую, потому что едва держались на ногах от слабости, и скоро поняли, что потребуются долгие часы, прежде чем мы сумеем прорубить достаточно широкое отверстие, чтобы свободно спуститься в кладовую. Однако это обстоятельство ничуть не обескуражило нас, и, провозившись всю ночь при свете луны, мы закончили нашу работу к рассвету двадцать третьего числа.

Петерс вызвался попытаться первым; приготовив все необходимое, он спустился вниз и скоро вернулся с небольшой банкой, которая, к нашей неописуемой радости, оказалась полной маслин. Поделив между собой плоды, мы с жадностью съели их и приготовились спустить Петерса вторично. На сей раз его успех превзошел все наши ожидания: он выбрался на палубу с большим куском окорока и бутылкой мадеры. Мы умеренно отведали вина, по опыту зная о губительных последствиях злоупотребления спиртным. Что до окорока, то, за исключением куска фунта в два у самой кости, он был совершенно попорчен морской водой. Мы разделили съедобную часть,

и Петерс с Августом, не в силах удержаться, мгновенно проглотили свою долю; я же остерегся неминуемой жажды и съел лишь крохотный кусочек. Потом мы решили отдохнуть от тяжких трудов.

Немного восстановив силы, мы в полдень снова принялись за добывание еды. Петерс и я до заката поочередно и с переменным успехом ныряли вниз, и нам посчастливилось вытащить еще четыре банки с маслинами, окорок, плетеную бутыль галлона на три с отличной мадерой и, что особенно обрадовало нас, небольшую черепаху из семейства галапагосских: перед отплытием «Дельфина» капитан Барнанд взял несколько таких черепах со шхуны «Мэри Питтс», которая ходила в Тихий океан за тюленями и только что вернулась из плавания.

В дальнейшем мне не раз придется упоминать об этом виде черепах. Обитают они, как, очевидно, известно моим читателям, на островах Галапагос, которые и берут свое наименование от названия животного: испанское слово galapago означает пресноводную черепаху. Из-за особой формы и необычного поведения этих черепах называют еще слоновыми. Иные из них имеют исполинские размеры. Я сам встречал таких, ко-

торые весили от двенадцати до пятнадцати сотен фунтов, хотя не припоминаю, чтобы кто-нибудь из моряков рассказывал, что видел экземпляр весом более одиннадцати сотен. Внешне эти черепахи весьма своеобразны, даже отвратительны. Передвигаются они очень медленно, тяжело и размеренно перебирая лапами и неся туловище в футе от земли. Шею они имеют чрезвычайно тонкую и длинную, обычно от полутора до двух футов, а однажды я убил особь, у которой от плеча до оконечности головы было не менее трех футов и десяти дюймов. Голова у них удивительно напоминает змеиную. Эти черепахи невероятно долго могут обходиться без пищи; известны случаи, когда их оставляли в трюме безо всякой пищи два года, и по истечении этого времени они были такими же мясистыми, как и прежде, и вообще находились в преотличном состоянии. В одном отношении эти необыкновенные четвероногие имеют сходство с одногорбым верблюдом, или дромадером. У основания шеи у них имеется сумка с постоянным запасом воды. Их иногда убивали после годового голодания, и в этих сумках обнаруживали до трех галлонов совершенно чистой, свежей воды. Питаются они по преимуществу дикой петрушкой и сельдереем,

а также портулаком, морскими водорослями и опунцией; особенно на пользу им идет последнее растение, которое обычно в обилии произрастает на склонах прибрежных холмов, именно там, где обитает и само животное.

Их мясо очень вкусно и высокопитательно, и нет сомнения в том, что не одна тысяча мореплавателей, занятых китобойным и другим промыслом в Тихом океане, обязана им жизнью.

Черепаха, которую нам посчастливилось вытащить из кладовой, была небольших размеров и весила, вероятно, шестьдесят пять — семьдесят фунтов. Нам попалась самка, необыкновенно жирная, и в сумке у нее мы нашли четверть галлона чистой прозрачной воды. Это было настоящее сокровище, и, дружно упав на колени, мы возблагодарили господа за своевременную помощь.

Мы изрядно потрудились, протаскивая черепаху через люк, потому что она яростно билась, а сила у нее удивительная. Она чуть не вырвалась у Петерса из рук и не упала снова в воду, но Август накинул ей на шею веревочную петлю и держал, пока я не спрыгнул вниз к Петерсу и не помог ему вытащить ее на палубу.

Мы осторожно перелили воду из сумки черепахи в кувшин, который, как вы помните, мы

достали из кают-компании. Потом мы отбили горлышко от бутылки, заткнули ее пробкой, и у нас получилось, таким образом, нечто вроде бокала вместимостью в одну восьмую пинты. Каждый затем выпил эту меру, и на будущее было решено ограничиться именно этим количеством в день.

Последние два-три дня стояла сухая ясная погода, постельное белье, которое мы вытащили из кают-компании, и вся наша одежда совершенно просохли, так что эту ночь (на двадцать третье) мы провели в сравнительном комфорте, наслаждаясь безмятежным отдыхом после обильного ужина маслинами и окороком с глотком вина. Опасаясь, как бы не поднялся ветер и не снес наши припасы за борт, мы привязали их веревками к остаткам брашпиля. Черепаху мы решили сохранить живой как можно дольше и потому опрокинули на спину и тоже тщательно привязали.

13

Июль, 24 дня. Это утро мы встретили необыкновенно отдохнувшие и бодрые. Несмотря на тяжелое положение, в котором мы еще пребывали, ибо ничего не знали о нашем местонахождении, хотя, разумеется, были очень далеко от суши,

располагали запасами продовольствия, которого при самом скудном рационе едва хватило бы на две недели, почти не имели воды и плыли по воле волн и ветров на самой жалкой в мире посудине, — несмотря на все это, мы склонны были воспринимать нынешние тяготы всего лишь как обычные неприятности, по сравнению с куда более ужасными несчастьями и опасностями, которых благодаря провидению мы совсем недавно избежали, — настолько относительны понятия блага и бедствия.

На рассвете мы приготовились было снова попытать счастья в камбузе, как началась гроза, сопровождаемая молниями, и мы решили набрать воды. Единственное, что мы могли сделать — снова прибегнуть к помощи простыни, которую мы уже использовали для этой цели. Положив на середину простыни юферс, мы растянули ее на руках, и вода, сбегавшая к середине, просачивалась сквозь полотно в кувшин. Таким способом мы почти наполнили нашу посуду, как вдруг с севера налетел свирепый шквал и началась такая бешеная качка, что невозможно было держаться на ногах. Тогда мы добрались до брашпиля и, крепко привязав себя к нему, как и раньше, стали пережидать непогоду с гораздо

большим спокойствием, нежели можно вообразить при подобных обстоятельствах. В полдень ветер еще более усилился, а к вечеру разыгралась настоящая буря, подняв на море сильнейшее волнение. Опыт, однако, научил нас в целях самосохранения как можно крепче привязывать себя, и мы провели эту томительную ночь в сравнительной безопасности, хотя каждую минуту палубу обдавали волны, грозившие смыть нас за борт. К счастью, погода была теплая, и вода даже освежала.

Июль, 25 дня. Утром буря стихла до бриза скоростью десять миль в час, волнение тоже немного спало, так что вода не доставала нас. К величайшему нашему огорчению, мы обнаружили, что волны смыли обе банки с маслинами и окорок, несмотря на то что они были привязаны самым тщательным образом. Мы решили пока не забивать черепаху и довольствовались на завтрак несколькими маслинами и порцией воды, которую мы наполовину смешали с вином, — напиток не вызывал неприятного ощущения, как это было после портвейна, а, напротив, придал нам бодрости и силы. Море оставалось еще бурным, и мы не могли снова заняться добыванием продовольствия в камбузе. На протяжении дня через

отверстие люка несколько раз всплывали всякие бесполезные для нас предметы и тут же исчезали за бортом. Наш «Дельфин», как мы заметили, накренился почему-то больше обычного, так что мы не могли стоять на ногах, не привязываясь к чему-нибудь. Так тянулся этот томительный и неудачный день. В полдень солнце встало почти в зените, и это означало, что непрерывные северные и северо-западные ветры снесли нас к самому экватору. Вечером появилось несколько акул, и нас встревожило, что одна громадная хищница самым наглым образом приблизилась к судну. Был даже момент, когда судно сильно накренилось, палуба погрузилась в воду, и чудовище подплыло к нам совсем близко и несколько мгновений стояло над трапом в кают-компанию, сильно ударив Петерса хвостом. Мы облегченно вздохнули, когда волною его отнесло далеко прочь. Наверное, в спокойную погоду убить акулу не составило бы труда.

Июль, 26 дня. Утром ветер порядочно стих, волненье улеглось, и мы решили снова взяться за обследование кладовой. На протяжении целого дня мы неоднократно спускались вниз, пока не убедились, что рассчитывать больше не на что, ибо ночью волны проломили перегородку и

все, что было в кладовой, смыло в трюм. Можно представить, в какое уныние повергло нас это обстоятельство.

Июль, 27 дня. Море почти спокойно, легкий ветерок но-прежнему с запада и северо-запада. В полдень сильно пекло солнце, сушили одежду. Потом купались — это облегчало жажду и вообще приносило облегчение; вынуждены были, однако, соблюдать величайшую осторожность: весь день вокруг судна шныряли акулы.

Июль, 28 дня. Ясная теплая погода. Бриг почему-то накренился до такой степени, что мы опасаемся, как бы он не перевернулся. Насколько смогли, приготовились к самому худшему, привязав нашу черепаху, бутыль с водой и две оставшиеся банки маслин как можно дальше к наветренной стороне, вынеся их за корпус ниже вант-путенсов. Весь день море очень спокойно, ветра почти нет.

Июль, 29 дня. Погода держится. На раненой руке у Августа появились признаки гангрены. Он жалуется на сонливость и мучительную жажду, но не на боль. Единственное, что мы могли сделать, — это помазать рану остатками уксуса из-под маслин, но это, кажется, не помогло. Мы утешали его как могли и увеличили его рацион

воды втрое.

Июль, 30 дня. Необыкновенно жаркий день, ни малейшего ветерка. Все утро совсем рядом с судном плыла огромная акула. Несколько раз пытались поймать ее арканом. Августу гораздо хуже, он слабеет, как, очевидно, от недостатка питания, так и от раны. Он умоляет нас избавить его от страданий, уверяя, что хочет умереть. Вечером съели последние маслины, а вода в бутыли настолько испортилась, что не могли хлебнуть ни глотка, не добавив в нее вина. Решено утром забить черепаху.

Июль, 31 дня. После беспокойной и утомительной из-за глубокого крена ночи приготовились забить и разделать черепаху. Она оказалась гораздо меньше, чем мы предполагали, хотя и в отличном состоянии: всего мяса набралось фунтов десять, не больше. Чтобы сохранить часть мяса как можно дольше, мы нарезали его тонкими кусочками, наполнили ими три банки из-под маслин и винную бутыль (мы не выбросили их), а затем залили остатками уксуса. Таким образом мы сделали трехфунтовый запас черепахового мяса, решив не притрагиваться к нему, пока не съедим остальное. Согласились ограничиться четырьмя унциями на каждого, чтобы растянуть

мясо на тринадцать дней. В сумерки разразилась гроза со страшным громом и молниями, но она длилась совсем недолго, и мы успели набрать лишь полпинты воды. С общего согласия, всю эту воду отдали Августу, он чуть ни при смерти. Он пил прямо с простыни, которую мы держали над ним, и вода, просачиваясь, стекала ему в рот, — никакой посудины у нас не было. Продлись ливень чуть дольше, мы, разумеется, тогда вылили бы вино из бутыли и опорожнили бы кувшин с остатками протухшей воды.

Но вода, кажется, почти не помогла несчастному. Рука у него от кисти до плеча совсем почернела, и ноги были ледяные. Мы с ужасом ждали, что он вот-вот испустит последний вздох. Исхудал Август страшно; если при отплытии из Нантакета он весил сто двадцать семь фунтов, то сейчас в лучшем случае сорок-пятьдесят. Глаза у него запали, их едва было видно, а щеки ввалились так, что он еле-еле мог жевать и даже пить.

Август, 1 дня. По-прежнему держится все та же ясная погода, изнуряюще жаркое солнце. Вода в кувшине кишит паразитами, мы изнываем от жары. Вынуждены сделать хоть по глотку, предварительно смешав ее с вином, но это не утоляет жажду. Гораздо большее облегчение приносит

купание, но купаться вынуждены лишь изредка из-за постоянного присутствия акул. Теперь уже совершенно ясно, что Августа не спасти — он умирает. И мы ничем не можем облегчить его муки, а они, по-видимому, ужасные. Около полудня он скончался в страшных судорогах, не проронив ни слова; последние часы он вообще молчал. Смерть Августа навела нас на самые мрачные мысли, мы были угнетены сверх меры и целый день просидели неподвижно подле его тела, изредка переговариваясь шепотом. И лишь после наступления темноты у нас достало духа подняться и спустить его в море. На труп нельзя было смотреть без содрогания: он так разложился, что когда Петерс попытался приподнять его, то в руках у него осталась отломившаяся нога. Когда эта гниющая масса соскользнула с палубы в воду, в фосфорическом мерцании, которым она была окружена, мы увидели семь или восемь гигантских акул — они терзали свою жертву, и стук их зубов разносился, должно быть, на целую милю. При этих звуках мы съежились от неописуемого ужаса.

Август, 2 дня. Та же знойная безветренная погода. Зарю мы встретили подавленные и изнуренные. Вода в кувшине совершенно непригодна для

питья, она превратилась в густую студенистую массу, кишащую отвратительными червями. Мы опорожнили кувшин и, влив туда немного уксуса из бутыли с законсервированным черепашьим мясом, хорошенько промыли морской водой. Будучи не в состоянии выносить более муки жажды, мы попытались облегчить их вином, но оно словно подлило масла в огонь и сильно опьянило нас. Потом мы попробовали смешать вино с морской водой, но нас тут же вырвало, и мы отказались от дальнейших попыток. Весь день мы искали возможности искупаться, но безуспешно: бриг со всех сторон буквально осаждали акулы — нет сомнения, то были такие же хищники, что накануне сожрали нашего несчастного спутника и сейчас ждали подобного пиршества. Это обстоятельство огорчило нас безмерно и повергло в крайнее уныние. Дело в том, что купание приносило нам невыразимое облегчение, и вот теперь чудовища лишили нас такой возможности — это было сверх всяких сил! Кроме того, нам постоянно грозила опасность: поскользнись чуть-чуть, сделай одно неверное движение, и сразу станешь добычей этих прожорливых хищников, которые, подплывая с подветренной стороны, нередко лезли прямо на нас. Ни крики, ни другие попытки

отпугнуть их не давали результата. Даже когда Петерс топором сильно поранил одно чудовище, оно продолжало упрямо двигаться на нас. Когда опустились сумерки, надвинулась туча, но, к величайшему огорчению, прошла, не проронив ни капли дождя. Невозможно представить, как страдали мы от жажды в эти дни. Из-за этого, а также из-за акул мы провели ночь без сна.

Август, 3 дня. Никаких надежд на спасение. Бриг накренился еще сильнее, стоять на палубе совершенно невозможно. Занялись тем, чтобы поместить наши запасы черепашьего мяса и вина в безопасное место, даже если судно опрокинется. Раздобыли две свайки от вант-путенсов и топором загнали их в обшивку на наветренном борту в двух футах от воды и не так уж далеко от киля, так как бриг почти лежит на боку. К этим костылям мы и привязали наши запасы в надежде, что здесь они будут в большей сохранности, чем на прежнем месте под вант-путенсами. Весь день нестерпимо мучила жажда, и никакой возможности освежиться в воде из-за акул, которые ни на минуту не оставляют нас в покое. Нельзя сомкнуть глаз.

Август, 4 дня. Незадолго до рассвета мы почувствовали, что судно переворачивается и вот-вот

опрокинется совсем, и повскакали с мест, чтобы нас не сбросило в воду. Поначалу бриг переворачивался медленно и равномерно, и мы успешно взбирались по наветренному борту с помощью веревок, тех самых, которые были привязаны к свайкам для хранения провизии и предусмотрительно оставленные нами на месте. Но мы не рассчитали ускорения при опрокидывании, и, когда судно стало переворачиваться быстрее, мы уже не могли взбираться с такой же скоростью, и, прежде чем успели сообразить, в чем дело, нас сбросило в воду на глубину нескольких морских саженей как раз под огромным корпусом брига.

При погружении в воду я не задержал в руках веревку, и теперь, поняв, что нахожусь под судном и силы мои почти иссякли, почти не пытался выплыть и приготовился к близкой смерти. Но и на этот раз я ошибся, ибо не взял во внимание обратный толчок опрокинувшегося корпуса. Наветренный борт качнулся в противоположную сторону, и вихревые потоки воды вынесли меня на поверхность с еще большей силой, нежели сбросили в глубину. Насколько можно было судить, меня вытолкнуло ярдах в двадцати от брига. Он лежал килем кверху, бешено раскачиваясь из стороны в сторону, а вокруг бились волны и

ходили большие водовороты. Петерса нигде не было видно. В нескольких ярдах я заметил бочку из-под жира, кое-где плавали другие предметы с судна.

Теперь более всего приходилось остерегаться акул, которые шныряли поблизости. Чтобы не дать им приблизиться, я поплыл к бригу, отчаянно колотя руками и ногами по воде и поднимая столб брызг. Благодаря этой простой уловке я и спасся; море вокруг нашего корабля буквально кишело этими чудовищами за минуту до того, как он опрокинулся, так что они наверняка задевали меня, пока я плыл. Каким-то чудом я достиг брига целым и невредимым, хотя так выбился из сил, что ни за что не сумел бы забраться на него, если бы вовремя не подоспел Петерс, — к величайшей моей радости, он показался из-за киля (вскарабкавшись туда с другой стороны корпуса) и бросил мне веревку, одну из тех, что были привязаны к костылям.

Едва мы оправились от одной опасности, как наши мысли обратились к другой — неизбежности голодной смерти. Несмотря на все предосторожности, весь наш запас провизии смыло водой; не видя ни малейшей возможности раздобыть еды, мы оба поддались отчаянию; мы плакали, как

дети, даже не пытаясь утешить друг друга. Трудно понять такую слабость, и тем, кто не попадал в подобные переделки, она наверняка покажется неестественной; но не нужно забывать, что от длительных лишений, выпавших на нашу долю, и постоянного страха мы почти помешались, и нас вряд ли можно было считать разумными существами. Впоследствии, оказываясь в столь же бедственных — если не хуже — обстоятельствах, я мужественно сносил все удары судьбы, а Петерс, как будет видно, обнаруживал философское спокойствие, столь же невероятное, как и его нынешнее ребячье слабоумие и малодушие, — вот что значит состояние духа.

В сущности, наше положение не сильно ухудшилось от того, что бриг опрокинулся и мы потеряли вино и черепаху (правда, пропала простыня, которой мы собирали дождевую воду, и кувшин, где хранили ее); дело в том, что все днище — на расстоянии двух-трех футов от скул и до киля — *было покрыто плотным слоем моллюсков,* оказавшихся вкусной, питательной пищей. В результате так страшившее нас кораблекрушение обернулось скорее благом в двух отношениях: у нас был теперь запас продовольствия, который при умеренном питании мы не

исчерпаем и за месяц, и нынешнее наше местоположение оказалось гораздо более удобным и менее опасным, чем прежде.

Однако неминуемые трудности с водой мешали нам оценить выгоды нашего нового положения. Мы сняли рубашки, чтобы в случае дождя быть готовыми немедленно воспользоваться ими, как раньше простынями, хотя, конечно же, не могли рассчитывать даже при самых благоприятных обстоятельствах набрать больше четверти кварты зараз. Мы страдали от жажды невыразимо, но на протяжении целого дня на небе не появилось ни единого облачка. Ночью Петерс на час забылся беспокойным сном, я же ни на минуту не мог сомкнуть глаз.

Август, 5 дня. Сегодня легкий ветер прибил к нам множество морских водорослей, в которых мы поймали дюжину небольших крабов, послуживших нам настоящим угощением. Мы ели их целиком, вместе с нежной скорлупой, и нашли, что они не так возбуждают жажду, как моллюски. Не видя никаких признаков акул, мы рискнули искупаться и пробыли в воде несколько часов. Это освежило нас, пить хотелось меньше, и мы, немного поспав, провели ночь спокойнее, чем предыдущую.

Август, 6 дня. В этот благословенный день пошел сильный дождь, который длился от полудня до заката. Вот когда мы пожалели, что не сберегли кувшин и бутыль! Мы могли бы, пожалуй, наполнить оба сосуда, как ни примитивен был наш способ собирания воды. Теперь же мы были вынуждены довольствоваться тем, что выжимали намокшие рубашки прямо в рот, ловя каждую каплю волшебной жидкости. В этом занятии мы провели весь день.

Август, 7 дня. Едва рассвело, как мы оба в единое мгновение заметили на востоке парус, *очевидно приближавшийся к нам*! Мы приветствовали чудесное зрелище долгими восторженными, хотя и слабыми возгласами и тут же принялись подавать кораблю всевозможные знаки: размахивали рубашками, прыгали, насколько позволяли наши слабые силы, вопили во всю мощь легких, хотя корабль находился никак не меньше чем в пятнадцати милях. Судно постепенно приближалось к нам, и если оно не изменит курс, то в конце концов нас непременно заметят! Примерно через час после того, как на горизонте впервые показался парус, мы уже могли различить людей на палубе. Это была длинная, низко сидящая в воде топсельная шхуна с черным шаром на фор-

брамселе и, очевидно, полным экипажем. Трудно было допустить, что нас не видят, и мы уже начали тревожиться, не собирается ли незнакомец пройти мимо, оставив нас на верную смерть. Как ни дико это звучит, такая изуверская жестокость порой совершается на море при схожих обстоятельствах существами, которых причисляют к человеческому роду. (Достаточно показателен в этом смысле случаи с бостонским бригом «Полли», судьба которого во многих отношениях так напоминает нашу, что я не могу не упомянуть о нем. 12 декабря 1811 года под командованием капитана Касно это судно грузоподъемностью сто тридцать тонн вышло из Бостона с грузом леса и съестных припасов, взяв курс на Санта-Круа. Помимо капитана на борту было восемь человек: его помощник, четыре матроса, кок, а также некий мистер Хант с принадлежащей ему молоденькой негритянкой. Пятнадцатого декабря, благополучно миновав Джорджес-банку, во время налетевшего с юго-запада шторма судно дало течь и в конце концов опрокинулось; к счастью, когда мачты снесло за борт, корабль выпрямился. Находившиеся на борту пробыли без огня и со скудным запасом продовольствия сто девяносто один день; двенадцатого июня оставшихся в жи-

вых капитана Касно и Сэмюэля Бэджера подобрал «Фэйм», который капитан Фезерстоун вел из Рио-де-Жанейро домой, в Гулль. Когда их снимали с обломков брига, они находились на 20° северной широты и 13° западной долготы, проделав, таким образом, путь в две тысячи с лишним миль! Девятого июля «Фэйм» повстречал бриг «Дромео», и капитан Перкинс высадил двух несчастных в Кенпебеке на сушу. Доклад, из которого мы заимствовали эти подробности, кончается следующими словами: «Возникает естественный вопрос: как они, проплыв такое огромное расстояние в наиболее судоходной части Атлантики, могли остаться никем не замеченными? Они видели более дюжины судов, причем одно из них подошло так близко, что они отчетливо различали смотревших на них с палубы и мачт людей; но, к невыразимому разочарованию голодных, замерзающих страдальцев и вопреки всем законам человечности, те подняли паруса и бросили их на произвол судьбы».) Однако в данном случае, благодаря милости божьей, дело, к счастью, обстояло иначе. Вскоре мы заметили движение на палубе незнакомца, который тут же поднял британский флаг и, развернувшись, направился прямо к нам. Через полчаса мы были в каюте Шхуны «Джейн

Гай» из Ливерпуля, направлявшейся под началом капитана Гая на тюлений промысел и с торговыми целями в Тихий и Южный океаны.

14

«Джейн Гай» была красивой топсельной шхуной грузоподъемностью сто восемьдесят тонн. У нее был необыкновенно острый нос, и с ветром при умеренной погоде она ходила с такой скоростью, какой я не наблюдал у других судов. Но для штормовых рейсов она годилась гораздо меньше, и осадка была слишком велика, если иметь в виду ее назначение. Промысел, для которого снарядили шхуну, требует судна большей грузоподъемности, скажем, от трех до трех с половиной сотен тонн, но соответственно меньшей осадки. Ее следовало бы оснастить как барк, да и конструкция ее желательна иная, нежели у кораблей, обычно плавающих в Южных морях. Совершенно необходимо также хорошее вооружение. На судне надо, к примеру, иметь десяток или дюжину двенадцатифунтовых каронад, две-три длинноствольные пушки с запасом картечи и водонепроницаемыми пороховыми ящиками. Якоря и канаты должны быть гораздо прочнее, нежели те, что надобны для другой

службы, а главное, на таком корабле необходим многочисленный и опытный экипаж, пятьдесят — шестьдесят матросов первого класса по меньшей мере. На «Джейн Гай» помимо капитана и его помощника было всего лишь тридцать пять, правда, знающих свое дело людей, но все-таки ее вооружение и оснастка не удовлетворили бы моряка, знакомого с трудностями и опасностями тюленьего промысла.

Капитан Гай был вполне светский человек, обладавший значительным опытом плавания в этих широтах, чему он отдал многие годы своей жизни. Ему не хватало, правда, энергии и особенно того духа предпринимательства, который здесь совершенно необходим. Он был совладельцем шхуны и имел право по собственному усмотрению совершать рейсы в Южных морях, берясь за перевозку любого выгодного груза.

Как водится в плаваниях такого рода, сейчас он имел на борту запас бус, зеркал, огнив, топоров, тесаков, пил, стругов, зубил, стамесок, буравов, рубанков, рашпилей, напильников, молотков, гвоздей, ножей, ножниц, лезвий, иголок, ниток, глиняной посуды, ситца, всякого рода безделушек и тому подобных товаров.

Шхуна вышла десятого июля из Ливерпуля,

двадцать пятого пересекла тропик Рака под двадцатым градусом западной долготы и двадцать девятого достигла Сала, одного из островов Зеленого Мыса, где взяла на борт соль и другие припасы, необходимые для путешествия. Третьего августа «Джейн Гай» снялась с якоря и с островов Зеленого Мыса взяла курс на юго-запад, в направлении берегов Бразилии, чтобы пересечь экватор между двадцать восьмым и тридцатым градусом западной долготы. Это обычный маршрут судов, направляющихся из Европы к мысу Доброй Надежды и дальше — в Ост-Индию. Следуя этим путем, можно избежать штилей и сильных встречных течений, господствующих у берегов Гвинеи, а затем с помощью постоянных западных ветров достигнуть мыса Доброй Надежды, так что в конце концов этот путь оказывается кратчайшим. Первую остановку, не знаю даже, для какой надобности, капитан Гай намеревался сделать на Земле Кергелена. В тот день, когда нас подобрали, шхуна только что миновала мыс Сен-Рок на тридцать первом градусе западной долготы, так что мы продрейфовали с севера на юг расстояние не менее чем *градусов в двадцать пять*.

На борту «Джейн Гай» нас окружили таким вниманием, какого и требовало наше плачевное

состояние. За две недели, пока судно следовало тем же курсом на юго-запад под мягким бризом и при чудесной погоде, мы с Петерсом полностью оправились от последствий пережитых недавно лишений и нечеловеческих страданий и теперь вспоминали происшедшее скорее как дурной сон, от которого так счастливо очнулись, нежели как действительные события во всей их беспощадной реальности. С тех пор мне не раз приходилось убедиться, что частичное выпадение памяти, которые я имею в виду, имеет причиной внезапный переход от радости к отчаянию или от отчаяния к радости, причем степень забывчивости пропорциональна степени противоположности наших переживаний. Как бы то ни было, лично я не могу в полной мере осознать бедствия, которые я перенес после кораблекрушения. Я помню цепь событий, но никак не чувства, владевшие тогда мной. Знаю только, что в тот *момент*, когда происходило то или иное событие, мне казалось, что больших мучений человек вынести не способен.

Несколько недель наше плавание продолжалось без каких-либо происшествий, если не считать разве что встреч с китобойными судами; еще чаще попадались черные, или настоящие, киты, которые называются так в отличие от каша-

лотов. Правда, главным образом они встречаются южнее двадцать пятой параллели. Шестнадцатого сентября, находясь в непосредственной близости от мыса Доброй Надежды, шхуна перенесла первую с момента отплытия из Ливерпуля серьезную бурю. В этих местах, а еще чаще южнее и восточнее мыса (мы лежали к западу от него) морякам приходится вступать в схватку с яростными штормами, надвигающимися с севера. Они всегда несут сильнейшее волнение, и одна из их опаснейших особенностей состоит в мгновенной перемене ветра, каковая почти всегда происходит в самый разгар бури. С севера или северо-востока несется бешеный ураган, и вдруг в один момент ветер совершенно стихает, а затем с утроенной силой начинает дуть с юго-запада. Обыкновенно предвещает эту резкую перемену прояснение в южной части неба, так что на судах успевают принять необходимые меры предосторожности.

Итак, было шесть часов утра, когда на шхуну с севера, при сравнительно чистом небе, обрушился шквал. К восьми утра ветер еще более усилился, подняв такие гигантские волны, каких мне еще не приходилось видеть. Хотя мы убрали все паруса, шхуна держалась не так, как следовало бы океанскому паруснику. Ее кидало,

как щепку, она то и дело зарывалась носом, и едва успевала выпрямиться, как накатывалась другая волна и накрывала ее. Мы следили за небом, и к исходу дня в юго-западной его части появилась ясная полоска. Спустя час передний парус безжизненно повис на мачте, а через две минуты, несмотря на все наши приготовления, шхуну точно по волшебству опрокинуло набок, и огромный поток пены окатил палубу. Дело, к счастью, ограничилось только шквалом, и нам удалось выровнять шхуну, не получив никаких повреждений. Поперечное волнение причиняло нам массу беспокойства еще несколько часов, но к утру на шхуне все было почти в том же порядке, как и до бури. Капитан Гай считал, что мы спаслись чуть ли не чудом.

Тринадцатого октября, находясь на 46°53’ ю. ш. и 37°46’ в. д., мы увидели острова Принс-Эдуард. Два дня спустя мы были у острова Владения, а затем прошли и острова Крозе, 42°59’ ю. ш. и 48° в. д. Восемнадцатого числа мы достигли острова Кергелен, или, как его еще называют, острова Запустения, в южной части Индийского океана, и бросили якорь в гавани Рождества на глубине около четырех саженей.

Этот остров, точнее — группа островов распо-

ложена к юго-востоку от мыса Доброй Надежды, почти в восьмистах лигах от него. Острова были впервые открыты в 1772 году французом бароном Кергуленом, или Кергеленом[5], который принял их за выдающуюся часть южного материка, о чем и доложил на родине, вызвав большую сенсацию. Правительство заинтересовалось открытием и на следующий год послало барона исследовать новую землю — тогда-то и обнаружилась ошибка. В 1777 году на эти острова натолкнулся капитан Кук[6] и нарек главный из них островом Запустения, какового названия он вполне заслуживает. Правда, когда впервые приближаешься к острову, этого не подумаешь, ибо с сентября по март склоны холмов одеты как будто пышной зеленью. Это ошибочное впечатление вызвано небольшим растением, напоминающим камнеломку, которая в обилии произрастает среди мха на болотистой почве. Другой растительности почти нет, если не считать высокую жесткую траву у самой гавани, лишайников и какого-то низкорос-

[5] Сноски: 5

Ив-Жозеф Тремарек Кергелен (1745–1797) — французский мореплаватель.

[6] Сноски: 6

Джеймс Кук (1728–1779) — английский мореплаватель, совершивший три кругосветных путешествия.

лого кустарника, похожего на семенную капусту, но чрезвычайно горького и кислого на вкус.

Поверхность острова холмистая, хотя холмы отнюдь не высоки. Вершины их постоянно покрыты снегом. На острове есть несколько бухт, но гавань Рождества наиболее удобная из них. Если подходить к острову с северо-востока, то она будет как раз первой бухтой после мыса Франсуа, образующего северную оконечность острова и служащего хорошим ориентиром в силу своей необычной формы. Его выступающая часть заканчивается высокой скалой с большим естественным проломом, похожим на арку. Координаты горловины бухты — 48°40’ ю. ш. и 69°6’ в. д. Войдя в бухту, можно найти стоянку под прикрытием нескольких крошечных островов, защищающих судно от восточных ветров. Если двигаться отсюда к востоку, то попадешь в Осиную бухту, в самой глубине гавани. Этот маленький залив глубиной от трех до десяти саженей, к которому ведет проход в четыре сажени, со всех сторон окружен сушей и имеет твердое глинистое дно. Корабль может простоять здесь на якоре круглый год без малейшей опасности. В западной части Осиной бухты, у входа в нее, есть легкодоступный ручеек с отличной пресной водой.

На земле Кергелена и сейчас еще можно встретить и тюленей, и котиков, и множество морских слонов. Что до пернатых, здесь их обитает огромное множество. Особенно многочисленны пингвины, в основном — четырех различных видов. Самый крупный вид — королевские пингвины, которых называют так благодаря величине и яркому оперению. Верхняя часть туловища у королевского пингвина обычно серая, иногда с лиловым оттенком, а нижняя — чистейшего белого цвета. Голова у него глянцевая, иссиня-черная, как и лапы. Главную же прелесть оперения составляют две широкие золотистые полоски, идущие от головы до груди. Клюв — длинный, розового цвета или ярко-алый. Ходят они величаво выпрямившись. Головку держат высоко, крылья опущены, точно две руки, а выступающий хвост несут на одной линии с лапами; сходство с человеческой фигурой настолько поразительно, что может обмануть не слишком внимательного наблюдателя и вводит в заблуждение в темноте. Королевские пингвины, которых мы встретили на Земле Кергелена, были гораздо больше гуся.

Кроме королевских пингвинов, бывают хохлатые пингвины, пингвины-глупыши и обыкновенные пингвины. Эти разновидности значительно

мельче, не так красивы и вообще отличаются от королевских.

Помимо пингвинов, на островах обитает множество других птиц, среди которых можно упомянуть морских курочек, голубых буревестников, чирков, уток, портэгмондских курочек, бакланов, капских голубков, морских ласточек, крачек, чаек, всякие виды начурок, буревестников, включая исполинских, и, наконец, альбатросов.

Исполинский буревестник — хищная птица, величиной с обычного альбатроса. Иногда его зовут костоломом или скопой. Они нисколько не боятся людей, и их мясо, если умело приготовить, вполне пригодно в пищу. Часто они словно плывут над самой водой, широко раскинув крылья и как будто совсем не шевеля ими.

Альбатрос — одна из самых крупных и хищных птиц среди пернатых обитателей Южного океана. Принадлежат альбатросы к семейству буревестников, добычу терзают на лету, а на сушу летят только для размножения. Между ними и пингвинами существует какая-то странная привязанность. Они сообща строят гнезда, будто согласно некоему плану, совместно разработанному: гнездо альбатроса помещается обыкновенно в середине небольшого квадрата,

образованного четырьмя пингвиньими гнездами.

Моряки называют эти гнездовья «птичьим базаром». Описаний этих птичьих базаров имеется множество, но, поскольку мои читатели могут быть незнакомы с ними, а мне придется не раз упоминать о пингвинах и альбатросах, очевидно, не лишне рассказать здесь кое-что об их образе жизни и гнездовании.

Когда наступает период размножения, птицы собираются огромными стаями и несколько дней словно бы раздумывают, как устроить гнездовье, и лишь затем приступают к делу. Прежде всего они находят горизонтальную площадку подходящих размеров, обычно в три-четыре акра, расположенную как можно ближе к воде, но вне досягаемости волн. Место выбирается ровное, предпочтительно без камней. Затем, будто подчиняясь единому побуждению, они все, как один, разом начинают ходить друг за другом, с математической точностью вытаптывая квадрат или четырехугольник (в зависимости от характера почвы) достаточных размеров, чтобы разместиться всем, но никак не больше, ибо птицы исполнены, кажется, решимости не допустить сюда чужаков, не участвовавших в

устройстве лагеря. Одна сторона выбранной площадки параллельна линии воды и открыта для входа и выхода.

Наметив очертания колонии, пингвины принимаются расчищать площадку от всякого сора, таская камешек за камешком и складывая их вдоль границ, так что с трех сторон, обращенных к суше, выстраивается своего рода стенка. С внутренней ее стороны протаптывается гладкая дорожка шириной шесть — восемь футов для общих прогулок.

Затем птицам предстоит разделить всю площадку на небольшие и совершенно одинаковые квадраты. Делается это посредством узких гладких тропинок, пересекающихся друг с другом под прямым углом по всей колонии. На каждом пересечении сооружают свои гнезда альбатросы, а в центре каждого квадрата — пингвины; таким образом, каждый альбатрос окружен четырьмя пингвинами, а каждый пингвин таким же количеством альбатросов. Пингвинье гнездо представляет собой неглубокую ямку, чтобы только не выкатилось единственное яйцо. Самка альбатроса устраивается поудобнее, сооружая из земли, морских водорослей и ракушек холмик в фут высотой и два фута диаметром. На верхушке

холмика и делается гнездо.

Птицы крайне осторожны и ни на секунду не оставляют гнездо пустым в период высиживания и даже до того времени, пока птенец не окрепнет и не научится сам заботиться о себе. Пока самец летает в море, добывая пищу, самка исполняет свои обязанности и лишь по возвращении партнера решается ненадолго покинуть гнездо. Яйца вообще никогда не остаются открытыми: когда одна птица снимается с гнезда, другая тут же занимает ее место. Эта мера предосторожности вызвана повсеместным воровством в колонии: обитатели ее не прочь при первом же удобном случае стянуть друг у друга яйца.

Хотя встречаются колонии, где обитают только пингвины и альбатросы, все же в большинстве случаев в них селятся самые разные морские птицы, причем все пользуются равными правами гражданства и устраивают свои гнезда там, где найдется местечко, не посягая, однако, на те, что заняты более крупными птицами. С расстояния птичьи базары являют зрелище совершенно необыкновенное. Застилая небо, альбатросы вперемешку со всякой мелкотой постоянно тучами реют над гнездовьем, то отправляясь в море, то возвращаясь назад. В это же самое время можно

наблюдать толпы пингвинов — одни спешат взад-вперед по узким тропинкам, другие с характерной, как бы военной, выправкой вышагивают по дорожке вдоль стен, окружающих колонию. Словом, при пристальном наблюдении понимаешь, что нет ничего более поразительного, нежели эта задумчивость пернатых существ, и решительно ничто не заставляет так задуматься любого нормального человека, как это зрелище.

В то самое утро, когда мы бросили якорь в гавани Рождества, первый помощник капитана м-р Паттерсон распорядился спустить шлюпки и — хотя сезон охоты еще не начался — отправился на поиски тюленей, высадив капитана и его юного родственника на голой косе к западу от бухты: им надо было по каким-то делам пробраться в глубь острова.

Капитан Гай имел при себе бутылку с запечатанным письмом и с места высадки направился к самому высокому здесь холму. Он, очевидно, намеревался оставить на вершине письмо для какого-то судна, которое должно прийти за нами. Как только они скрылись из виду, мы (я и Петерс тоже были с шлюпке с помощником капитана) пустились в путь вокруг острова, высматривая лежбище тюленей. Мы провели за этим занятием

около трех недель, тщательно исследуя каждую бухточку, каждый укромный уголок не только на Земле Кергелена, но и на соседних островках. Наши труды не увенчались, однако, сколько-нибудь значительным успехом. Мы наткнулись на множество котиков, но они оказались чрезвычайно пугливы, и при всех наших стараниях мы сумели раздобыть лишь триста пятьдесят шкурок. В изобилии было и морских слонов, особенно на западном берегу, однако убили мы всего штук двадцать, да и то с большими трудностями. На островках попадалось немало обыкновенных тюленей, но мы решили их не брать. Одиннадцатого числа мы вернулись на шхуну, где уже находился капитан Гай с племянником — они вынесли весьма безотрадное впечатление из своей вылазки на остров, который, по их словам, представлял собой одно из самых неприглядных и пустынных мест на земле. Из-за нерасторопности второго помощника, забывшего вовремя послать за ними лодку, они были вынуждены две ночи провести на острове.

15

Двенадцатого ноября мы подняли паруса и, покинув гавань Рождества, взяли курс назад, к

западу, оставляя по левому борту остров Марион из группы островов Крозе. Затем мы миновали остров Принс-Эдуард, который тоже остался слева, и, держась немного к северу, через пятнадцать дней достигли островов Тристан-да-Кунья под 37°8’ ю. ш. и 12°8’ з. д.

Эта группа, ныне исследованная и состоящая из трех крупных островов, была открыта португальцами; потом, в 1643 году, там побывали голландские моряки, а в 1767 — французы. Три острова образуют как бы треугольник и отстоят друг от друга миль на десять, так что между ними имеются отличные широкие проливы. Местность там возвышенная, особенно на самом Тристан-да-Кунья. Этот самый большой остров из всех имеет в окружности пятнадцать миль и так высок, что в ясную погоду хорошо виден на расстоянии восьмидесяти — девяноста миль. Северная часть острова вздымается более чем на тысячу футов над уровнем моря, образуя высокогорное плато, тянущееся до середины острова, на котором возвышается огромная коническая гора наподобие Тенерифского пика. У подножия горы растут большие деревья, но верхняя половина представляет собой голую скалу, большую часть года покрытую снегом и обычно окутанную об-

лаками. Вокруг острова нет ни мелей, ни рифов, берега очень круты и глубина там порядочная. Только на северо-востоке расположен заливчик с отмелью из черного песка, где при южном ветре легко пристать на лодках. Тут же можно раздобыть отличной пресной воды и наловить трески и другой рыбы.

Второй по величине остров лежит к западу и носит название Недоступного. Его точные географические координаты — 37°17’ ю. ш. и 12°24’ з. д. Он имеет семь-восемь миль в окружности, и крутые, обрывистые берега придают ему непривлекательный вид. Он увенчан совершенно плоским бесплодным плато, на котором лишь кое-где произрастает низкорослый кустарник.

Соловьиный остров, самый маленький и южный из всей группы, расположен на 37°26’ ю. ш. и 12°12’ з. д. От южной его оконечности отходит цепь крохотных скалистых островков; несколько похожих островков видны также на северо-востоке. Местность на Соловьином пересеченная и бесплодная, частично перерезанная глубокой долиной.

В соответствующее время года берега островов изобилуют морскими львами, морскими слонами, тюленями, котиками и всякого рода

морскими птицами. Немало в этих водах и китов. Первоначально охота здесь была делом весьма легким, благодаря чему, очевидно, на эти острова частенько наведывались суда, особенно голландские и французские. В 1790 году капитан Пэттен из Филадельфии на корабле «Индустрия» достиг острова Тристан-да-Кунья и пробыл здесь семь месяцев (с августа 1790 по апрель 1791 года), занимаясь охотой на тюленей. За это время он добыл не менее пяти тысяч шестисот шкур и уверял, что мог бы без особого труда за три недели загрузить тюленьим жиром большой корабль. Если не считать нескольких диких коз, он не встретил на островах четвероногих; теперь же здесь водится множество ценнейших домашних животных, которых завезли сюда впоследствии.

Вскоре после экспедиции капитана Пэттена, если не ошибаюсь, на Тристан-да-Кунья прибыл для отдыха экипажа и пополнения запасов американский бриг «Бетси» под началом капитана Колкхуна. Они посадили на острове лук, картофель, капусту и другие овощи, которые сейчас там в обилии и произрастают.

В 1811 году на Тристане высадился некий капитан Хейвуд с «Нерея». Он встретил здесь трех американцев, которые жили на острове, занима-

ясь добычей тюленьих шкур и жира. Один из них, Джонатан Лэмберт, считал себя правителем острова. Он расчистил порядочный участок, акров в шестьдесят, и принялся выращивать кофейное дерево и сахарный тростник, которыми его снабдил американский консул в Рио-де-Жанейро. Со временем, однако, поселенье опустело, и в 1817 году английское правительство, послав туда с мыса Доброй Надежды воинское соединение, объявило острова собственностью британской короны. Англичане, впрочем, недолго удерживали острова, хотя после эвакуации соединения две-три английских семьи поселились здесь как частные лица. Двадцать пятого марта 1824 года капитан Джеффри, шедший на «Бервике», остановился здесь по пути из Лондона на Землю Ван-Димена и нашел англичанина Гласса, бывшего капрала британской артиллерии. Он назвал себя губернатором островов и имел под началом двадцать одного мужчину и трех женщин. Он весьма хвалил здешний здоровый климат и плодородную почву. Колонисты занимались преимущественно добычей тюленьих шкур и заготовкой жира морских слонов, сбывая это на небольшой, принадлежащей Глассу шхуне торговцам в Кейптауне. Когда мы прибыли сюда,

«губернатор» по-прежнему правил островами, а его колония увеличилась и насчитывала сейчас пятьдесят шесть человек на Тристане и небольшое поселение из семи душ на Соловьином острове. Здесь мы запаслись почти всем необходимым. Глубина, составляющая около восемнадцати саженей, позволила нам подойти почти к самому берегу Тристана и без труда взять на борт овец, свиней, волов, кроликов, домашнюю птицу, коз, множество всякой рыбы и овощей. Кроме того, капитан Гай купил у Гласса пятьсот тюленьих шкур и слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, пока с севера и запада дули сильные ветры и стояла пасмурная погода. Пятого ноября мы снялись с якоря и взяли курс на юго-запад, намереваясь провести тщательные поиски группы островов Аврора, относительно существования которых имелись самые разноречивые мнения.

Утверждают, что эти острова были открыты еще в 1762 году капитаном судна «Аврора». По словам капитана Мануэля де Оярвидо, в 1790 году на «Принцессе», принадлежащей Королевской Филиппинской компании, он прошел посреди этих островов. В 1794 году, с целью установить точное их расположение, в эти широты отправил-

ся испанский корвет «Атревида», и в сообщении Королевского Гидрографического общества в Мадриде, опубликованном в 1809 году, об этой экспедиции говорилось следующее: «В период между двадцать первым и двадцать седьмым января корвет „Атревида“, курсируя в этом районе, произвел все необходимые наблюдения и определил с помощью хронометров разницу в долготе между портом Соледад на Мальвинских островах и этими островами. Островов оказалось три, все они расположены примерно на одном меридиане; центральный остров низменный, но два других видны с расстояния девяти лиг». Наблюдения, сделанные на борту «Атревиды», позволили определить точное местоположение каждого острова: северный 52°37’24” ю. ш. и 47°43’15” з. д.; центральный — 53°2’40” ю. ш. и 47°55’15” з. д.; южный — 53°15’22” ю. ш. и 47°57’15” з. д.

Двадцать седьмого января 1820 года капитан британского морского флота Джеймс Уэддел[7] тоже отправился с Земли Стэтепа на поиски Авроры. Он заявил, что, тщательно обследовав

[7] Сноски: 7

Джеймс Уэддел (1787–1834) — английский мореплаватель, совершивший в 1819–1824 гг. ряд путешествий в Южные моря, открывший несколько островов, автор книги «Путешествие к Южному полюсу в 1822–1824 гг.».

не только пункты, координаты которых указал командир «Атревиды», но и близлежащие районы, он нигде не обнаружил признаков суши. Эти противоречивые заявления побудили других мореходов пускаться на поиски Авроры, и вот что странно: если некоторые, избороздя каждый дюйм в водах, где должны бы лежать эти острова, так и не наткнулись на них, то немало было и таких, которые положительно уверяли, что видели эту группу и даже подходили к берегам. Поэтому капитан Гай и хотел приложить все усилия, чтобы решить этот необыкновенный спор. (Среди судов, чьи экипажи утверждают, что встречали острова Авроры, можно упомянуть «Сан-Мигель» (1769), «Аврору» (1774), бриг «Жемчужина» (1779) и судно «Долорес» (1790). Все сходятся на том, что острова расположены 53° ю.ш..)

При переменной погоде мы продолжали наш путь на юго-запад, пока двадцатого числа не вошли в район, из-за которого разгорелся спор, — на 53°15’ ю. ш. и 47°58’ з. д., то есть оказались в пункте, где, по сведениям, лежит южный из трех островов. Не встретив ничего, мы повернули на запад и по пятьдесят третьей параллели дошли до пятидесятого меридиана. Затем мы взяли курс на север и, пройдя до пятьдесят второй паралле-

ли, поплыли на восток, держась строго заданного курса и сверяя свои координаты утром и вечером с расположением небесных тел. Достигнув меридиана, который проходит через западную оконечность острова Южная Георгия, мы снова повернули на юг и вернулись к исходной точке. Затем мы прошли по диагоналям образованного таким образом четырехугольного участка моря, постоянно держа вахтенного на марсе, и в течение трех недель, пока стояла удивительно приятная ясная погода, снова и снова тщательно повторяли наши наблюдения.

Само собой разумеется, мы были вполне удовлетворены: если какие-либо острова и существовали здесь прежде, то сейчас от них не осталось и следа. Уже после возвращения на родину я узнал, что эти же места с таким же тщанием исследовали в 1822 году капитан Джонсон на американской шхуне «Генри» и капитан Моррел[8] на американской шхуне «Оса», и в обоих случаях выводы совпали с нашими собственными.

---

[8] Сноски: 8

Бенджамин Моррел (1795–1839) — американский мореплаватель, в 1822–1824 гг. на шхуне «Оса» совершил плавание в Южные моря.

16

Первоначально план капитана Гая состоял в том, чтобы, обследовав район предполагаемого архипелага Аврора, пройти Магелланов пролив и подняться вдоль западных берегов Патагонии к северу, но сведения, полученные на Тристан-да-Кунья, побудили его взять курс на юг в расчете обнаружить группу крохотных островов, расположенных будто бы на 60° ю. ш. и 41°20’ з. д. В том случае, если островов в указанных координатах не окажется, мы должны были при условии благоприятной погоды двинуться к полюсу. Соответственно двенадцатого декабря мы подняли паруса и пошли к югу. Восемнадцатого числа мы были в районе, который указал Гласс, и трое суток бороздили эти воды, не находя никаких следов островов. Погода была преотличная, и двадцать первого мы снова взяли курс на юг, решив плыть в том направлении как можно дальше. Прежде чем приступить к этой части моего повествования, не лишне вкратце рассказать о немногочисленных попытках достичь Южного полюса, которые до сих пор предпринимались, имея в виду тех читателей, которые не следили за исследованиями этих районов.

Первую такую попытку, о которой мы знаем что-то достоверное, предпринял капитан Кук. В 1772 году он отправился на корабле «Резольюшн» к югу; его сопровождал лейтенант Фурно на корабле «Адвенчур». В декабре он достиг пятьдесят восьмой параллели под 26°57’ западной долготы. Здесь он наткнулся на узкие ледяные поля толщиной восемь — десять дюймов, простиравшиеся к северо-западу и юго-востоку. Льдины громоздились друг на друга, образуя большие торосы, так что корабли с трудом проходили между ними. По обилию птиц и другим признакам капитан Кук тогда заключил, что они находятся недалеко от суши. Несмотря на холода, он продолжал плыть к югу и на 38°14’ западной долготы прошел шестьдесят четвертую параллель. Потом значительно потеплело, подули легкие ветры, пять дней термометр показывал тридцать шесть градусов[9]. В январе 1773 года суда капитана Кука пересекли Южный полярный круг, но дальше пройти ему не удалось: на шестьдесят седьмой параллели путь преградили сплошные ледяные поля, которые тянулись вдоль всего горизонта, насколько хватал глаз. Лед был самый разнообразный, иные

[9] Сноски: 9
по Фаренгейту

льдины, протяженностью несколько миль, представляли сплошные массивы, возвышавшиеся на восемнадцать — двадцать футов над водой. Ввиду позднего времени года капитан Кук не рассчитывал обойти льды и неохотно повернул обратно, на север.

В ноябре того же года он возобновил свои исследования Антарктики. На 59°40’ южной широты он попал в сильное течение, направлявшееся к югу. В декабре, когда экспедиция находилась на 67°31’ южной широты и 142°54’ западной долготы, наступили жестокие морозы с сильными ветрами и туманами. Тут тоже было множество птиц — альбатросов, пингвинов и особенно буревестников. На 70°23’ южной широты путешественники встретили несколько больших айсбергов, а несколько позже заметили белоснежные облака на юге, что указывало на близость сплошных ледовых полей. На 71°10’ южной широты и 106°54’ западной долготы мореплавателям, как и в первый раз, преградил путь гигантский ледяной массив, застилавший всю южную часть горизонта. Северный край этого массива на добрую милю вглубь был изрезан крепко спаянными торосами, и пробиться здесь оказалось никак невозможным. За ними на какое-то расстояние

тянулась сравнительно ровная поверхность, а совсем вдали виднелись цепи громоздящихся друг на друга ледяных гор. Капитан Кук решил, что эти огромные ледовые поля простираются до самого полюса или примыкают к какому-то материку. Мистер Дж.-Н. Рейнольдс[10], чьи самоотверженные усилия и упорство увенчались наконец подготовкой национальной экспедиции для исследования, в частности, и этих районов, говорит о попытках корабля «Резольюшн»: «Не приходится удивляться, что капитан Кук не сумел пройти дальше 71°10’; поразительно, что ему удалось достичь этого пункта на 106°54’ западной долготы. Земля Палмера лежит южнее Шетландских островов, расположенных на шестьдесят четвертой параллели, и тянется к югу и западу дальше, чем проникал кто-либо из мореплавателей. Кук считал, что достиг земли, когда льды преградили ему путь, что, очевидно, неизбежно в этом районе и в такое раннее время года, как шестое января. Мы не удивимся, если ледяные горы, им описанные, действительно примыкают к Земле Палмера или являются частью суши, лежащей дальше к югу и западу».

---

[10] Сноски: 10

Джереми Рейнольдс (1799–1858) — американский полярный исследователь.

В 1803 году русский царь Александр послал капитанов Крузенштерна и Лисянского[11] в кругосветное плавание. Пробираясь к югу, они достигли только 59°58’ на 70°15’ западной долготы. В этом пункте обнаружилось сильное течение на восток. Они встретили множество китов, но льдов не видели. По поводу этой экспедиции мистер Рейнольдс замечает, что, если бы Крузенштерн прибыл сюда в более раннее время года, он непременно наткнулся бы на льды, но он оказался на указанном месте лишь в марте. Господствующие тут южные и западные ветры, а также течения отнесли дрейфующие льдины в район сплошных льдов, ограниченный с севера островом Южная Георгия, с востока Сандвичевыми и Южными Оркнейскими островами, а с запада — Южными Шетландскими.

В 1822 году капитан британского военно-морского флота Джеймс Уэддел на двух небольших суденышках проник к югу дальше всех своих предшественников, причем не испытал при этом особых трудностей. Он утверждает, что хотя

---

[11] Сноски: 11

Иван Федорович Крузенштерн (1770–1846) — русский мореплаватель, адмирал. Руководитель первого русского кругосветного плавания (1803–1806), во время которого были открыты многие острова. Экспедиция состояла из двух кораблей. Капитаном второго был Юрий Федорович Лисянский (1773–1837).

во время плавания льды не раз затирали его корабли, но, когда он достиг семьдесят второй параллели, море оказалось совершенно чистым, и до 74°15’ ему попались лишь три ледяных островка. Удивительно, что, несмотря на большие стаи птиц и другие признаки близости земли, несмотря на то, что южнее Шетландских островов его марсовые заметили какие-то полоски суши, тянувшиеся к югу, капитан Уэддел отрицает предположение о существовании материка в южной полярной области.

Одиннадцатого января 1823 года капитан Бенджамин Моррел отплыл на американской шхуне «Оса» с острова Кергелен, намереваясь проникнуть как можно дальше на юг. Первого февраля он был на 64°52’ южной широты и 118°27’ восточной долготы. Вот запись в вахтенном журнале за то число: «Ветер задул со скоростью одиннадцати миль в час, и мы, воспользовавшись этим, поплыли к западу. Будучи, однако, убежденными, что чем дальше мы продвинемся от шестьдесят четвертой параллели к югу, тем менее вероятность встретить льды, мы взяли немного южнее, пересекли Южный полярный круг и достигли 69°15’ южной широты. На этой параллели замечены лишь несколько ледяных островков, но *никакого*

сплошного льда».

Я обнаружил также следующую запись, датированную четырнадцатым марта: «Море совершенно свободно ото льда, видели вдали с дюжину ледяных островков. Температура воздуха и воды по крайней мере на тринадцать градусов выше обычной между шестидесятой и шестьдесят второй параллелью. Сейчас мы находимся на 70°14’ южной широты, температура воздуха — сорок семь градусов, воды — сорок четыре. В этих условиях магнитное склонение 14°27’ восточное… Мне неоднократно доводилось на разных меридианах пересекать Южный полярный круг, и каждый раз я убеждался, что чем дальше я захожу за шестьдесят пятую параллель, тем теплее становится воздух и вода и тем больше, соответственно, отклонение стрелки. В то же время к северу от этой параллели, скажем между шестидесятой и шестьдесят пятой, мы часто с трудом находили проход между огромными бесчисленными айсбергами, причем иные были от мили до двух в окружности и возвышались над водой футов на пятьсот, а то и более».

Поскольку топливо и запасы воды были на исходе, поскольку на корабле не имелось хороших инструментов и близилась полярная зима,

капитан Моррел был вынужден отказаться от попытки пробиться дальше на юг и повернул назад. Он высказывает убеждение, что достиг бы восемьдесят пятой параллели, а то и полюса, если бы не указанные неблагоприятные обстоятельства, заставившие его отступиться от своего намерения. Я пространно излагаю соображения капитана Моррела об этих делах для того, чтобы читатель имел возможность убедиться, в какой степени они подтверждаются моим собственным последующим опытом.

В 1831 году капитан Биско[12], состоящий на службе у господ Эндерби, лондонских владельцев китобойных судов, отправился на бриге «Лайвли» и кутере «Фуле» в Южный океан. Двадцать восьмого февраля, находясь на 66°30’ южной широты и 47°13’ восточной долготы, мореплаватели заметили землю и «среди снега отчетливо разглядели черные вершины горной гряды, тянущейся ост-зюйд-ост». Биско пробыл в этих водах весь следующий месяц, но из-за бурного моря так и не подошел к берегу ближе чем на десять лиг. Убедившись, что продолжать исследования в это время года невозможно, он повернул на север,

[12] Сноски: 12

Джон Биско — английский мореплаватель, совершивший плавание в Южные моря в 1830–1831 гг.

чтобы перезимовать на Земле Ван-Димена.

В начале 1832 года он снова отправился на юг и четвертого февраля, находясь на 67°15’ южной широты и 69°29’ западной долготы, увидел на юго-востоке землю. Она оказалась островом, примыкавшим к мысу на материке, который он обнаружил раньше. Двадцать четвертого числа ему удалось высадиться на острове, который он именем короля Вильгельма IV объявил собственностью британской короны и в честь королевы назвал островом Аделейд. Когда обстоятельства путешествия стали известны Королевскому Географическому обществу в Лондоне, ученые мужи пришли к выводу, что «от 47°30’ восточной долготы до 69°29’ западной долготы вдоль шестьдесят шестой — шестьдесят седьмой параллели тянется сплошная полоса суши».

Мистер Рейнольдс замечает по этому поводу: «Мы никоим образом не можем присоединиться к этому заключению, и открытия Биско не дают к тому никаких оснований. Именно между этими двумя пунктами Уэддел проследовал к югу по меридиану, проходящему к востоку от острова Южная Георгия, от Сандвичевых, Южных Оркнейских и Южных Шетландских островов». Как будет видно, мой собственный опыт доказывает

полнейшую несостоятельность вывода, к которому пришло Общество.

Таковы основные экспедиции, которые пытались проникнуть в высокие широты юга, из чего следует, что до плавания «Джейн Гай» ни один корабль не пересекал Южный полярный круг на огромных расстояниях, соответствующих тремстам градусов этой параллели. Перед нами открывалось широкое поле для исследований, и потому я с глубочайшим интересом воспринял решение капитана Гая смело идти на юг.

17

Отказавшись от поисков островов, о которых говорил Гласс, мы четыре дня плыли к югу, не встречая на своем пути никаких льдов. В полдень двадцать шестого, когда мы были на 63°23’ южной широты и 41°25’ западной долготы, показалось несколько больших айсбергов и ледяное поле, однако небольшой протяженности. С юго-востока и северо-востока дули постоянные, но не сильные ветры. Когда поднимался западный ветер, а это случалось не часто, то он неизбежно сопровождался порывами дождя. Каждый день выпадает хоть немного снега. Двадцать седьмого термометр показывал тридцать пять градусов.

Январь, 1 дня, 1828 года. Сегодня нас со всех сторон окружили льды, которым, казалось, нет ни конца ни краю, так что перспективы наши были безрадостны. Всю вторую половину дня с северо-востока несся штормовой ветер, и большие дрейфующие льдины с такой силой ударялись о подзор кормы и руль, что мы начали опасаться серьезнейших последствий. К вечеру ветер продолжал дуть с прежней яростью, большое ледовое поле впереди нас разошлось, и нам удалось, поставив все паруса, пробиться сквозь льдины к большой полынье. Приближаясь к ней, мы постепенно убирали паруса, а выйдя на чистую воду, оставили лишь зарифленный фок.

Январь, 2 дня. Стоит вполне умеренная погода. Мы пересекли Южный полярный круг и в полдень были на 69°10’ ю. ш. и 42°20’ з. д. К югу льдов почти не видно, хотя за нами расстилаются целые поля. Соорудили что-то вроде лота, используя для этого чугунный котел на двадцать галлонов и канат в двести саженей, и нашли течение, отходящее к северу со скоростью четверть мили в час. Температура воздуха — около тридцати трех градусов. Магнитное склонение — 14°28’ восточное.

Январь, 5 дня. Продолжали путь к югу без особых препятствий. Утром, однако, находясь на 73°15’ ю.

ш. и 42°10’ з. д., «Джейн Гай» снова наткнулась на огромное поле спаянного льда. Правда, дальше к югу за ним открывалось большое пространство чистой воды, и мы надеялись, что в конце концов достигнем его. Идя вдоль края ледника к востоку, мы обнаружили проход шириною в милю, который и прошли к заходу солнца. Море, в которое мы вышли, было усеяно ледяными островами, но свободно от полей, так что мы смело продвигались вперед. Холод, кажется, не усиливается, хотя часто идет снег, а иногда порывы ветра приносят град. Сегодня с юга на север пролетели огромные стаи альбатросов.

Январь, 7 дня. Море сравнительно чисто, и мы без труда следуем своим курсом. На западе заметили несколько айсбергов невероятно больших размеров, а в полдень прошли совсем рядом мимо одного из них, достигающего в высоту не менее четырехсот саженей от поверхности океана. У основания он имел, очевидно, в поперечнике три четверти лиги; по склонам его из расселин бежали потоки воды. Два дня этот гигантский остров оставался в пределах видимости и лишь затем скрылся в тумане.

Январь, 10 дня. Рано утром случилось несчастье: упал за борт человек. Это был американец по

имени Питер Реденбург, уроженец Нью-Йорка, один из самых опытных матросов на шхуне. Взбираясь на нос, он поскользнулся и упал между двумя льдинами — больше мы его не видели.

В полдень мы были на 73°30’ южной широты и 40°15’ западной долготы. Сильный холод, с севера и востока то и дело налетает град. На востоке видели несколько огромных айсбергов, и вообще весь горизонт в той стороне застлан громоздящимися друг на друга рядами льда. Вечером мимо нас проплыли какие-то деревянные обломки, и снова множество направляющихся к северу птиц — исполинские буревестники, качурки, альбатросы, а также неизвестная большая птица с ярко-синим оперением. Магнитное склонение меньше, чем было до того, как мы пересекли Южный полярный круг.

Январь, 12 дня. Наше продвижение к югу снова вызывает сомнения: впереди не видно ничего, кроме бескрайнего ледяного пространства и гигантских нагромождений льда, угрожающе нависающих одно над другим. Мы повернули на восток и плыли, рассчитывая найти проход, в течение двух дней.

Январь, 14 дня. Утром достигли западной оконечности ледяного поля, преградившего нам

путь, и, обойдя ее с наветренной стороны, вышли в открытое, без единой льдинки, море. Опустив наш лот на двести саженей, мы обнаружили, что течение отошло к югу со скоростью полмили в час. Температура воздуха — сорок семь градусов, воды — тридцать четыре. Плыли на юг, не встречая сколько-нибудь значительных препятствий, вплоть до шестнадцатого числа, когда в полдень на 42° зап. долготы достигли восемьдесят первой параллели с 21’. Здесь мы снова опустили лот — течение все так же шло на юг, но уже со скоростью три четверти мили в час. Магнитное склонение уменьшилось, воздух мягкий и приятный; термометр поднялся до пятидесяти одного градуса. Льда совершенно нет. Матросы теперь убеждены, что мы достигнем полюса.

Январь, 17 дня. День полон всяких происшествий. С юга летят бесчисленные стаи птиц. Нескольких мы подстрелили, и одна из них, напоминавшая пеликана, имела отличное мясо. Около полудня с верхушки мачты слева по борту заметили небольшую льдину и на ней какое-то крупное животное. Погода была ясная, безветренная, капитан Гай распорядился спустить две шлюпки, чтобы посмотреть животное вблизи. Мы с Дирком Петерсом отправились вместе с

помощником капитана в большой шлюпке. Подплыв к льдине, мы увидели огромного зверя из породы полярных медведей, но гораздо больших размеров, нежели самый крупный из них. Мы были хорошо вооружены и, не колеблясь, напали на животное. Один за другим раздались выстрелы, большинство достигло цели. Пули попали зверю в голову и туловище, но, очевидно, не причинили ему вреда, ибо он бросился с льдины в воду и с раскрытой пастью поплыл к шлюпке, в которой находились мы с Петерсом. Не ожидая такого оборота дела, мы растерялись, никто не был готов сделать второй выстрел и отразить нападение, так что медведю удалось наполовину перевалиться своим огромным туловищем через планшир и схватить одного из матросов за поясницу. Только ловкость и мужество Петерса спасли нас в этих чрезвычайных обстоятельствах от гибели. Вспрыгнув на зверя, он вонзил ему в шею нож, одним ударом повредив спинной мозг. Медведь обмяк и безжизненной тушей скатился в море, увлекая за собой Петерса. Тот вскоре выплыл, ему бросили веревку, которой он перевязал медведя, и сам выбрался из воды. Мы взяли на буксир нашу добычу и с триумфом вернулись на шхуну. Мы измерили тушу медведя — она

достигала полных пятнадцати футов. Шерсть его была чистейшего белого цвета, очень жесткой и слегка завивалась. Кроваво-красные глаза были побольше, чем у полярного медведя, морда тоже более округлая, напоминающая скорее бульдога. Мясо его оказалось нежным, но чересчур жирным и отдавало рыбой, хотя матросы, с аппетитом отведав его, нашли вкусным и питательным.

Едва мы успели подтянуть нашу добычу к борту шхуны, как с марса раздался радостный крик: *«Земля по правому борту!»* Всех охватило восторженное нетерпение, в этот момент с северо-востока как раз поднялся ветер, и скоро мы приблизились к берегу. Это был низкий скалистый островок около лиги в окружности, совершенно лишенный растительности, если не считать каких-то растений, напоминающих кактусы. Если подходить к острову с севера, то видно, как в море выдается странный утес, по форме сильно напоминающий перевязанную кипу хлопка. За этим утесом к западу есть небольшой заливчик, где наши шлюпки и пристали легко к берегу.

У нас не отняло много времени исследовать остров дюйм за дюймом, но мы не нашли ничего достойного внимания, за одним-единственным

исключением. На южном берегу среди груды камней нам попался деревянный обломок, похожий на носовую часть каноэ. На нем сохранились следы резьбы, и капитан Гай уверял даже, что различает изображение черепахи, хотя я не нашел особого сходства. Кроме этого обломка лодки, — если это действительно было так, — мы не обнаружили никаких свидетельств того, что здесь ступала человеческая нога. Вдоль берега виднелось несколько маленьких льдин. Точное расположение этого островка, которому капитан в честь совладельца шхуны дал название острова Беннета, — 82°50’ южн. широты и 42°20’ зап. долготы.

Итак, мы продвинулись к югу на восемь с лишним градусов дальше, чем кто бы то ни было до нас, а перед нами по-прежнему расстилалось открытое море. По мере продвижения постепенно уменьшалось магнитное склонение и, что еще более удивительно, температура воздуха, а впоследствии и воды, неуклонно повышалась. Можно сказать, что погода была даже теплой, и с севера дул устойчивый, но мягкий бриз. Небо, как правило, было безоблачно, и лишь южную часть горизонта иногда, да и то совсем ненадолго застилал легкий туман. Правда, возникли два

препятствия, осложняющих наше положение: у нас было на исходе топливо, и среди членов команды появились признаки цинги. Эти обстоятельства заставляли капитана Гая всерьез подумывать о возвращении, о чем он не раз заводил речь. Что до меня, то, будучи убежден, что, следуя избранным курсом, мы вскоре наткнемся на значительную часть суши, а также имея все основания предполагать, что она окажется не голой бесплодной землей, каковая обыкновенно встречается в высоких полярных широтах, я мягко, но настойчиво внушал капитану мысль о целесообразности идти дальше к югу, по крайней мере в течение еще нескольких дней. Никогда еще перед человеком не открывалась такая волнующая возможность разгадать великую тайну Антарктического континента, и, признаюсь, робость и непредприимчивость нашего командира временами вызывали у меня негодование. Я не мог сдержаться и кое-что высказал ему на этот счет, и полагаю, что именно это и побудило его продолжить плавание. Поэтому, хотя я и не могу не скорбеть по поводу крайне горестных событий и кровопролития, которые имеют первопричиной мои настоятельные советы, в то же время я испытываю известное удовлетворение

при мысли, что содействовал, пусть косвенно, тому, чтобы открыть науке одну из самых волнующих загадок, которые когда-либо завладевали ее вниманием.

18

Январь, 18 дня. Утром погода по-прежнему превосходная, и мы продолжаем свой путь к югу. (Понятие «утро» и «вечер», которыми я пользуюсь, чтобы поелику возможно избежать путаницы, не должны быть понимаемы в обычном смысле. В течение уже долгого времени мы не имеем ночи, круглые сутки светит дневной свет. Числа повсюду указаны в соответствии с морским временем, а местонахождение, естественно, определялось по компасу. Хотелось бы также попутно заметить, что я не мору претендовать на безусловную точность дат и координат в первой части изложенного здесь, поскольку я начал вести дневник позже, после событий, о которых идет речь в первой части. Во многих случаях я целиком полагался на память.) Море совершенно спокойно, с северо-востока дует сравнительно теплый ветерок, температура воды пятьдесят три градуса. Мы снова опустили наш лот и на глубине сто пятьдесят саженей снова

обнаружили течение в южном направлении со скоростью одной мили в час. Это постоянное движение воды и ветра к югу вызвало на шхуне разговоры и даже посеяло тревогу, что, как я заметил, произвело впечатление на капитана Гая. Поскольку он был весьма чувствителен к шуткам, мне, однако, удалось в конце концов высмеять его страхи. Склонение компаса совсем незначительно. В течение дня видели несколько больших китов, над судном то и дело проносились альбатросы. Подобрали в море какой-то куст с множеством красных ягод, напоминающих ягоды боярышника, а также труп неизвестного сухопутного животного. В длину оно достигало трех футов, но в высоту было всего лишь шесть дюймов, имело очень короткие ноги и длинные когти на лапах ярко-алого цвета, по виду напоминающие коралл. Туловище его покрыто прямой шелковистой белоснежной шерстью. Хвост фута в полтора длиной суживался к концу, как у крысы. Голова напоминала кошачью, с той только разницей, что уши висели, точно у собаки. Клыки у животного такие же ярко-алые, как и когти.

Январь, 19 дня. Сегодня море приобрело какой-то необыкновенно темный цвет. На 83°20’ южн. широты и 43°5’ зап. долготы впередсмотрящий

снова заметил землю; подойдя поближе, мы увидели, что это — остров, являющийся частью какого-то архипелага. Берега его были обрывистые, а внутренняя часть казалась покрытой лесами, чему мы немало порадовались. Часа четыре спустя мы отдали якорь на глубине десять саженей, на песчаном дне, в лиге от берега, так как высокий прибой и сильная толчея волн то тут, то там вряд ли позволили бы судну подойти ближе к острову. Затем спустили на воду две самые большие шлюпки, и хорошо вооруженный отряд (в котором находились и мы с Петерсом) отправился искать проход в рифах, которые, казалось, опоясывали весь остров. Через некоторое время мы вошли в какой-то залив и тут увидели, как с берега отваливают четыре больших каноэ, наполненные людьми, которые, судя по всему, были вооружены. Мы ждали, пока они подплывут ближе, и так как каноэ двигались очень быстро, то вскоре они оказались в пределах слышимости. Капитан Гай привязал к веслу белый платок, туземцы тоже остановились и все разом принялись громко тараторить, иногда выкрикивая что-то непонятное. Нам удалось лишь различить восклицания: «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Туземцы не умолкали по крайней мере полчаса, зато мы

получили за это время возможность как следует разглядеть их.

Всего в четырех челнах, которые в длину достигали пятнадцати футов, а в ширину были футов пять, насчитывалось сто десять человек. Ростом дикари не отличались от обычного европейца, но были более крепкого сложения. Кожа у них блестящая, черная, волосы — густые, длинные и курчавые. Одеты они в шкуры неизвестного животного с мягкой и косматой черной шерстью, причем последние прилажены не без умения, мехом внутрь, и лишь у шеи, запястьев и на лодыжках вывернуты наружу. Оружием туземцам служили главным образом дубинки из какого-то темного и, очевидно, тяжелого дерева. Некоторые, правда, имели копья с кремневыми наконечниками, а также пращи. На дне челноков грудой лежали черные камни величиной с большое яйцо.

Когда дикари покончили с приветствиями (было ясно, что их тарабарщина предназначалась именно для этой цели), один из них, по всей видимости вождь, встал на носу своего челна и знаками предложил нам приблизиться. Решив, что осмотрительнее держаться на расстоянии, ибо дикари вчетверо превосходили нас числом,

мы сделали вид, что не поняли его знаков. Тогда вождь на своем каноэ двинулся нам навстречу, приказав трем остальным челнам оставаться на месте. Подплывя вплотную к нам, он перепрыгнул на нашу шлюпку и уселся рядом с капитаном Гаем, показывая рукой на шхуну и повторяя: «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Мы стали грести к судну, а четыре каноэ на расстоянии следовали за нами.

Едва мы пристали к шхуне, вождь обнаружил все признаки крайнего удивления и восторга: заливаясь бурным смехом, он хлопал в ладоши, ударял себя по ляжкам, стучал в грудь. Его спутники присоединились к веселью, и несколько минут стоял оглушительный гам. Когда они наконец угомонились, капитан Гай в качестве меры предосторожности приказал поднять шлюпки наверх и знаками дал понять вождю (его звали, как мы вскоре выяснили, Ту-Уит, то есть Хитроумный), что может принять на борт не более двадцати человек за один раз. Того вполне устроило это условие, и он отдал какие-то распоряжения своим людям, когда приблизилось его каноэ; остальные три держались ярдах в пятидесяти. Два десятка дикарей забрались по трапу на шхуну и принялись шнырять по палубе,

с любопытством разглядывая каждый предмет корабельного хозяйства и вообще чувствуя себя как дома.

Но оставалось сомнений, что они никогда не видели белого человека, и наша белая кожа, кажется, вызывала у них отвращение. Шхуну они воспринимали как живое существо и старались держать копья остриями вверх, судя по всему, чтобы не задеть ее и не причинить боль. Ту-Уит выкинул одну забавную штуку, и матросы немало потешались над ним. Наш кок колол у камбуза дрова и случайно вогнал топор в палубу, оставив порядочную зарубку. Вождь немедленно подбежал к нему, оттолкнул довольно бесцеремонно в сторону и, издавая то ли стоны, то ли вопли, что, очевидно, должно было свидетельствовать о его сочувствии раненой шхуне, принялся гладить зарубку рукой и поливать ее водой из стоявшего поблизости ведра. Мы никак не ожидали такой степени невежества, а я не мог не подумать, что оно отчасти и притворное.

Когда наши гости удовлетворили, насколько возможно, свое любопытство в отношении всего, что находилось на палубе, им позволили спуститься вниз, где их удивление превзошло все границы. Изумление их было слишком глубоко,

чтобы выразить его словами, и они бродили в полном молчании, изредка прерываемом негромкими восклицаниями. Затем им показали и разрешили внимательно осмотреть ружья, что, конечно, дало им много пищи для размышлений. Я убежден, что дикари нисколько не догадывались о действительном назначении ружей и принимали их за какие-то священные предметы, видя, как бережно мы обращаемся с ними и как внимательно следим за их движениями, когда они берут их в руки.

При виде пушек изумление их удвоилось. Они приблизились к ним с величайшим почтением и трепетом, но от подробного осмотра отказались. В кают-компании висели два зеркала, и вот тут-то изумление их достигло предела. Ту-Уит первым из них вошел в кают-компанию; он был уже в середине помещения, стоя лицом к одному зеркалу и спиной к другому, прежде чем заметил их, Когда он поднял глаза и увидел свое отражение в зеркале, я подумал, что он сойдет с ума, но когда, резко повернувшись, он бросился вой и тут же вторично увидел себя в зеркале, висящем напротив, — я испугался, что он тут же испустит дух. Никакие уговоры посмотреть еще раз на зеркало не подействовали — он бросился на пол и лежал

без движения, закрыв лицо руками, так что мы были вынуждены вынести его на палубу.

Так, группами по двадцать человек, все дикари поочередно побывали на шхуне, и лишь Ту-Уит оставался на борту все это время. Наши гости не предпринимали никаких попыток стянуть что-либо, да и после их отплытия мы не обнаружили ни одной пропажи. Вели они себя вполне дружелюбно. Были, правда, в их поведении кое-какие странности, которые мы никак не могли взять в толк, — например, они ни за что не хотели приближаться к нескольким самым безобидным предметам, таким, как паруса, яйцо, открытая книга или миска с мукой. Мы попытались выяснить, нет ли у них каких-либо предметов для торговли, но они плохо понимали нас. Тем не менее нам удалось узнать, что острова, к большому нашему удивлению, изобилуют большими галапагосскими черепахами, одну из которых мы уже видели в каноэ Ту-Уита. У одного из дикарей в руках было несколько трепангов — он жадно пожирал их в сыром виде. Эти аномалии (если принять во внимание широту, на которой мы находились) вызвали у капитана Гая желание тщательно исследовать остров с целью извлечь выгоду из своих открытий. Что касается меня,

то, как мне ни хотелось побольше узнать об этих островах, все же я был настроен без промедления продолжать наше путешествие к югу. Погода стояла чудесная, но сколько она продержится — было неизвестно. Достичь восемьдесят четвертой параллели, иметь перед собой и открытое море, и сильное течение к югу, и попутный ветер, и в то же время слышать о намерении остаться здесь дольше, чем это совершенно необходимо для отдыха команды и пополнения запасов топлива и провизии, — было от чего потерять терпение! Я доказывал капитану, что мы можем зайти на острова на обратном пути и даже перезимовать здесь, если нас задержат льды. В конце концов он согласился со мной (я и сам хорошенько не знаю, каким образом приобрел над ним такое влияние), и было решено, что даже если мы обнаружим трепангов, то пробудем здесь неделю, чтобы восстановить силы, а затем, пока есть возможность, двинемся дальше на юг. Мы сделали соответствующие приготовления, провели с помощью Ту-Уита «Джейн» между рифами и встали на якорь в миле от берега у юго-восточной оконечности самого крупного в группе острова, в удобной, окруженной со всех сторон сушей бухте глубиной в десять саженей и с черным песчаным

дном. В глубине бухты, как нам сообщили, были три источника превосходной воды, а кругом стояли леса. Четыре каноэ с туземцами следовали за нами, держась, однако, на почтительном расстоянии. Сам Ту-Уит был на шхуне и, когда мы бросили якорь, пригласил нас спуститься на берег и посетить его деревню в глубине острова. Капитан Гай принял предложение; оставив десяток дикарей в качестве заложников, мы группой из двенадцати человек приготовились сопровождать вождя. Хорошенько вооружившись, мы отнюдь не показывали вида, что не доверяем хозяевам. Во избежание всяких неожиданностей на шхуне выкатили пушки, подняли абордажные сети и приняли другие меры предосторожности. Помощник капитана получил указания не допускать в наше отсутствие ни единого человека на борт шхуны и, если через двенадцать часов мы не вернемся, послать на поиски вокруг острова шлюпку с фальконетом.

Мы шли в глубь острова, и с каждым шагом в нас крепло убеждение, что мы попали в страну, совершенно отличную от тех, где ступала нога цивилизованного человека. Все, что мы видели, было незнакомо и неизвестно нам. Деревья ничем не напоминали растительность тропиче-

ского, умеренного, суровых полярных поясов и были совершенно не похожи на произрастающие в южных широтах, которые мы уже прошли. Скалы и те по составу, строению и цвету были не такие, как обыкновенно. И, что уж совсем невероятно, даже реки имели так мало общего с реками в других климатических зонах, что мы поначалу не решались отведать здешней воды и вообще не могли поверить, что ее особые свойства — естественного происхождения. Ту-Уит со своими спутниками остановился у небольшого ручейка, пересекавшего нашу тропу, — первого на пути, где мы могли утолить жажду. Вода была какого-то странного вида, и мы не последовали его примеру, предположив, что она загрязнена, и лишь впоследствии мы узнали, что она именно такова на всех островах архипелага. Я затрудняюсь дать точное представление об этой жидкости и уж никак не могу сделать это, не прибегая к пространному описанию. Хотя на наклонных местах она бежала с такой же скоростью, как и простая вода, но не растекалась свободно, как обычно бывает с последней, за исключением тех случаев, когда падала с высоты. И тем не менее остается фактом, что она была столь же мягкая и *прозрачная*, как и самая чистая извест-

ковая вода на свете, — разница была только во внешнем виде. С первого взгляда, и особенно на ровном месте, она по плотности напоминала гуммиарабик, влитый в обычную воду. Но этим далеко не ограничивались ее необыкновенные качества. Она отнюдь *не была* бесцветна, но не имела и какого-то определенного цвета; она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, как переливаются тона у шелка. Это изменение красок так же поразило наше воображение, как и зеркало невежественный ум Ту-Уита. Набрав в посудину воды и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различимых струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались и что сила сцепления частиц в той или иной прожилке несравненно больше, чем между отдельными прожилками. Мы провели ножом поперек струй, и они немедленно сомкнулись, как это бывает с обыкновенной водой, а когда вытащили лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделялись друг от друга, и лишь спустя некоторое время сила сцепления сливала их вместе. Это явление

было первым звеном в длинной цепи кажущихся чудес, которые волею судеб окружали меня в течение длительного времени.

19

Нам понадобилось почти три часа, чтобы добраться до деревни, ибо располагалась она в добрых девяти милях от моря, а тропа проходила по пересеченной местности. По мере того как мы продвигались в глубь острова, почти у каждого поворота, как бы случайно, к отряду Ту-Уита, состоявшему из ста десяти туземцев, которые находились в челнах, примыкали небольшие группы от двух до шести-семи человек. Мне почудился в этом определенный замысел, который вызвал у меня тревогу, чем я и поделился с капитаном Гаем. Отступать, однако, было поздно, и мы решили, что всего безопаснее делать вид, будто мы вполне доверяемся Ту-Уиту. Поэтому мы продолжали идти плотной группой, не давая дикарям разделить нас и зорко следя за их передвижениями.

Пройдя затем какое-то ущелье с крутыми склонами, мы наконец достигли местности, где, как нам сказали, и располагалось единственное поселение на острове. Когда оно показалось вдали,

вождь что-то закричал, повторяя слово «Клок-клок», что означало, очевидно, название деревни или родовое понятие деревни вообще.

Жилища являли собой самое жалкое зрелище и, в отличие от построек даже у самых низших рас, известных человечеству, не имели никакого единообразия. Некоторые, принадлежащие, как мы узнали, «вампу» или «ямну», то есть старшинам острова, представляли собой дерево, срубленное на высоте фута четыре от земли, с накинутой поверх сучьев большой черной шкурой, свободно свисающей до земли. Под ней и ютились дикари. Другие были устроены из ветвей с засохшей листвой, прислоненных под углом сорок пять градусов к бесформенным кучам глины, кое-как накиданным до высоты в пять-шесть футов. Третьи были простые ямы, вырытые в земле, также покрытые ветвями, которые туземцы, проникая в жилище, отодвигали в сторону, а потом возвращали на место. Попадались и такие, которые были сооружены на деревьях, среди густых ветвей, причем верхние частично подрубались и пригибались книзу, чтобы сделать лучше укрытие от непогоды. Большинство жилищ представляло собой неглубокие пещеры, выдолбленные в крутых уступах гряды из темного камня, которая

с трех сторон окружала деревню. Перед каждой пещерой валялся небольшой валун, которым обитатель, покидая свое жилище, аккуратно заставлял вход, — и я так и не понял, зачем это делается, ибо валун закрывал самое большее лишь треть отверстия.

Деревня — если можно так назвать это жалкое поселение — располагалась в неглубокой долине, попасть в которую можно только с юга, так как доступ с остальных сторон преграждала упомянутая крутая гряда. Посреди долины бежал журчащий ручей с той же волшебной водой, которую я уже описывал. Подле жилищ мы увидели несколько неизвестных животных, по-видимому приручённых. Самые большие из них по строению туловища и головы напоминали обыкновенную нашу свинью, однако имели пушистый хвост и тонкие, как у антилопы, ноги. Передвигались они медленно и неуклюже, и мы ни разу не видели, чтобы они бегали. Были также другие животные, похожие на этих, однако гораздо большей длины и с черной шерстью. Вокруг во множестве копошилась домашняя птица, которая, по всей видимости, и служила туземцам главной пищей. К нашему удивлению мы заметили среди птиц и черных альбатросов, очевидно совершенно

одомашненных: временами они летали в море за добычей, но неизменно возвращались, как домой, в деревню. Южный берег острова они использовали для гнездования и размножения. Здесь к ним присоединялись, как это часто случается, их друзья пеликаны, однако последние никоим образом не допускались к жилищам дикарей. В числе другой домашней птицы можно упомянуть утку, мало чем отличающуюся от той, что водится у нас, черного баклана и какую-то птицу, отдаленно напоминающую сарыча, но не хищную. Остров, по всей видимости, изобиловал рыбой. Во время посещения деревни мы видели много сушеной семги, трески, голубых дельфинов, макрели, скатов, морских угрей, лобанов, морских языков, триглы, мерлузы, камбалы и всяких других разновидностей рыбы. Мы обратили внимание, что большая часть рыбы похожа на ту, что водится у островов Лорда Окленда, то есть на такой низкой широте, как пятьдесят первая параллель. Немало было здесь и галапагосских черепах. Дикие животные нам попадались редко, да и то некрупные и неизвестных пород. Раз или два мы встретили на тропе змей страшного вида, но туземцы не обращали на них никакого внимания, из чего мы заключили, что они не

ядовитые.

Когда мы с Ту-Уитом и его отрядом приблизились к деревне, навстречу нам с громкими криками, в которых мы различили неизменные «Анаму-му!» и «Лама-лама!», высыпала огромная толпа. Нас удивило, что, за одним-двумя исключениями, обитатели деревни были совершенно голые, а шкуры носили только те, которые находились в челнах. В их же распоряжении было, очевидно, и все оружие, ибо встречавшие нас были безоружны. В толпе было очень много детей и женщин, причем последние были не лишены своеобразной прелести; высокие, стройные, с хорошей фигурой, с изящной и свободной осанкой, чего не встретишь у женщин в цивилизованном обществе. Внешность их портили губы, толстые и малоподвижные, как и у мужчин, так что зубы не обнажались даже при улыбке. Волосы у них, однако, были мягче, чем у мужчин. В толпе голых обитателей деревни выделялось человек десять, которые были одеты, как и воины Ту-Уита, в черные шкуры и вооружены копьями и увесистыми дубинками. Судя по всему, это были влиятельные люди, к которым неизменно обращались с почтительным титулом «вампу». Они-то и жили в дворцах из черных шкур. Обиталище Ту-Уита

располагалось в центре деревни, было просторнее и устроено лучше, чем другие жилища такого же рода. Деревья, служившие подпоркой, были срублены на расстоянии футов двенадцати от комля, а пониже оставлено несколько ветвей в качестве распорок для крыши, которая состояла из четырех скрепленных деревянными иглами больших шкур, которые держались внизу кольями, вбитыми в землю. Сухие листья застилали ковром пол.

Нас торжественно провели в эту хижину, а за нами втиснулись в огромном количестве и дикари. Ту-Уит уселся прямо на кучу листьев и знаком предложил последовать его примеру, что мы и вынуждены были сделать, оказавшись в весьма невыгодном, если не критическом, положении. Мы, двенадцать человек, сидели на земле, а вокруг на корточках расположились человек до сорока дикарей, сгрудившись так, что в случае необходимости мы не смогли бы ни пустить в ход оружие, ни даже подняться на ноги. Теснота была неимоверная не только в хижине, но и снаружи, где собралось, пожалуй, все население острова, и только сердитые оклики Ту-Уита помешали толпе затоптать нас до смерти. Главным залогом нашей безопасности было присутствие среди

нас Ту-Уита, и мы решили держаться как можно ближе к нему, дабы иметь возможность сделать роковой выбор, покончив с ним на месте при первом же проявлении враждебного умысла.

После должной суматохи и шума установилась сравнительная тишина, и вождь обратился к нам с пространной речью, напоминающей произнесенную им с каноэ, с той только разницей, что восклицание «Анаму-му!» повторялось немного чаще и громче, чем «Лама-лама!». Мы выслушали его в глубоком молчании до конца, а затем капитан Гай держал ответную речь, заверив вождя в неизменной преданности и расположении и завершив ее тем, что сделал хозяину презент — несколько ниток голубых бус и нож. При виде бус правитель, нам на удивление, презрительно вздернул голову, зато нож доставил ему истинное удовольствие, и он тут же распорядился насчет обеда. Еду подали в хижину через головы всех собравшихся — она представляла собой еще дымящиеся внутренности неизвестного животного, — быть может, одной из тех тонконогих свиней, которых мы видели, подходя к деревне. Заметив, что мы не знаем, как приступить, он, подавая нам пример, принялся пожирать ярд за ярдом соблазнительно разложенные кишки, —

мы решительно не могли выдержать это зрелище и обнаружили явные позывы к рвоте, каковые вызвали у его величества удивление, почти равное тому, какое он обнаружил, поглядев в зеркало. Как бы то ни было, мы наотрез отказались от предложенных деликатесов, сославшись на отсутствие аппетита, поскольку совсем недавно имели плотный dejeuner[13].

Когда правитель покончил с едой, мы начали расспросы самыми хитроумными способами, какие приходили в голову, пытаясь выяснить, какие товары имеются на острове и могли бы мы рассчитывать на выгодную сделку. В конце концов вождь как будто понял, чего мы от него добиваемся, и вызвался сопровождать нас к той части побережья, где, по его уверениям, в изобилии водятся трепанги — тут он показал на них. Мы были рады подвернувшемуся случаю вырваться из толпы и изъявили готовность отправиться немедленно. Мы вышли из хижины и, сопровождаемые всеми обитателями деревни, последовали за вождем на юго-восточную оконечность острова, недалеко от залива, где стояла на якоре наша шхуна. Мы прождали с полчаса,

[13] Сноски: 13
Завтрак (*фр.*).

пока дикари не перегнали сюда четверку челнов. Наша группа заняла места в одном из них, и нас повезли вдоль гряды рифов, о которых я упоминал, а потом дальше, к следующей гряде, где мы и увидали такое количество трепангов, какого не видели старейшие среди нас мореходы даже в тех, более низких широтах, какие особенно знамениты этим промыслом. Мы пробыли здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы убедиться, что при желании этой ценнейшей добычей можно без труда загрузить дюжину судов. Затем поднялись на шхуну и расстались с Ту-Уитом, взяв с него обещание в течение суток доставить нам уток и галапагосских черепах, сколько поднимут его каноэ. Во время вылазки на остров мы не заметили в поведении дикарей ничего такого, что могло бы вызвать подозрения, за единственным, пожалуй, исключением — той систематичности, с какой пополнялся их отряд по пути в деревню.

20

Вождь дикарей оказался верным своему слову, и скоро мы имели обильный запас свежей провизии. Черепаха была на редкость вкусна, а утка, с ее нежным и сочным мясом, превосхо-

дила все лучшие виды нашей дичи. Кроме того, дикари, когда мы втолковали им, что нам нужно еще, привезли много коричневого сельдерея и лука, а также полный челн свежей и вяленой рыбы. Сельдерей был настоящим лакомством, а лук — незаменимым средством для тех матросов, у которых появились симптомы цинги. В самое короткое время у нас совсем не осталось больных. Запаслись мы вдоволь и другими свежими продуктами, среди которых можно упомянуть какую-то разновидность моллюска, напоминающего формой мидию, но имеющего вкус устрицы, креветки, яйца альбатроса и какой-то другой птицы с темной скорлупой. Помимо всего прочего мы взяли на борт порядочный запас мяса той самой свиньи, о которой я упоминал. Большинству оно показалось вполне съедобным, но лично я решил, что оно отдает рыбой и вообще невкусно. Взамен мы дали туземцам бусы, медные безделушки, гвозди, ножи, куски красной материи, так что они остались вполне довольны сделкой. На берегу под самыми дулами наших пушек мы открыли настоящий рынок, торговля шла, к взаимному удовольствию, бойко и без особого беспорядка, чего мы никак не ожидали, судя по поведению дикарей в деревне Клок-клок.

Итак, несколько дней дела шли вполне полюбовно, группы туземцев часто бывали на шхуне, а группы наших людей сходили на берег, совершая длинные прогулки в глубь острова и не испытывая ни малейших неприятностей. Капитан Гай понял, что благодаря дружескому расположению островитян и готовности всячески помочь нам в сборе трепангов он без труда загрузит ими шхуну, и потому решил вступить в переговоры с Ту-Уитом относительно постройки подходящих помещений для заготовления товара, а также найма его самого и его соплеменников для собирания как можно большего количества моллюска, он же тем временем воспользуется хорошей погодой и продолжит плавание к полюсу. Когда он изложил этот план Ту-Уиту, тот, казалось, был готов прийти к соглашению. Стороны, к обоюдному удовольствию, заключили сделку, договорившись, что после необходимой подготовки, то есть выбора и расчистки хорошего участка, возведения части строений и другой работы, в которой потребуется участие всей команды, шхуна проследует по намеченному маршруту, а на острове останутся трое наших людей, которые будут надзирать за постройкой и обучать туземцев сушке трепангов. Вознагра-

дение дикарям зависело от их старательности в наше отсутствие. За несколько пикулей высушенных трепангов, которые будут готовы к нашему возвращению, им полагалось получить определенное количество бус, ножей, красной материи и тому подобных товаров.

Поскольку читателям, может быть, небезынтересно узнать об этом ценном животном и способе его приготовления для продажи, вполне уместно сообщить здесь соответствующие сведения. Нижеследующее обстоятельное изложение предмета заимствовано из недавнего отчета о путешествии в Южный океан:

«Этот моллюск, обитающий в Индийском океане, известен под промысловым французским названием bouche de mer (морское лакомство). Если я не ошибаюсь, знаменитый Кювье[14] называет его gasteropoda pulmonifera. Он в изобилии водится и на побережьях тихоокеанских островов, где его собирают специально для китайских купцов, у которых он идет по очень высокой цене, не уступающей, пожалуй, стоимости съедобных птичьих гнезд, о которых так много нынче говорят и которые, очевидно, как раз и делаются

[14] Сноски: 14

Жорж Кювье (1769–1832) — французский естествоиспытатель. Имеется в виду его книга «Записки об истории и анатомии моллюсков» (1817).

из студенистого вещества, доставаемого некоторыми ласточками из тела этих своеобразных животных. У них нет ни раковины, ни ног, вообще никаких конечностей, а только ротовое и заднепроходное отверстие; посредством гибких колец, как у гусениц или червей, они заползают в мелководье, где во время отлива их и настигают ласточки; вонзая свой острый клюв в их нежное тельце, они вытягивают клейкое волокнистое вещество, которое, засыхая, образует прочные стенки гнезд. Отсюда и название gasteropoda pulmonifera.

Эти моллюски имеют продолговатую форму и бывают самых разных размеров — от трех до восемнадцати дюймов в длину, а я видел несколько особей, которые достигали двух футов. В поперечнике они почти круглые, от одного до восьми дюймов толщиной, но немного приплюснутые с одной стороны, той самой, которая обращена ко дну. Они собираются в неглубоких местах в определенное время года — очевидно, для размножения, так как часто их находят парами. Когда солнце сильно нагревает воду, они движутся к берегу и нередко заползают на такие мелкие места, что при отливе остаются на суше под лучами солнца. Мы ни разу не видели на мелководье

потомства этих моллюсков, — наверное, его оставляют на глубине, откуда выползают только взрослые особи. Питаются они преимущественно теми видами зоофитов, из которых образуются кораллы.

Трепангов собирают обычно на глубине трех-четырех футов. На берегу их надрезают с одного конца ножом (величина надреза зависит от размера моллюска) и через это отверстие выдавливают внутренности, которые ничем почти не отличаются от внутренностей других низших обитателей морских глубин. Затем их промывают, проваривают при определенной температуре, которая не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой, зарывают на четыре часа в землю, снова кипятят в течение недолгого времени, после чего сушат на огне или на солнце. Особенно ценятся те, что провялены на солнце, но за то время, которое требуется, чтобы приготовить один пикуль (133⅓ фунта) на солнце, на огне можно приготовить тридцать пикулей. Хорошо провяленные моллюски могут безболезненно сохраняться в сухом месте два-три года, правда, раз в несколько месяцев, скажем четырежды в год, необходимо следить, не завелась ли там сырость.

Как я уже сказал, китайцы считают трепангов

особым деликатесом, полагая, что он самым чудесным образом придает силы, обновляет организм и восстанавливает энергию при половом истощении. В Кантоне первый сорт продается по девяносто долларов за пикуль, второй сорт стоит семьдесят пять долларов, третий сорт — пятьдесят, четвертый — тридцать, пятый — двадцать, шестой — двенадцать, седьмой — восемь и восьмой сорт — четыре доллара за пикуль. Небольшие партии этого товара нередко отправляют в Манилу, Сингапур и Батавию».

Соглашение, таким образом, вступило в силу, и мы немедля сгрузили на берег все необходимое для расчистки участка и возведения построек. Около восточного берега залива, где было достаточно леса и воды, и на сравнительно небольшом расстоянии от главных рифов, где было намечено собирать трепангов, была выбрана большая ровная площадка. Затем все усердно принялись за работу и вскорости, к величайшему удивлению дикарей, свалили несколько больших деревьев, быстро обтесали бревна для каркасов, и через два-три дня постройки выросли уже настолько, что мы спокойно могли поручить закончить эту работу троим матросам, которые добровольно вызвались остаться на острове. Это были Джон

Карсон, Элфрод Харрис и Петерсон, все трое, если не ошибаюсь, уроженцы Лондона.

К концу месяца все было готово для отплытия. Мы, правда, согласились нанести прощальный визит в деревню, и Ту-Уит так упорно настаивал на том, чтобы мы сдержали свое обещание, что нам показалось неблагоразумным рисковать, оскорбляя его своим отказом. Убежден, что в те дни ни у кого из нас не было ни тени сомнения в добропорядочности дикарей. Они были неизменно обходительны, охотно помогали нам в работе, предлагали всякую всячину, причем часто бесплатно, и, с другой стороны, не стянули у нас ни единой вещицы, хотя по бурным проявлениям восторга, с каким они принимали наши подарки, можно судить, как высоко они ценили имеющиеся у нас товары. Особой услужливостью во всех отношениях отличались женщины, и вообще мы были бы самыми неблагодарными существами на свете, если бы допустили мысль о вероломстве людей, которые так хорошо относились к нам. Однако потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что за этим внешне дружеским расположением таился глубоко продуманный план нашего уничтожения и что островитяне, которые столь высоко стояли в нашем мнении,

оказались самыми жестокими, коварными и кровожадными негодяями, какие когда-либо оскверняли лик нашей планеты.

Первого февраля мы сошли на берег, чтобы отправиться в деревню. Хотя, как уже было сказано, мы не питали ни малейшего подозрения в отношении туземцев, мы отнюдь не пренебрегли самыми необходимыми мерами предосторожности. На шхуне осталось шесть человек, и им были даны указания не покидать палубы и ни под каким видом не допускать приближения туземцев к судну. Мы подняли абордажные сети, забили в пушки двойные заряды картечи, зарядили фальконеты мушкетными пулями. Шхуна стояла с якорем на панере (якорный канат был выбран до предела) в миле от берега, так что ни единый челн не мог подойти не замеченным и не попасть немедленно в поле обстрела наших фальконетов.

Без шести матросов, оставленных на шхуне, наша партия насчитывала тридцать два человека. Мы были вооружены до зубов ружьями, пистолетами и тесаками, у каждого, кроме того, был длинный морской нож, напоминающий охотничий, столь распространенный у нас в западных и южных штатах. На берегу нас встретили около

сотни воинов в черных шкурах, чтобы сопровождать нас в деревню. Мы не без удивления заметили, что они были безоружны, и на наш вопрос Ту-Уит коротко ответил, что «Матти нон уи па на си», что означало: там, где все братья, зачем оружие. Мы приняли его слова за чистую монету и отправились в путь.

Мы миновали источник и ручей, о которых я упоминал, и вошли в узкое ущелье, ведущее сквозь гряду скал из мыльного камня, окружающую деревню. Ущелье было неровное, каменистое, так что мы с трудом пробрались сквозь него во время нашего первого посещения Клокклок. Общая его длина — полторы-две мили; очевидно, в стародавние времена это было ложе огромного потока, оно шло немыслимыми изломами между утесами, так что чуть ли не каждые двадцать ярдов тропа круто поворачивала в сторону. Почти отвесные склоны на всем протяжении наверняка достигали семидесяти — восьмидесяти футов по вертикали, а в иных местах вздымались до головокружительной высоты, так заслоняя небо, что на тропу едва проникал дневной свет. Ширина ущелья была около сорока футов, но временами резко уменьшалась, и там могло пройти лишь пять-шесть человек в ряд. Короче говоря, на це-

лом свете не найти было более удобного места для устройства засады, и, входя в ущелье, мы, естественно, тщательно осмотрели наше оружие. Когда я думаю о том, какую чудовищную глупость мы совершили, приходится только удивляться, как мы вообще рискнули отдаться во власть дикарей, позволив им во время продвижения по ущелью идти и впереди и позади нас. Тем не менее мы слепо подчинились этому порядку, доверчиво полагаясь на нашу численность, на то, что Ту-Уит и его люди не были вооружены, на действенность нашего огнестрельного оружия, еще неизвестного дикарям, и главным образом на то, что в течение долгого времени эти гнусные негодяи выставляли себя нашими друзьями. Пятеро или шестеро из них шли впереди, словно показывая дорогу и с нарочитым усердием расчищая тропу от больших камней и веток. Затем следовала наша группа. Мы шли плотным строем, следя за тем, чтобы нас не разъединили. Соблюдая необыкновенный порядок и торжественность, шествие замыкал основной отряд дикарей.

Дирк Петерс, матрос Уилсон Аллен и я шли справа от наших товарищей, рассматривая необычайное залегание пород в нависающем склоне. Наше внимание привлекла какая-то рас-

селина, достаточно широкая, чтобы пробраться одному человеку, и уходившая прямо футов на восемнадцать — двадцать вглубь, а затем поворачивающая налево. Высота ее, насколько мы могли судить со своего места, была, наверное, футов шестьдесят или семьдесят. Из трещин на склонах расселины торчало несколько кустов с плодами, напоминающими наши лесные орехи. Мне захотелось отведать их — я быстро пролез в расселину, сорвал целую горсть, но, повернувшись, увидел, что Петерс и Аллен последовали моему примеру. Я сказал, что им надо вернуться, потому что двоим здесь не разойтись, а орехов хватит, чтобы попробовать всем. Они стали выбираться наружу, Аллен был уже у края расселины, как вдруг я почувствовал сильнейший, ни с чем не сравнимый толчок, внушивший мне смутную мысль, — если я вообще успел о чем-то подумать в тот момент, — что земной шар раскололся и настал конец света.

21

Когда ко мне вернулась способность соображать, я понял, что лежу, задыхаясь, в кромешной тьме, заваленный землей, которая продолжает сыпаться со всех сторон, грозя похоронить меня

заживо. Ужаснувшись, я попытался встать на ноги, что мне в конце концов удалось. Я замер на несколько секунд, стараясь сообразить, где я и что со мной произошло. Внезапно поблизости раздались глухие стоны, а затем и едва различимый голос Петерса, молящий о помощи. Я протиснулся на шаг или два вперед и, споткнувшись, свалился прямо на моего спутника, засыпанного землей по пояс, так что он никак не мог выбраться. Собрав все силы, я раскидал землю и помог ему освободиться.

Когда мы оправились от неожиданности и страха и смогли поразмыслить над случившимся, то оба пришли к выводу, что стены расселины, куда мы проникли, обрушились — то ли в результате подземного толчка, то ли под тяжестью собственного веса — и что мы погибли, погребены заживо. Охваченные смертельным ужасом, мы на какое-то время слабовольно поддались отчаянию, которое трудно понять тем, кто не оказывался в подобном положении. Я твердо убежден, что никакое бедствие, выпадающее человеку на его жизненном пути, не причиняет таких безысходных душевных и физических мук, как случай с нами — погребение заживо. Кромешный мрак, окружающий жертву, невозможность вздохнуть

полной грудью, удушающие запахи сырой земли в совокупности со страшным сознанием, что находишься за гранью всякой надежды, что ты мертвец, засыпанный в отведенной тебе могиле, — все это вселяет в душу такую жуть, какую не вынести, не постичь умом.

В конце концов Петерс предложил определить размеры катастрофы и исследовать нашу темницу; не исключено, заметил он, что осталось какое-нибудь отверстие, сквозь которое можно выбраться на свободу. Я ухватился за эту ниточку надежды и, напрягая все силы, попытался пробиться сквозь осыпающуюся кругом землю. И действительно, едва я сделал один-единственный шаг, как заметил тусклый свет, означавший, что, уж во всяком случае, мы не погибнем от удушья. Это воодушевило нас и позволило надеяться на лучшее. Когда мы перебрались через груду земли и камней, которая преграждала нам путь к свету, стало легче двигаться и дышать: мы сильно мучились от недостатка воздуха. Скоро мы могли уже кое-как различать все вокруг и обнаружили, что находимся у конца расселины, там, где она поворачивала налево. Еще несколько усилий, и мы, достигнув поворота, увидели, к неописуемой нашей радости, какую-то трещину, тянущуюся

высоко вверх под углом градусов сорок пять, а местами и круче. Мы не могли разглядеть края трещины, но, поскольку сквозь нее проникало достаточно света, мы уже почти не сомневались, что наверху — если мы сумеем туда подняться — имеется выход наружу.

И только теперь я вспомнил, что в расселину мы вошли втроем и ничего не знаем о судьбе Аллена. Мы немедленно вернулись за ним. После долгих поисков, сопряженных с опасностью обвала, Петерс крикнул, что нащупал ногу нашего спутника, но он так завален землей и камнями, что вытащить его невозможно. Я убедился, что так оно и есть и жизнь давно покинула Аллена. Исполненные печали, мы вынуждены были оставить тело вашего товарища и вернуться к повороту.

Трещина была достаточно широка, чтобы протиснуться одному человеку, но вскарабкаться наверх мы не смогли и после нескольких безуспешных попыток опять было поддались отчаянию. Я уже говорил, что скалы, между которыми пролегало ущелье, были из какой-то мягкой горной породы, напоминающей мыльный камень. Поэтому стенки нашей трещины были настолько скользкие, особенно если попадалась

сырость, что мы едва могли поставить ногу даже в сравнительно ровных местах; когда же она шла круто, почти вертикально, подъем казался вообще немыслимым. Но отчаяние иногда придает мужества, и мы, вспомнив о тесаках, принялись вырубать ими ступени в мягкой скале; с риском для жизни, цепляясь за куски твердого сланца, кое-где торчащие из породы, мы в конце концов вскарабкались на плоский уступ, откуда был виден клочок голубого неба в конце густо заросшей лесом лощины. Оглядываясь назад, теперь уже не без любопытства, на проделанный нами путь, мы увидели, что трещина совсем свежая, и сделали вывод, что она образовалась от того самого толчка, который так неожиданно настиг нас. Поскольку мы совершенно обессилели, так что едва могли стоять или разговаривать, Петерс предложил позвать наших товарищей на помощь выстрелами из пистолета, которые еще висели у нас за поясом, хотя ружья и сабли мы потеряли в земле на дне пропасти. Последующие события показали, что, прибегни мы тогда к помощи оружия, нам пришлось бы горько раскаяться; к счастью, у меня возникла тень подозрения, что дело нечисто, и мы воздержались от выстрелов, чтобы не выдать дикарям наше местонахождение.

После часового отдыха мы двинулись по лощине и скоро услышали оглушительные крики. Наконец мы выбрались на поверхность — до сих пор наш путь пролегал внизу, под навесом из крутых откосов и свисающей листвы. Мы осторожно прокрались к узкой горловине, откуда вся окружающая местность была видна как на ладони, и в тот же момент буквально с первого взгляда поняли страшную причину обвала.

Площадка, с которой мы вели наблюдения, располагалась неподалеку от самой высокой вершины в горной цепи. Слева от нас, футах в пятидесяти, тянулось ущелье, которым наш отряд шел в деревню. По меньшей мере на добрую сотню ярдов дно его было засыпано гигантской, в миллион тонн, беспорядочной массой земли и камня. Способ, каким дикари устроили этот обвал, был столь же прост, сколь и очевиден, ибо негодяи оставили достоверные следы своего чудовищного злодеяния. В нескольких местах вдоль восточного края пропасти (мы находились на западном) торчали вбитые в землю деревянные колья. В этих местах почва была нетронута, зато на всем протяжении стенки, обнажившейся после обвала, виднелись углубления, как после бура: очевидно, тут были вбиты такие же ко-

лья, какие мы видели, — они располагались на расстоянии ярда друг от друга на протяжении трехсот футов и отстояли от края обрыва футов на десять. На оставшихся кольях болтались веревки из виноградной лозы — наверняка такие же были привязаны к другим кольям. Я уже упоминал о необыкновенной структуре этих гор, а приведенное выше описание глубокой и узкой трещины, благодаря которой нам удалось избежать погребения заживо, даст дополнительное понятие о ней. Скалы состояли из множества как бы наложенных друг на друга пластов, которые раскалывались по вертикали при малейшем естественном толчке. Того же можно достичь сравнительно небольшим усилием.

Для осуществления своих коварных целей дикари и воспользовались этой особенностью. Вколотив цепочку кольев, они частично разрушили несколько слоев почвы, вероятно, на глубину одного-двух футов, а затем у каждого столба поставили по человеку, чтобы по сигналу тащить веревки (привязанные к самым верхушкам и тянущиеся прочь от обрыва); благодаря такому устройству, действующему как рычаг, создалась сила, достаточная, чтобы отколоть верхнюю часть обрыва и сбросить вниз, в ущелье.

Судьба наших несчастных спутников была очевидна. Только нам удалось избежать гибельной катастрофы. Мы были единственные белые люди на острове, оставшиеся в живых.

22

Положение наше было едва ли лучше, чем тогда, когда мы думали, что нам не выбраться из-под обвала. Нас ожидала либо смерть от руки дикарей, либо томительный плен. Правда, мы могли какое-то время скрываться среди труднодоступных гор, а в крайнем случае и в той расселине, из которой только что выбрались, но, когда наступит долгая полярная зима, нам все равно не миновать гибели от холода и голода или в конечном счете нас обнаружат, когда мы попытаемся обеспечить себя самым необходимым.

Равнина буквально кишела дикарями, а с островов, лежащих к югу, на примитивных плотах прибывали все новые и новые толпы, жаждущие, очевидно, участвовать в захвате шхуны и дележе добычи. А «Джейн Гай» спокойно стояла на якоре, и люди на борту, наверное, не подозревали об ожидающей их опасности. Как нам хотелось оказаться в тот момент с ними! Ведь мы могли либо содействовать нашему общему спасению,

либо погибнуть в бою, защищаясь от нападения. Но, увы, у нас не было никакой возможности предупредить их, не подвергнув себя немедленной гибели, а польза от нашего предупреждения весьма и весьма сомнительна. Выстрели мы из пистолета, они, разумеется, поняли бы, что случилось что-то неладное, но все равно не узнали бы, что единственная их возможность спастись в том, чтобы тотчас же выйти в открытое море, что они уже не связаны никакими понятиями чести, что их товарищей нет более в живых. Услышав выстрел, они не сумели бы сделать ничего сверх того, что уже сделано, дабы лучше отразить готовящееся нападение врага. Итак, наш выстрел им не принес бы пользы, а нам причинил бы вред, и по зрелом размышлении мы отказались от этой затеи.

Следующим нашим побуждением было пробиться к морю, захватить один из челнов, стоящих в заливе, и плыть к шхуне. Но скоро стала очевидной полная невозможность этого отчаянного предприятия. Окрестности, как я уже сказал, буквально кишели дикарями, которые прятались в кустах и среди скал, чтобы остаться незамеченными с судна. В непосредственной близости от нас, преграждая единственную дорогу, которой

мы могли попасть на берег в нужном месте, расположился весь отряд воинов в черных шкурах во главе с самим Ту-Уитом — они, по-видимому, ожидали подкреплений, чтобы начать приступ нашей «Джейн Гай». Да и в каноэ, стоящих у берега, находились туземцы, правда, безоружные, но оружие наверняка было где-то припрятано. Поэтому мы были вынуждены не покидать наше укрытие, оставаясь простыми наблюдателями бойни, которая вскорости и разыгралась.

Через полчаса с южной стороны залива показалось шестьдесят — семьдесят не то плотов, снабженных веслами, не то больших плоскодонных лодок, набитых дикарями. У них, по-видимому, не было другого оружия, кроме коротких дубинок и запаса камней. Затем немедленно с противоположной стороны появился другой, более многочисленный отряд, с тем же оружием. Одновременно из кустов в глубине залива тоже высыпали дикари, быстро расселись в четырех каноэ и отвалили от берега. Вся операция заняла столько же времени, сколько я писал эти строки, и в мгновение ока «Джейн Гай» оказалась окруженной головорезами, решившими во что бы то ни стало захватить ее.

Не было ни малейшего сомнения, что им удаст-

ся это сделать. С какой бы отчаянной решимостью ни защищались те шестеро, они не могли выдержать бой при таком неравном соотношении сил, не успели бы даже управиться с пушками. Я не знал, будут ли они вообще оказывать сопротивление, но ошибся: они быстро выбрали якорную цепь и развернули шхуну правым бортом, чтобы встретить огнем каноэ, которые к этому моменту были уже на расстоянии пистолетного выстрела, а плоты — в четверти мили с наветренной стороны. Неизвестно по какой причине, скорее всего из-за нерешительности наших несчастных товарищей, понявших, в какое безвыходное положение они попали, пушечный залп был совершенно безрезультатным. Ни один челн не был поврежден, ни единый дикарь не ранен: картечь ложилась с недолетом и рикошетом перелетала у них над головами. Их поразил только неожиданный грохот и дым, которого было так много, что я даже подумал, не откажутся ли они от своего намерения и не вернутся ли на берег. Впрочем, островитяне так и поступили бы, если бы на шхуне догадались за бортовым залпом сразу же сделать залп из ружей: поскольку челны были совсем рядом, он наверняка произвел бы какие-нибудь опустошения в рядах туземцев,

достаточные хотя бы для того, чтобы остановить их продвижение, а наши тем временем успели бы дать бортовой залп по плотам. Вместо этого они сразу же кинулись на левый борт, чтобы встретить огнем плоты, дав тем самым туземцам в каноэ возможность оправиться от паники и убедиться, что потерь у них нет.

Пушечный залп с левого борта достиг цели. Семь или восемь плотов были разнесены в щепки и на месте убито три-четыре десятка дикарей, кроме того, более сотни были сброшены в воду, многие из них жестоко изувечены. Остальные, напуганные до потери сознания, начали быстро отступать, нисколько не заботясь о своих раненых, которые барахтались в воде и тут и там, оглашая воздух воплями о помощи. Успех пришел, однако, слишком поздно, наши храбрые товарищи уже не могли спастись. Сотни полторы дикарей из челнов были уже на палубе, причем многим удалось вскарабкаться наверх по цепям и веревочным лестницам еще до того, как матросы успели поднести запал к орудиям на левом борту. Ничто уже не могло противостоять слепой ярости дикарей. В одно мгновение наши люди были сбиты с ног, оглушены, растоптаны, разорваны на куски.

Видя все это, дикари на плотах преодолели свой страх и налетели тучей, чтобы не упустить своей доли добычи. Через пять минут красавица «Джейн Гай» являла из-за неистовых бесчинств поистине жалкое зрелище. Палуба была разворочена, канаты, паруса, предметы корабельного хозяйства — все сгинуло как по волшебству. Затем, подталкивая шхуну с кормы, подтягивая канатами с челнов, тысячами плывя по бокам и подпирая борты, дикари наконец вынесли «Джейн» на берег (якорная цепь давно соскользнула в воду) как дань Ту-Уиту, который во время сражения, как и подобает опытному военачальнику, занял наблюдательный пост на приличном расстоянии в горах, но теперь, когда, к его удовольствию, была одержана полная победа, перестал чиниться и вместе со своими приближенными кинулся бегом вниз за добычей.

Теперь, когда Ту-Уит спустился на берег, мы могли выбраться из нашего убежища и сделать небольшую вылазку. Ярдах в пятидесяти от выхода из расселины бил небольшой родничок, и мы утолили мучившую нас жажду. Неподалеку от родничка росло несколько кустов орешника, о котором я говорил выше. Попробовав орехов, мы нашли их вполне съедобными и напоминающи-

ми по вкусу обычный фундук. Мы немедленно наполнили ими наши шляпы, спрятали их в расселине и снова принялись собирать орехи. В этот момент в кустах раздался шорох, едва не заставивший нас отступить к нашему убежищу, и из ветвей медленно, словно бы с усилием, вылетела большая черная птица из породы выпей. Я замер, застигнутый врасплох, но у Петерса хватило сообразительности тут же кинуться вперед и схватить ее за шею. Она отчаянно билась и пронзительно кричала, и мы уже хотели отпустить ее, чтобы не привлечь внимания дикарей, которые могли оказаться поблизости. Последовал, однако, удар тесаком, птица упала на землю, и мы оттащили ее в расселину, поздравляя себя с добычей, которой при всех обстоятельствах могли питаться целую неделю. Затем мы снова отправились на вылазку, рискнув на этот раз отойти на порядочное расстояние вниз по южному склону, но не нашли ничего, что годилось бы в пищу. Тогда мы набрали сухих веток и быстро вернулись в свое убежище, чтобы нас не заметила большая толпа дикарей, которая с награбленным на шхуне добром возвращалась ущельем в деревню. Следующей нашей заботой было как можно лучше скрыть свое убежище, для чего мы прикрыли ветками ту

самую дыру, сквозь которую увидели кусок неба, когда выбрались из трещины на уступ, оставив только небольшое отверстие, чтобы наблюдать за заливом без риска быть замеченными снизу. Мы были вполне удовлетворены своей работой: теперь нас никто не увидит, пока мы будем отсиживаться в расселине и не покажемся на склоне горы. Никаких следов, что здесь кто-нибудь бывал раньше, мы не обнаружили. Вместе с тем, когда мы еще раз взвесили предположение, что трещина, по которой мы пролезли наверх, образовалась в результате обвала и другого пути сюда нет, наша радость, что мы находимся в надежном укрытии, была омрачена сомнением, найдем ли мы вообще способ спуститься вниз. Поэтому при первом удобном случае нужно было тщательно исследовать всю вершину. Пока же мы решили понаблюдать за дикарями через наше отверстие.

Они уже совершенно разбили шхуну и готовились поджечь остов. Через некоторое время из главного люка повалили густые клубы дыма, а затем из бака вырвалось огромное пламя. Сразу же загорелись мачты, оснастка, остатки парусов, и огонь быстро распространился по палубам. Несмотря на это, множество дикарей по-прежнему пытались сбить увесистыми камнями, топорами

и пушечными ядрами металлические части с корпуса. Всего же в непосредственной близости от судна — на берегу, в челнах и на плотах — собралось не менее десяти тысяч: туземцев, не считая толп, которые, нагрузившись трофеями, отправились в глубь острова или переправились на другие острова. Теперь должна была последовать развязка, и мы не ошиблись. Сначала раздался сильный толчок (который мы ощутили в своем укрытии так отчетливо, как будто через нас пропустили заряд электричества), но иных видимых признаков взрыва не было. Перепуганные дикари прекратили галдеть и суетиться. С минуту они выжидали, но едва только снова приступили было к грабежу, как из палубы выбилось облако дыма, тяжелого и черного, словно грозовая туча, потом из его недр на добрые четверть мили вверх взвился огненный столб, который тут же распространился полукружьем, затем в одно мгновение весь воздух вокруг, как по волшебству, усеялся кусками дерева, железа и человеческих тел, и, наконец, раздался такой мощный взрыв, что нас тотчас же сбило с ног; в горах прокатилось громкое эхо, а с неба посыпал густой дождь мелких обломков.

Взрыв произвел опустошение гораздо большее,

чем мы ожидали; дикари по справедливости пожинали плоды своего вероломства. Наверное, целая тысяча погибла при взрыве и столько же было изувечено. Весь залив был буквально усеян утопающими, тем, кто был на берегу, пришлось еще хуже. Дикари пришли в ужас от того, как внезапно и плачевно кончилась их затея, и даже не пытались помочь друг другу. И тут мы заметили какую-то странную перемену в их поведении. После полнейшего оцепенения их охватило вдруг крайнее возбуждение — они как безумные забегали взад и вперед по берегу с оглушительными криками: «Текели-ли! Текели-ли!». На лицах у них были написаны ужас, ярость, удивление.

Затем группа туземцев кинулась в горы и скоро вернулась с деревянными кольями в руках. Они подошли туда, где собралось больше всего народу, толпа расступилась, и мы могли увидеть то, что вызвало эту неистовую неразбериху. На земле лежало что-то белое, но мы не могли сразу разглядеть, что именно. Наконец мы поняли, что это было чучело того самого неизвестного животного с ярко-алыми клыками и когтями, которое мы подобрали в море восемнадцатого января. Тогда капитан Гай распорядился сиять с него шкуру, чтобы набить чучело и увезти в

Англию. Помню, как он давал какие-то указания на этот счет как раз перед тем, как мы прибыли на остров, и чучело принесли к нему в каюту и положили в сундук. Взрывом чучело выбросило на берег, однако мы не понимали, почему оно вызвало такой переполох среди дикарей. Они окружили чучело со всех сторон, хотя никто не осмеливался подойти поближе. Потом туземцы, бегавшие за кольями, обнесли животное частоколом, после чего вся огромная толпа рванулась в глубь острова, оглашая воздух криками: «Текели-ли! Текели-ли!»

23

В течение шести-семи последующих дней мы оставались в нашем убежище, выходя лишь изредка, да и то с величайшими предосторожностями, за водой и орехами. Соорудив на площадке шалаш, мы настлали туда сухих листьев для постели и вкатили три больших плоских камня, которые служили нам и очагом и столом. Без особого труда, путем трения друг о друга двух кусков дерева (одного — твердого, другого мягкого) мы раздобыли огонь. У птицы, которую нам посчастливилось поймать, оказалось превосходное мясо, хотя и немного жестковатое. Она не принадле-

жала к семейству морских птиц, а скорее была разновидностью выпи и имела блестящее черное с серым оперение и сравнительно небольшие крылья. Потом мы видели в окрестностях еще трех таких же птиц, которые, очевидно, искали ту, что была поймана нами, но они не опускались на землю, и мы не сумели поживиться добычей.

Пока у нас хватало мяса, мы еще мирились со своим положением, но вот мясо кончилось, и надо было срочно позаботиться о пропитании. Орехи отнюдь не утоляли голод, а, напротив, вызывали резь в желудке, а в больших количествах — и приступы жестокой головной боли. К востоку от вершины, у моря, мы видели крупных черепах, и, если бы нам удалось пробраться туда незамеченными, мы могли бы без труда изловить несколько штук. Поэтому было решено рискнуть и спуститься вниз.

Мы начали спуск по южному склону, который представлялся нам самым пологим, но, когда мы прошли едва ли сотню ярдов (если судить по видимости предметов на вершине), путь нам преградило ответвление от того ущелья, где погибли наши товарищи. Мы прошли по краю обрыва с четверть мили и снова наткнулись на глубокую пропасть; края ее осыпались, и мы были вынуж-

дены вернуться.

Тогда мы спустились по восточному склону, но и здесь нас постигла неудача. Рискуя сломать шею, мы целый час спускались по каким-то откосам, пока не очутились в огромной впадине со стенками из черного гранита, выбраться из которой можно было только той каменистой тропой, какой мы спустились сюда. Поднявшись по ней назад, мы решили попробовать северный склон. Здесь мы должны были соблюдать особую осторожность, так как малейшая оплошность — и мы могли оказаться на виду у всей деревни. Поэтому мы пробирались на четвереньках, а иногда и ползком, подтягиваясь с помощью ветвей кустарника. Преодолев таким образом некоторое расстояние, мы наткнулись на такую глубокую бездну, какой нам еще не встречалось, — она соединялась с главным ущельем. Итак, наши опасения полностью подтвердились: мы были совершенно отрезаны от долины. Вконец выбившись из сил, мы кратчайшим путем возвратились на площадку и, свалившись на нашу постель из листьев, несколько часов проспали беспробудным сном.

Дни после этой безуспешной вылазки были заняты тем, что мы исследовали каждый дюйм

на вершине в поисках чего-нибудь съедобного, но ничего не нашли, если не считать орехов, так дурно действующих на желудок, да клочка земли в двадцать квадратных ярдов, поросшей какой-то кисловатой травой, которой, конечно, не хватит надолго. Если не ошибаюсь, к пятнадцатому февраля не осталось ни травинки, да и орехи стали попадаться гораздо реже; дела наши обстояли как нельзя хуже. (Этот день запомнился тем, что в южном направлении мы заметили огромные клубы сероватых паров, о которых я как-то упоминал.) Шестнадцатого мы еще раз осмотрели стены нашей темницы в надежде найти выход, но безрезультатно.

Спустились мы и в расселину, где нас засыпало, надеясь разыскать какой-нибудь проход в главное ущелье. Но и здесь нас постигла неудача, хотя мы подобрали потерянное там наше ружье.

Семнадцатого числа мы решили более тщательно исследовать колодец с черными гранитными стенами, куда мы спускались в первый раз. Нам запомнилось, что в одной стене была трещина, в которую мы едва заглянули, и сейчас нам хотелось осмотреть ее получше, хотя мы и не очень рассчитывали, что обнаружим там какое-нибудь отверстие.

Как и в прошлый раз, мы спустились в колодец без особого труда и принялись внимательно разглядывать, что он собой представляет. Место это было поистине необыкновенное, и мы едва могли поверить в его естественное происхождение. Если учесть все повороты и изломы, длина шахты от восточной до западной оконечности составляла около пятисот ярдов, хотя по прямой, — как я предполагаю, ибо не имел никаких средств для измерения, — было всего ярдов сорок — пятьдесят. В верхней своей части, приблизительно в сотне футов от вершины, склоны шахты совершенно различны: один из мыльного камня, другой из мергеля с зернистыми металлическими вкраплениями, причем они никогда, видимо, не составляли одно целое. Средняя ширина шахты на этом уровне была, вероятно, футов шестьдесят. Ниже, однако, расстояние между склонами резко сокращается, и они переходят в две отвесных параллельных стены, хотя и из разного материала и с разной формой поверхности. На расстоянии пятидесяти футов от дна начинается их полное соответствие. Обе стены образованы из черного блестящего гранита, и расстояние между ними, несмотря на горизонтальные изломы, повсюду постоянно — двадцать метров.

Точную форму шахты лучше всего понять из чертежа, сделанного мною на месте, — дело в том, что я имел при себе записную книжку и карандаш, которые бережно хранил во время всех последующих приключений и благодаря которым я записал множество подробностей, в противном случае никак не удержавшихся бы в памяти.

Чертеж (см. рис. 1) дает общие очертания шахты, на нем нет небольших углублений, каждому из которых соответствовал бы выступ на противоположной стене.

Дно шахты было покрыто слоем тончайшей, почти неосязаемой пыли толщиной три-четыре дюйма, под которым мы нащупали то же гранитное основание. В правой нижней части чертежа можно заметить нечто вроде отверстия — это была та самая трещина, о которой говорилось выше и которую мы хотели как следует исследовать на этот раз. Мы начали продираться туда сквозь гущу кустарника, ломая ветви, раскидывая по пути груды острых камней, формой напоминающих наконечники от стрел. Слабый свет в дальнем конце коридора придавал нам бодрости. Протиснувшись футов на тридцать вперед, мы оказались под низкой, правильной формы аркой, — тут под

ногами тоже лежал слой пыли. Свет усилился, и за поворотом открылась другая высокая шахта, во всем похожая на первую, но продолговатая. Вот ее очертания (см. рис. 2).

Общая длина этой шахты, если вести отсчет от точки d по дуге b до точки d, составляет пятьсот пятьдесят ярдов. В точке с мы обнаружили небольшое отверстие, похожее на то, которым мы проникли сюда из первой шахты, и оно тоже сплошь заросло кустарником и было засыпано обломками белого камня. Мы одолели и этот проход — он был около сорока футов длиной — и проникли в третью шахту. Она также не отличалась от первой, но была продолговатой формы, как это изображено на рис. 3.

Общая длина ее составляла триста двадцать ярдов. В точке a был проход шириной футов шесть, тянущийся в глубину на пятнадцать футов и упиравшийся в пласты мергеля; другого выхода, как мы надеялись, отсюда не было. Свет сюда еле проникал, и мы уже хотели было возвращаться назад, как Петерс обратил мое внимание на ряд странных знаков, словно бы высеченных в мергеле на задней стене. При некотором усилии воображения левый, но компасу — отстоящий к

северу знак можно было принять за изображение человека, хотя и примитивное, стоящего с протянутой рукой. Остальные отдаленно напоминали буквы, и Петерс был склонен считать их таковыми, хотя и не имел особых оснований. Я, однако, убедил его в том, что он ошибается: рядом, на дне, среди пыли, мы подобрали несколько осколков мергеля, которые как раз подходили к впадинам на стене и, очевидно, отвалились во время какого-нибудь сотрясения; таким образом, фигуры имели естественное происхождение. Рис. 4 в точности воспроизводит их целиком.

Убедившись, что в этих странных галереях нет выхода наружу, мы, удрученные, поднялись на вершину холма. В следующие сутки не произошло ничего знаменательного, если не считать того, что к востоку от третьей шахты мы наткнулись на два глубоких отверстия треугольной формы, тоже имеющих гранитные стенки. Мы решили, что спускаться в них нет смысла, поскольку они представляли собой естественные колодцы и не имели ответвлений. В поперечнике каждый был ярдов по двадцать. Точная форма этих колодцев и их расположение относительно третьей шахты показаны на рис. 5.

24

Двадцатого февраля мы поняли, что на орехах больше не продержимся, не говоря уже о том, что они вызывали жестокую резь в желудке, и решили предпринять отчаянную попытку спуститься в пропасть на южном склоне, ведущую в главное ущелье. Стены ее в этом месте были из мягкого мыльного камня, но почти отвесны до самого дна (глубина по крайней мере сто пятьдесят футов) и даже нависали, как арка. После долгих поисков мы обнаружили узкий выступ футах в двадцати от края пропасти; я держал связанные друг с другом платки, и Петерсу удалось туда спрыгнуть. Когда я, правда с большими трудностями, оказался с ним рядом, мы решили, что спустимся на дно пропасти тем же манером, каким мы выбирались из трещины после обвала, то есть выбивая тесаками ступени в камне. Трудно даже представить риск, на который мы шли, но другого выхода у нас не было, и мы решились.

К счастью, на уступе рос орешник, и мы привязали к кусту нашу сделанную из платков веревку. Другим концом веревки Петерс обвязался вокруг пояса, и я осторожно спустил его на всю ее длину. Он принялся выбивать в стене отверстие

глубиной восемь — десять дюймов, стесывая над ним на целый фут кусок скалы клинообразной формы, после чего рукояткой пистолета прочно загнал этот клин в отверстие. Затем я подтянул его фута на четыре кверху, и он сделал еще одну ступеньку и вбил еще один клин, устроив, таким образом, опоры для рук и для ног. Тогда я отвязал веревку от куста и бросил ему конец, который он прикрепил к первому клину. Потом он снова обвязался веревкой и опустился на полную ее длину, оказавшись фута на три ниже того места, где он стоял. Здесь он выбил третье отверстие и загнал третий камень. Далее Петерс подтянулся по веревке вверх, упираясь ногами в только что сделанную дыру и держась за второй сверху клин. Теперь ему предстояло отвязать веревку от верхнего клина, чтобы прикрепить ко второму, и тут он понял, какую совершил ошибку, выбивая ступени на таком большом расстоянии друг от друга. После нескольких безуспешных и опасных попыток дотянуться до узла (а ему в это время приходилось держаться одной левой рукой, так как правой он намеревался развязать его) он перерезал веревку, оставив кусок дюймов в шесть на клине, и, привязав ее ко второму клину, занял удобное положение под третьим отверстием, но

не слишком низко. Так с помощью клиньев и веревки (этот способ, который родился благодаря изобретательности и решимости Петерса, никогда не пришел бы мне в голову) мой товарищ, цепляясь помимо всего за каждый попадавшийся выступ, благополучно достиг дна.

Не сразу я мог набраться духу, чтобы последовать его примеру, но в конце концов все-таки решился. Еще до того, как пойти на это рискованное предприятие, Петерс снял рубашку, которую я связал с моей собственной, сделав таким образом необходимую для спуска веревку. Сбросив Петерсу найденное в пропасти ружье, я привязал ее к кустам и начал быстро спускаться вниз, пытаясь энергичными движениями преодолеть дрожь, которую я не мог унять никак иначе. Меня хватило, однако, на первые пять-шесть шагов; при мысли о бездне, разверзшейся под ногами, и о ненадежных ступенях и клиньях из мягкого мыльного камня, которые служили единственной мне опорой, воображение мое разыгралось необыкновенно. Напрасно я пытался отогнать эти мысли, вперив взгляд в плоскую поверхность стены прямо перед собой. Чем упорнее я старался *не думать*, тем ужаснее и отчетливее возникали у меня в голове разные видения. Наконец настал

тот момент, столь опасный в подобных случаях, когда мы заранее как бы переживаем ощущения, испытываемые при падении, и ясно представляем себе головокружение и пустоту в животе, и последнее отчаянное усилие, и потемнение в глазах, и, наконец, острое сожаление, что все кончено и ты стремительно летишь головой вниз. Мои фантазии, достигнув критической точки, начали создавать свою собственную реальность, и все воображаемые страхи действительно обступили меня со всех сторон. Я чувствовал, как дрожат и слабеют ноги, как медленно, но неумолимо разжимаются пальцы. В ушах у меня зазвенело, и я подумал: «Это по мне звонит колокол!» Теперь мной овладело неудержимое желание посмотреть вниз. Я не мог, не хотел смотреть больше на стену и с каким-то безумным неизъяснимым чувством, в котором смешался ужас и облегчение, устремил взгляд в пропасть. Тут же мои пальцы судорожно вцепились в клин, и в сознании, как тень, промелькнула едва ощутимая надежда на спасение, но в то же мгновение всю душу мою наполнило желание упасть — даже не желание, а непреодолимая жажда, влечение, страсть. Я разжал пальцы, отвернулся от стены и, раскачиваясь, замер на секунду. Потом сразу

помутилось в голове, в ушах раздался резкий, нечеловеческий голос, подо мной возникла какая-то страшная призрачная фигура, и, тяжело вздохнув, я с замирающим сердцем обрушился прямо к ней на руки.

Я потерял сознание, но Петерс поймал меня. Он следил за мной со дна пропасти и, понимая, что я пал духом, всячески старался приободрить меня, хотя состояние мое было таково, что я не различал его слов и вообще ничего не слышал. Видя, что я вот-вот сорвусь, он поспешил подняться мне на помощь и подоспел вовремя. Если бы я обрушился всем своим весом, веревка наверняка бы лопнула, и я полетел бы в бездну, но он сумел подхватить меня и осторожно спустил на полную ее длину, так что я без чувств повис над пропастью. Минут через пятнадцать я пришел в себя. Страх мой совершенно пропал, я почувствовал себя новым человеком и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз.

Теперь мы были недалеко от ущелья, где погибли наши товарищи, к югу от того места, где произошел обвал. Вокруг расстилалась дикая пустынная местность, вызывающая в памяти нарисованные путешественниками картины запустения там, где некогда находился древний

Вавилон. Не говоря уже об обломках обвалившейся скалы, которые беспорядочной грудой преграждали путь к северу, поверхность земли была усеяна огромными камнями, словно мы находились среди развалин какого-то гигантского сооружения, хотя, конечно, присмотревшись, нельзя было обнаружить никаких следов человеческой деятельности. Повсюду виднелись шлаковые обломки, а также бесформенные гранитные и мергелевые глыбы с металлическими вкраплениями. (Мергель тоже был черный, и вообще мы не видели на острове никаких светлых предметов.) Почва была совершенно бесплодная, куда ни посмотри, без каких бы то ни было признаков растительности. Мы видели несколько чудовищных скорпионов, попадались и другие пресмыкающиеся, каких не встретишь в высоких широтах.

Поскольку прежде всего надо было раздобыть пищу, мы решили направиться к берегу, который был не далее чем в полумиле, намереваясь поймать черепаху, одну из тех, что мы видели из нашего убежища на вершине горы. Прячась между обломками скал, мы осторожно продвинулись на сотню ярдов, как вдруг из какой-то пещеры выскочили пятеро дикарей, и один уда-

ром дубинки тут же свалил Петерса на землю. Все кинулись, чтобы прикончить жертву, и это дало мне возможность опомниться. У меня было ружье, но ствол его был поврежден при падении в пропасть, поэтому я отбросил его за ненадобностью, выхватил пистолеты, которые держал в полном порядке, и бросился на дикарей, сделав несколько выстрелов подряд. Двое упали, а третий, который уже занес копье над Петерсом, в испуге отскочил в сторону. Мой товарищ был спасен, дальнейшее не представляло никакого труда. Он тоже имел при себе пистолеты, но из осторожности решил не стрелять, вполне полагаясь на свою физическую силу, какой я не встречал ни у кого. Выхватив дубинку у одного из упавших, он уложил всех троих, с одного удара проломив каждому череп. Мы одержали полную победу.

Все произошло так быстро, что мы едва могли поверить, что все случившееся было наяву, и стояли над трупами врагов в каком-то отупении, пока раздавшиеся вдали крики не вернули нас к действительности. Очевидно, дикари были растревожены выстрелами и вот-вот обнаружат нас. Мы не могли отступить к горе, так как крики доносились именно оттуда, но, если мы и успеем достигнуть ее подножия, все равно нас увидят,

когда мы будем карабкаться вверх. Положение складывалось опаснейшее, мы лихорадочно соображали, куда скрыться, и в этот момент один из дикарей, в которого я выстрелил и которого считал убитым, вскочил на ноги и хотел бежать прочь. Мы, однако, настигли его через несколько шагов и хотели прикончить, но Петерс решил, что дикарь может пригодиться нам, если мы заставим его бежать с нами. Мы потащили его за собой, дав понять, что при малейшем сопротивлении он будет немедленно убит. Дикарь подчинился, и, скрываясь среди скал, мы бегом направились к берегу.

До сих пор неровная местность почти совсем скрывала от нас море, и оно полностью открылось перед нами лишь тогда, когда мы оказались ярдах в двухстах от него. Выскочив на берег, мы с ужасом увидели толпы дикарей, которые отовсюду бежали к нам с животными воплями и яростно размахивая руками. Мы хотели уже повернуть назад и отступать под прикрытием складок местности, как вдруг за большой скалой, выступающей в море, я заметил пару челнов. Мы кинулись туда со всех ног — у челнов никого не было, а в них лежали три крупных галапагосских черепахи и обычный запас весел гребцов на

шестьдесят. Увлекая за собой нашего пленника, мы вскочили в один из челнов и что было сил принялись грести в открытое море.

Но, отплыв от берега ярдов на пятьдесят и немного успокоившись, мы поняли, какой промах мы допустили, оставив второй челн дикарям, которые к этому времени были лишь вдвое дальше от него, нежели мы, и быстро приближались к желанной цели. Нельзя было терять ни секунды. Надежда опередить была ничтожна, но ничего иного нам не оставалось. Сомнительно, чтобы мы, даже приложив все усилия, сумели подоспеть к челну до них, однако это была единственная возможность спастись. В противном случае нам грозила смерть.

Нос и корма у челна были устроены совершенно одинаково, так что мы не стали его разворачивать, а просто пересели и стали грести в другую сторону. Когда дикари увидели этот нехитрый маневр, их вопли усилились, равно как и скорость, с какой они приближались к челну. Мы отчаянно налегали на весла и прибыли к цели в тот момент, когда ее уже достиг один из туземцев, опередивший остальных. Этот человек дорого поплатился за свое необыкновенное проворство: едва мы коснулись берега, Петерс выстрелил ему

прямо в лицо. Когда мы подоспели к челну, бегущие впереди находились, вероятно, в двадцати или тридцати шагах от нас. Сначала мы хотели оттолкнуть его подальше от берега, чтобы он не достался дикарям, но днище глубоко врезалось в песок, времени уже не оставалось, и тогда Петерс ружейным прикладом вышиб дно у носа и проломил борт. Пока мы сами отталкивались от берега, двое дикарей ухватились за наш челн и упорно держались, так что мы были вынуждены прикончить их ножами. Теперь мы были на плаву и что есть силы гребли в открытое море. Когда дикари толпой подбежали к поврежденному челну, они буквально взвыли от бессильной ярости. Вообще, насколько я могу судить, эти негодяи оказались самыми злобными, коварными, мстительными и кровожадными существами на свете; попади мы им в лапы, пощады нам не было бы. Дикари попытались пуститься за нами вдогонку на дырявом челне, но затея была явно бесполезной, и, снова излив свою ярость в чудовищных воплях, они кинулись в горы.

Итак, мы избежали непосредственной опасности, хотя положение оставалось еще угрожающим. В распоряжении дикарей имелись четыре таких же челна (о том, что два из них разлетелись

в щепки при взрыве «Джейн Гай», мы узнали позже от нашего пленника), и мы решили, что преследование возобновится, как только дикари доберутся до входа в залив, где обычно стояли лодки, — расстояние туда было мили три. Поэтому мы прилагали все силы, чтобы отойти как можно дальше от острова, заставив, разумеется, нашего пленника тоже работать веслом.

Через полчаса, когда мы проплыли пять или шесть миль к югу, из залива появилась целая флотилия плоскодонок. Но, отчаявшись догнать нас, они скоро повернули назад.

25

Итак, мы находились в необозримом и пустынном Антарктическом океане, выше восемьдесят четвертой параллели, на утлом челне и без запасов пищи, если не считать черепах. Не за горами была и долгая полярная зима. Поэтому надо было хорошенько взвесить, куда держать курс. В поле зрения было еще шесть или семь островов, принадлежащих к той же группе, но ни к одному из них мы приставать не хотели. Когда мы шли сюда на «Джейн Гай» с севера, позади нас постепенно оставались наиболее труднопроходимые районы сплошного льда, — как бы этот факт ни

расходился с общепринятыми представлениями об Антарктике, мы убедились в нем на собственном опыте. Попытка пробиться назад, особенно в такое время года, была бы чистейшим вздором. Лишь одно направление сулило какие-то надежды, и мы решили смело плыть к югу, где, по крайней мере, имелась вероятность наткнуться на землю и еще большая вероятность попасть в теплый климат.

До сих пор Антарктический океан, наподобие Арктического, показывал себя с неожиданно хорошей стороны: не было ни жестоких штормов, ни бурных волн, и все-таки наш челн был весьма хрупким, мягко выражаясь, суденышком, несмотря на порядочные размеры, и мы деятельно принялись за работу, намереваясь придать ему как можно большую прочность теми ограниченными средствами, которые были в нашем распоряжении. Корпус челна был сделан из коры неизвестного дерева, а шпангоуты — из крепкой лозы, которая хорошо подходила для этой цели. От носа до кормы челн имел пятьдесят футов, в ширину — четыре — шесть футов, а борта достигали четырех с лишним футов, то есть устройство здешних лодок сильно отличалось от тех, какими пользуются другие обитатели Южного океана,

известные цивилизованным нациям. Они никак не могли быть делом рук невежественных островитян, которые владели ими, и несколько дней спустя из расспросов нашего пленника мы узнали, что они сделаны туземцами с островов, лежащих к юго-западу от того, где мы были, и нашим варварам достались случайно. Как могли, мы постарались сделать ее более пригодной для плавания в океане. Разорвав суконную куртку, мы законопатили щели, обнаруженные на носу и на корме. Из лишних весел мы соорудили каркас на носу, чтобы гасить силу волн, накатывающихся с той стороны. Два весла пошли на мачты — мы поместили их на планшире друг против друга, обойдясь, таким образом, без рей. К этим самодельным мачтам был затем прикреплен парус из наших рубашек, что мы проделали не без труда: наш пленник наотрез отказался помогать нам, хотя охотно участвовал в других работах. Очевидно, белая материя вселяла в него невероятный страх. Он боялся не только взять ее в руки, но даже приблизиться к ней, а когда мы хотели заставить его силой, он задрожал с головы до ног и завопил: «Текели-ли!»

Оснастив по мере возможности наш челн, мы повернули на юго-восток, чтобы обойти с

наветренной стороны самый южный остров из видневшейся на горизонте группы, и лишь после этого взяли курс прямо на юг. Погода стояла вполне сносная. С севера почти постоянно дул мягкий ветер, круглые сутки мы имели дневной свет, море было спокойно и совершенно свободно ото льда. Вообще я не видел ни одной льдины после того, как мы пересекли параллель, на которой лежал остров Беннета. Вода была достаточно теплая, и лед таял. Разделав самую крупную черепаху, мы располагали теперь запасом мяса и воды. В течение семи или восьми дней мы плыли на юг без сколько-нибудь значительных происшествий, пройдя за это время, должно быть, огромное расстояние, так как ветер был попутный и нам помогало сильное течение к югу.

Март, первого дня. (По понятным причинам я не могу ручаться за точность дат. Я привожу их по своим карандашным записям главным образом для того, чтобы читателю было легче следить за ходом изложения.) Множество необычных явлений говорит о том, что мы входим в какую-то неизвестную, диковинную область океана. На горизонте в южном направлении часто возникает широкая полоса сероватых паров — они то столбами вздымаются кверху, быстро перемещаясь с

востока на запад и с запада на восток, то растягиваются в ровную гряду, то есть постоянно меняют очертания и краски, подобно Aurora Borealis[15]. С нашего местонахождения пары поднимаются в среднем на высоту двадцать пять градусов. Температура воды с каждым часом повышается, и заметно меняется ее цвет.

Март, второго дня. Мы долго расспрашивали сегодня нашего пленника и узнали массу подробностей об острове, где была учинена расправа над нашими товарищами, о его обитателях и их обычаях — по могу ли я теперь задерживать ими внимание читателя? Наверное, достаточно сообщить, что, по его словам, архипелаг состоит из восьми островов, которыми правит король Тсалемон или Псалемун, живущий на самом крошечном островке, что черные шкуры, из которых сделана одежда воинов, принадлежат каким-то огромным животным, которые водятся только в долине неподалеку от обиталища короля, что туземцы строят только плоты, вернее плоскодонные лодки, а те четыре челна — единственные, которые у них были, — случайно достались им с какого-то большого острова на юго-западе, что его

[15] Сноски: 15
Северное сияние (*лат.*).

самого зовут Ну-Ну и он понятия не имеет об острове Беннета и что название деревни — Тсалал. Начало слов «Тсалемон» и «Тсалал» он произносил с длинным свистящим звуком, который мы при всем желании не смогли воспроизвести и который в точности напоминал крик птицы, пойманной нами на вершине горы.

Март, третьего дня. Вода просто теплая и быстро теряет прозрачность, цветом и густотой напоминая молоко. В непосредственной близости море совершенно спокойно, и наш челн не подвергается ни малейшей опасности, но мы с удивлением увидели, что справа и слева на разном расстоянии от нас на поверхности несколько раз внезапно возникало сильное волнение; позже мы заметили, что этому предшествуют бесформенные вспышки паров на юге.

Март, четвертого дня. Ветер с севера заметно стих, и мы решили увеличить площадь нашего паруса. Вытаскивая из кармана большой белый платок, я случайно задел Ну-Ну по лицу, и его тут же схватили судороги. Затем, лишь изредка бормоча: «Текели-ли! Текели-ли!» — он впал в беспамятство.

Март, пятого дня. Ветер прекратился, но мощное течение несет нас все так же к югу. Мы

должны были, казалось бы, встревожиться, видя, какой оборот принимают дела, но — ничего подобного. У Петерса на лице не отражалось ни малейшего беспокойства, хотя по временам выражение его было какое-то загадочное. Приближающаяся полярная зима пока не давала о себе знать. Я чувствовал лишь некоторую скованность, душевную и физическую оцепенелость, но это было все.

Март, шестого дня. Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет. Вода стала горячей и приобрела совсем молочную окраску, дотрагиваться до нее неприятно. Сегодня море забурлило в нескольких местах, совсем близко от нашего челна. Это сопровождалось сильной вспышкой наверху, и пары как бы отделились на мгновение от поверхности моря. Когда свечение в парах погасло и волнение на море улеглось, нас и порядочную площадь вокруг осыпало тончайшей белой пылью, вроде пепла, но это был отнюдь не пепел. Ну-Ну бросился на дно лодки, закрыл лицо руками, и никакие уговоры не могли заставить его подняться.

Март, седьмого дня. Сегодня мы расспрашивали Ну-Ну, из-за чего его соплеменники убили

наших товарищей, но он охвачен таким ужасом, что мы не сумели добиться от него вразумительного ответа. Он отказывался подняться со дна лодки, а когда мы возобновили расспросы, стал делать какие-то идиотские жесты. В частности, он поднял указательным пальцем верхнюю губу и обнажил зубы — они были черные. До сих пор нам не доводилось видеть зубы обитателей Тсалала.

Март, восьмого дня. Мимо нас проплыло то белое животное, чье чучело вызвало такой переполох среди дикарей на берегу Тсалала. Я мог поймать его, но на меня напала непонятная лень, и я не стал этого делать. Руку в воде держать нельзя — такой она стала горячей. Петерс почти все время погружен в молчание, я не знаю, что и думать. Ну-Ну неподвижно лежит на дне лодки.

Март, девятого дня. Тонкая белая пыль в огромном количестве осыпает нас сверху. Пары на южном горизонте чудовищно вздыбились и приобрели более или менее отчетливую форму. Не знаю, с чем сравнить их, иначе как с гигантским водопадом, бесшумно низвергающимся с какого-то утеса, бесконечно уходящего в высоту. Весь южный горизонт застлан этой необозримой пеленой. Оттуда не доносится ни звука.

Март, двадцать первого дня. Над нами нависает страшный мрак, но из молочно-белых глубин океана поднялось яркое сияние и распространилось вдоль бортов лодки. Нас засыпает дождем из белой пыли, которая, однако, тает, едва коснувшись воды. Верхняя часть пелены пропадает в туманной вышине. Мы приближаемся к ней с чудовищной скоростью. Временами пелена ненадолго разрывается, и тогда из этих зияющих разрывов, за которыми теснятся какие-то мимолетные смутные образы, вырываются могучие бесшумные струи воздуха, вздымая по пути мощные сверкающие валы.

Март, двадцать второго дня. Тьма сгустилась настолько, что мы различаем друг друга только благодаря отражаемому водой свечению белой пелены, вздымающейся перед нами. Оттуда несутся огромные мертвенно-белые птицы и с неизбежным, как рок, криком «текели-ли!» исчезают вдали. Услышав их, Ну-Ну шевельнулся на дне лодки и испустил дух. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна[16], будто приглашая нас в свои объятья. И в этот момент нам преграждает

---

[16] Сноски: 16

…разверзается бездна… — Э. По следует здесь теории Джона К. Симмса.

путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване.

И кожа ее белее белого.

От издателя

Обстоятельства, связанные с последовавшей недавно внезапной и трагической кончиной мистера Пима, уже известны публике из газет. Высказывают опасения, что несколько оставшихся глав, которые, очевидно, заключали повествование, находились у него на переработке — тогда как остальные были уже в наборе — и безвозвратно утеряны во время несчастного случая, ставшего причиной его смерти. Впрочем, дело может обстоять совершенно иначе, и если бумаги в конце концов обнаружатся, они непременно будут опубликованы.

Мы испробовали все средства, чтобы исправить положение. Предполагалось, что джентльмен, чье имя упомянуто в предисловии, мог бы, как явствует оттуда же, восполнить пробел, но он, увы, наотрез отказался от этого предложения, резонно заявив, что не может целиком положиться на представленные ему материалы и вообще сомневается в достоверности последних

частей повествования. Дополнительный свет на происшедшие события может, очевидно, пролить Петерс, который благополучно проживает в Иллинойсе, но в настоящее время мы не могли его разыскать. Не исключено, что это удастся впоследствии и он сообщит новые сведения для того, чтобы завершить рассказ мистера Пима.

Утрата двух или трех заключительных глав (вряд ли их было больше) тем более огорчительна, что они, бесспорно, содержат сведения относительно полюса или, по крайней мере, прилегающих к нему районов и что в скором времени они могут быть подтверждены или опровергнуты экспедицией в Южный океан, которую снаряжает наше правительство.

Пока же рискнем сделать несколько замечаний касательно одного места в повествовании, причем автору этих строк доставит неизъяснимое удовольствие, если то, что он имеет сказать, хоть в малейшей степени поможет завоевать доверие читателя к опубликованным страницам, представляющим исключительный интерес. Мы имеем в виду рассказ о галереях на острове Тсалал и рисунки.

Мистер Пим приводит чертежи шахт без каких-либо пояснении и о знаках, обнаруженных

на стене восточной шахты, говорит, что они отдаленно напоминают буквы, то есть решительно заявляет, что они таковыми *не являются*. Это утверждение высказано столь убедительно и подтверждается фактами столь весомыми (например, то, что выступы найденных в пыли осколков точно соответствовали углублениям в стене), что мы вынуждены всерьез доверять автору, и ни у одного здравомыслящего читателя не появится и тени сомнения на этот счет. Однако поскольку факты, относящиеся к чертежам, совершенно исключительны (особенно если их рассматривать в связи с определенными подробностями повествования), то нелишне сказать о них несколько слов, нелишне особенно потому, что упомянутые факты, бесспорно, ускользнули от внимания мистера По.

Если сложить вместе рисунки 1, 2, 3 и 5 в том порядке, в каком располагаются сами шахты, и исключить небольшие второстепенные ответвления и дуги (которые служили, как мы помним, только средством сообщения между основными камерами), то они образуют эфиопский глагольный корень «быть темным»; отсюда происходят слова, означающие тьму или черноту.

Что касается левого или «самого северного

знака» на рис. 4, то более чем вероятно, что Петерс был прав и что он действительно высечен человеком и изображает человеческую фигуру. Чертеж перед читателем, и он сам может судить о степени сходства, зато остальные углубления решительно подтверждают предположение Петерса. Верхний ряд знаков, вероятно, представляет собой арабский глагольный корень «быть белым», и отсюда все слова, означающие яркость и белизну. Нижний ряд не столь очевиден. Линии стерлись, края их пообломались, и все же нет сомнения, что в первоначальном состоянии они образовывали древнеегипетское слово «область юга». Следует заметить, что это толкование подтверждает мнение Петерса относительно «самого северного знака». Рука человека вытянута к югу.

Эти предварительные выводы открывают широкое поле для размышлений и увлекательных догадок. Их можно, видимо, строить в связи с некоторыми наиболее обстоятельно изложенными деталями повествования, хотя на первый взгляд они отнюдь не являют некой единой цепи. «Текели-ли!» — кричали перепуганные дикари при виде чучела *белого* животного, подобранного в море. Таков же был испуганный вопль пленного островитянина, когда мистер Ним вытащил из

кармана *белый* платок. Так же кричали огромные *белые* птицы, стремительно несущиеся из парообразной *белой* пелены на юге. Ни на острове Тсалал, ни во время последующего путешествия к полюсу не было обнаружено ничего *белого*. Не исключено, что скрупулезный лингвистический анализ вскроет связь между самим названием острова «Тсалал» и загадочными пропастями и таинственными надписями на их стенах.

«Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе скалы».

Рассказы

Метценгерштейн[17]

Pestis eram vivus – moriens tua mors ero.

Martin Luthe

При жизни был для тебя несчастьем;
умирая, буду твоей смертью.

Мартин Лютер.

Ужас и рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии еще жива и крепка была вера в откровения и таинства учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах, заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша (как говаривал Лабрюйер[18] обо всех наших несчастьях вместе взятых) в значительной мере «vient de ne

---

[17] Сноски: 17

© Перевод. З. Александрова.

[18] Сноски: 18

Жан Лабрюйер — французский моралист. Цитата из книги «Характеры, или нравы нашего века» (1688).

pouvoir etre seule»[19]. Учение о метемпсихозе[20] решительно поддерживает Мерсье[21] в романе романа «Год две тысячи четыреста сороковой», а И. Дизраэли[22] говорит, что «нет ни одной другой системы, столь же простой и восприятию которой наше сознание противилось бы так же слабо». Говорят, что ревностным поборником идеи метемпсихоза был и полковник Итен Аллен[23], один из «ребят с Зеленой горы».

Но в некоторых своих представлениях венгерская мистика придерживалась крайностей, почти уже абсурдных. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих властителей с Востока. И они, например, утверждали: «Душа» — (привожу дословно сказанное одним умнейшим и очень глубоким парижанином) — «ne demeure

---

[19] Сноски: 19

Проистекает от того, что мы не умеем быть одни (*фр.*).

[20] Сноски: 20

Метемпсихоз — реинкарнация, переселение душ.

[21] Сноски: 21

Луи Себастьен Мерсье (1740–1814) — французский писатель, автор утопического романа «Год две тысячи четыреста сороковой. Сон, которого, возможно, и не было» (1770), в котором изображен идеал общественного и государственного устройства будущего близкого к иедям Руссо.

[22] Сноски: 22

Исаак Дизраэли (1766–1848) — английский литератор. Цитата из работы «Достопримечательности литературы» (1791–1793; 1823).

[23] Сноски: 23

Итен Аллен (1738–1789) — участник американской революции, глава отряда повстанцев, известного под именем «Ребята с Зеленой горы», политик, философ, писатель, автор трактата «Разум — единственный оракул человека» (1789), в котором он развивает идеи деизма и перевоплощения.

qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme meme, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»[24].

Распря между домами Берлифитцингов и Метценгерштейнов исчисляла свою давность веками. Никогда еще два рода столь же именитых не враждовали так люто и непримиримо. Первопричину этой вражды искать, кажется, следовало в словах одного древнего прорицания: «Страшен будет закат высокого имени, когда, подобно всаднику над конем, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».

Конечно, сами по себе слова эти маловразумительны, если не бессмысленны вообще. Но ведь событиям столь же бурным случалось разыгрываться, и притом еще на нашей памяти, и от причин, куда более ничтожных. Кроме же всего прочего смежность имений порождала раздоры, отражавшиеся и на государственной политике. Более того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг могли с бойниц своей твердыни смотреть прямо в окна дворца Метценгерштейн. Подобное же лицезре-

[24] Сноски: 24

Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (*фр.*).

ние неслыханной у обычных феодалов роскоши меньше всего могло способствовать умиротворению менее родовитых и менее богатых Берлифитцингов. Стоит ли удивляться, что при всей нелепости старого предсказания, из-за него все же разгорелась неугасимая вражда между двумя родами, и без того всячески подстрекаемыми застарелым соперничеством и ненавистью. Пророчество это, если принимать его хоть сколько-нибудь всерьез, казалось залогом конечного торжества дома и так более могущественного, и, само собой, при мысли о нем слабейший и менее влиятельный бесновался все более злобно.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей его высокородности, был к тому времени, о котором идет наш рассказ, немощным, совершенно впавшим в детство старцем, не примечательным ровно ничем, кроме безудержной, закоснелой ненависти к каждому из враждебного семейства, да разве тем еще, что был столь завзятым лошадником и так помешан на охоте, что при всей его дряхлости, преклонном возрасте и старческом слабоумии у него, бывало, что ни день, то снова лов.

Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще даже не достиг совершеннолетия. Отец его, министр

Г., умер совсем молодым. Мать, леди Мари, ненадолго пережила супруга. Фредерику в ту пору шел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет — еще не возраст; но в дремучей глуши, в таких царственных дебрях, как их старое княжество, каждый взмах маятника куда полновесней.

В силу особых условий, оговоренных в духовной отцом, юный барон вступал во владение всем своим несметным богатством сразу же после кончины последнего. До него мало кому из венгерской знати доставались такие угодья. Замкам его не было счета. Но все их затмевал своей роскошью и грандиозностью размеров дворец Метценгерштейн. Угодья его были немерены, и одна только граница дворцового парка тянулась целых пятьдесят миль, прежде чем замкнуться.

После вступления во владение таким баснословным состоянием господина столь юного и личности столь заметной недолго пришлось гадать насчет того, как он проявит себя. И верно, не прошло и трех дней, как наследник переиродил самого царя Ирода и положительно посрамил расчеты самых загрубелых из своих видавших виды холопов. Гнусные бесчинства, ужасающее вероломство, неслыханные расправы очень скоро убедили его трепещущих вассалов, что

никаким раболепством его не умилостивишь, а совести от него и не жди, и, стало быть, не может быть ни малейшей уверенности, что не попадешь в безжалостные когти местного Калигулы. На четвертую ночь запылали конюшни в замке Берлифитцинг, и стоустая молва по всей округе прибавила к страшному и без того списку преступлений и бесчинств барона еще и поджог.

Но пока длился переполох, поднятый этим несчастьем, сам юный вельможа сидел, видимо весь уйдя в свои думы, в огромном, пустынном верхнем зале дворца Метценгерштейн. Бесценные, хотя и выцветшие от времени гобелены, хмуро смотревшие со стен, запечатлели темные, величественные лики доброй тысячи славных предков. Здесь прелаты в горностаевых мантиях и епископских митрах по-родственному держали совет с всесильным временщиком и сувереном о том, как не давать воли очередному королю, или именем папского всемогущества отражали скипетр сатанинской власти. Там высокие темные фигуры князей Метценгерштейн на могучих боевых конях, скачущих по телам поверженных врагов, нагоняли своей злобной выразительностью страх на человека с самыми крепкими нервами; а здесь обольстительные фигуры дам

невозвратных дней лебедями проплывали в хороводе какого-то неземного танца, и его напев, казалось, так и звучит в ушах.

Но пока барон прислушивался или старался прислушаться к оглушительному гаму в конюшнях Берлифитцинга или, может быть, замышлял уже какое-нибудь бесчинство поновей и еще отчаянней, взгляд его невзначай обратился к гобелену с изображением огромного коня диковинной масти, принадлежавшего некогда сарацинскому предку враждебного рода. Конь стоял на переднем плане, замерев, как статуя, а чуть поодаль умирал его хозяин, заколотый кинжалом одного из Метценгерштейнов.

Когда Фредерик сообразил, наконец, на что невольно, сам собой обратился его рассеянный взгляд, губы его исказила дьявольская гримаса. Но оцепенение не прошло. Напротив, он и сам не мог понять, что за неодолимая тревога застилает, словно пеленой, все, что он видит и слышит. И нелегко ему было примирить свои дремотные, бессвязные мысли с сознанием, что все это творится с ним не во сне, а наяву. Чем больше присматривался он к этой сцене, тем невероятней казалось, что ему вообще удастся оторвать от нее глаза — так велика была притягательная

сила картины. Но шум за стенами дворца вдруг стал еще сильней, и когда он с нечеловеческим усилием заставил себя оторваться от картины, то увидел багровые отблески, которые горящие конюшни отбрасывали в окна дворцового зала.

Но, отвлекшись было на миг, его завороженный взгляд сразу послушно вернулся к той же стене. К его неописуемому изумлению и ужасу, голова коня-великана успела тем временем изменить свое положение. Шея коня, прежде выгнутая дугой, когда он, словно скорбя, склонял голову над простертым телом своего повелителя, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, которых прежде не было видно, смотрели теперь настойчиво, совсем как человеческие, пылая невиданным кровавым огнем, а пасть разъяренной лошади вся ощерилась, скаля жуткие, как у мертвеца, зубы.

Пораженный ужасом, барон неверным шагом устремился к выходу. Едва только он распахнул дверь, ослепительный красный свет, сразу заливший весь зал, отбросил резкую, точно очерченную тень барона прямо на заколыхавшийся гобелен, и он содрогнулся, заметив, что тень его в тот миг, когда он замешкался на пороге, в точности совпала с контуром безжалостного,

ликующего убийцы, сразившего сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеяться, барон поспешил на свежий воздух. У главных ворот он столкнулся с тремя конюхами. Выбиваясь из сил, несмотря на смертельную опасность, они удерживали яростно вырывающегося коня огненно-рыжей масти.

— Чья лошадь? Откуда? — спросил юноша резким, но вдруг сразу охрипшим голосом, ибо его тут же осенило, что это бешеное животное перед ним — живой двойник загадочного скакуна в гобеленовом зале.

— Она ваша, господин, — отвечал один из конюхов, — во всяком случае другого владельца пока не объявилось. Мы переняли ее, когда она вылетела из горящих конюшен в замке Берлифитцинг — вся взмыленная, словно взбесилась. Решив, что это конь из выводных скакунов с графского завода, мы отвели было его назад. Но тамошние конюхи говорят, что у них никогда не было ничего похожего, и это совершенно непонятно — ведь он чудом уцелел от огня.

— Отчетливо видны еще и буквы «В. Ф. Б.», выжженные на лбу, — вмешался второй конюх, — я решил, что они безусловно обозначают имя: «Вильгельм фон Берлифитцинг», но все в замке в

один голос уверяют, что лошадь не их.

— Весьма странно! — заметил барон рассеянно, явно думая о чем-то другом. — А лошадь действительно великолепна, чудо что за конь! Хотя, как ты правильно заметил, норовиста, с такой шутки плохи; что ж, ладно, — беру, — прибавил он, помолчав, — такому ли наезднику, как Фредерик Метценгерштейн, не объездить хоть самого черта с конюшен Берлифитцинга!

— Вы ошибаетесь, господин; лошадь, как мы, помнится, уже докладывали, не из графских конюшен. Будь оно так, уж мы свое дело знаем и не допустили бы такой оплошности, не рискнули бы показаться с ней на глаза никому из благородных представителей вашего семейства.

— Да, конечно, — сухо обронил барон, и в тот же самый миг к нему, весь красный от волнения, подлетел слуга, примчавшийся со всех ног из дворца. Он зашептал на ухо господину, что заметил исчезновение куска гобелена. И принялся сообщать какие-то подробности, но говорил так тихо, что изнывающие от любопытства конюхи не расслышали ни слова.

В душе у барона, пока ему докладывали, казалось, царила полнейшая сумятица. Скоро он, однако, овладел собой; на лице его появилось вы-

ражение злобной решимости, и он распорядился сейчас же запереть зал, а ключ передать ему в собственные руки.

— Вы уже слышали о жалком конце старого охотника Берлифитцинга? — спросил кто-то из вассалов, когда слуга скрылся, а огромного скакуна, которого наш вельможа только что приобщил к своей собственности, уже вели, беснующегося и рвущегося, по длинной аллее от дворца к конюшням.

— Нет! — отозвался барон, резко повернувшись к спросившему. — Умер? Да что вы говорите!

— Это так, ваша милость, и для главы вашего семейства это, по-моему, не самая печальная весть.

Мимолетная улыбка скользнула по губам барона:

— И как же он умер?

— Он бросился спасать своих любимцев из охотничьего выезда, и сам сгорел.

— В са-мом де-ле! — протянул барон, который, казалось, медленно, но верно проникался сознанием правильности какой-то своей догадки.

— В самом деле, — повторил вассал.

— Прискорбно! — сказал юноша с полным равнодушием и не спеша повернул во дворец.

С того самого дня беспутного юного барона

Фредерика фон Метценгерштейна словно подменили. Правда, его теперешний образ жизни вызывал заметное разочарование многих хитроумных маменек, но еще меньше его новые замашкивязались с понятиями аристократических соседей. Он не показывался за пределами своих владений, и на всем белом свете не было у него теперь ни друга, ни приятеля, если, правда, не считать той непонятной, неукротимой огненно-рыжей лошади, на которой он теперь разъезжал постоянно и которая, единственная, по какому-то загадочному праву именовалась его другом.

Однако еще долгое время бесчисленные приглашения от соседей сыпались ежедневно. «Не окажет ли барон нашему празднику честь своим посещением?..», «Не соизволит ли барон принять участие в охоте на кабана?..» «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не прибудет», — был высокомерный и краткий ответ.

Для заносчивой знати эти бесконечные оскорбления были нестерпимы. Приглашения потеряли сердечность, становились все реже, а со временем прекратились совсем. По слухам, вдова злополучного графа Берлифитцинга высказала даже уверенность, что «барон, видимо, отсиживается

дома, когда у него нет к тому ни малейшей охоты, так как считает общество равных ниже своего достоинства; и ездит верхом, когда ему совсем не до езды, так как предпочитает водить компанию с лошадью». Это, разумеется, всего лишь нелепый образчик вошедшего в семейный обычай злословия, и только то и доказывает, какой бессмыслицей могут обернуться наши слова, когда нам неймется высказаться повыразительней.

Люди же более снисходительные объясняли внезапную перемену в поведении молодого вельможи естественным горем безвременно осиротевшего сына, забыв, однако, что его зверства и распутство начались чуть ли не сразу же после этой утраты. Были, конечно, и такие, кто высказывал, не обинуясь, мысль о самомнении и надменности. А были еще и такие — среди них не мешает упомянуть домашнего врача Метценгерштейнов, — кто с полным убеждением говорил о черной меланхолии и нездоровой наследственности; среди черни же в ходу были неясные догадки еще более нелестного толка.

Действительно, ни с чем не сообразное пристрастие барона к его новому коню, пристрастие, которое словно бы переходило уже в одержимость от каждого нового проявления дикости

и дьявольской свирепости животного, стало в конце концов представляться людям благоразумным каким-то чудовищным и совершенно противоестественным извращением. В полуденный зной или в глухую ночную пору, здоровый ли, больной, при ясной погоде или в бурю, юный Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади, чья безудержная смелость была так под стать его нраву.

Были также обстоятельства, которые вкупе с недавними событиями придавали этой мании наездника и невиданной мощи коня какой-то мистический, зловещий смысл. Замерив аккуратнейшим образом скачок лошади, установили, что действительная его длина превосходит самые невероятные предположения людей с самым необузданным воображением настолько, что разница эта просто не укладывается в уме. Да к тому же еще барон держал коня, так и не дав ему ни имени, ни прозвища, а ведь все его лошади до единой носили каждая свою и всегда меткую кличку. Конюшня ему тоже была отведена особая, поодаль от общих; а что же касается ухода за конем, то ведь никто, кроме самого хозяина, не рискнул бы не то что подступиться к коню, а хотя бы войти к нему в станок, за ограду. Не осталось

без внимания также и то обстоятельство, что перенять-то его, когда он вырывался с пожарища у Берлифитцинга, трое конюхов переняли, обратав его арканом и цепною уздою, но ни один из них не мог сказать, не покривив душой, что во время отчаянной схвати или после ему удалось хотя бы тронуть зверя. Не стоит приводить в доказательство поразительного ума, проявленного благородным и неприступным животным, примеры, тешившие праздное любопытство. Но были и такие подробности, от которых становилось не по себе самым отъявленным скептикам и людям, которых ничем не проймешь; и рассказывали, будто временами лошадь начинала бить землю копытом с такой зловещей внушительностью, что толпа зевак, собравшихся вокруг поглазеть, в ужасе кидалась прочь, — будто тогда и сам юный Метценгерштейн бледнел и шарахался от быстрого, пытливого взгляда ее человечьих глаз.

Однако из всей челяди барона не было никого, кто усомнился бы в искренности восхищения молодого вельможи бешеным нравом диковинного коня, — таких не водилось, разве что убогий уродец паж, служивший общим посмешищем и мнения которого никто бы и слушать не стал. Он же (если его догадки заслуживают упоминания

хотя бы мимоходом) имел наглость утверждать, будто хозяин, хотя это и не всякому заметно со стороны, каждый раз, вскакивая в седло, весь дрожит от безотчетного ужаса, а после обычной долгой проскачки возвращается каждый раз с лицом, перекошенным от злобного ликования.

Однажды, ненастной ночью, пробудившись от глубокого сна, Метценгерштейн с упорством маньяка вышел из спальни и, стремительно вскочив в седло, поскакал в дремучую лесную чащу. Это было делом настолько привычным, что никто и не обратил на отъезд барона особого внимания, но домочадцы всполошились, когда через несколько часов, в его отсутствие, высокие, могучие зубчатые стены твердыни Метценгерштейнов вдруг начали давать трещины и рушиться до основания под напором могучей лавины синевато-багрового огня, справиться с которым нечего было и думать.

Так как пожар заметили, когда пламя успело разгореться уже настолько, что отстоять от огня хотя бы малую часть здания было уже делом явно безнадежным, то пораженным соседям оставалось лишь безучастно стоять кругом в немом, если не сказать благоговейном, изумлении. Но вскоре новое страшное явление заставило все это

сборище тут же забыть о пожаре, засвидетельствовав тем самым, насколько увлекательней для толпы вид человеческих страданий, чем самые захватывающие зрелища разгула стихий.

В дальнем конце длинной аллеи вековых дубов, которая вела из леса к парадному подъезду дворца Метценгерштейн, показался скакун, мчащий всадника с непокрытой головой и в растерзанной одежде таким бешеным галопом, что за ним не угнаться бы и самому Князю Тьмы.

Лошадь несла, уже явно не слушаясь всадника. Искаженное мукой лицо, сведенное судорогой тело говорили о нечеловеческом напряжении всех сил; но кроме одного-единственного короткого вскрика ни звука не сорвалось с истерзанных, искусанных в бессильной ярости губ. Миг — и громкий, настойчивый перестук копыт покрыл рев пламени и завывания ветра; еще мгновение — и скакун единым махом пролетел в ворота и через ров, мелькнул по готовой вот-вот рухнуть дворцовой лестнице и сгинул вместе с всадником в огненном смерче.

И сразу же унялась ярость огненной бури, малопомалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним све-

том, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.

Береника[25]

Dicebant mihi sodales si
Sepulchrum amicae visitarem, curas
Meas aliquantulum fore levatas.

Друзья говорили мне,
что горе мое будет несколько облегчено,
если я навещу могилу моей подруги

Ибн Зайят

Несчастье многогранно. Многолико земное горе. Охватывая широкий горизонт подобно радуге, оно несет в себе столько же красок, как и эта небесная арка, — и столь же отличных друг от друга, и так же сливающихся воедино. Охватывая широкий горизонт подобно радуге! Почему в красоте усмотрел я воплощение безобразия, в залоге безмятежности — улыбку скорби? Но как в этике зло является следствием добра, так в жизни из радости рождается скорбь: воспоминания о прошлом блаженстве становятся нынешним страданием, и муками оборачиваются несбыв-

---

[25] Сноски: 25

© Перевод. И. Гурова.

шиеся восторги.

Я был крещен Эгеем, родовое же свое имя я тут не упомяну. И все же в стране не найдется замка более древнего, чем угрюмые серые башни, унаследованные мною от длинной вереницы предков. Наш род слыл родом духовидцев, и многие причудливые особенности — в самой архитектуре дома, во фресках парадного зала, в гобеленах спален, в каменной резьбе, украшающей столбы оружейной палаты, и более всего в старинных портретах картинной галереи, в плане библиотеки и, наконец, в чрезвычайно своеобразном подборе книг этой библиотеки — с достаточной убедительностью оправдывают эту славу.

Самые ранние воспоминания моей жизни тесно связаны с этой комнатой и с этими фолиантами — о которых я в дальнейшем говорить не буду. Там умерла моя мать. Там родился я. Но к чему утверждать, будто я не жил прежде, будто душа не имеет предыдущего существования! Вы это отрицаете? Я не стану с вами спорить. Сам я в этом убежден, других же убеждать не хочу. Однако ведь есть воспоминание о воздушных образах, о духовных, исполненных бесконечного смысла глазах, о звуках, гармоничных и все-таки печаль-

ных; воспоминание, которого нельзя прогнать, воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неопределенное, зыбкое — подобное тени еще и в том, что от него нельзя избавиться, пока не затмится солнечный свет моего рассудка.

В этой комнате я родился. И когда от долгой ночи, которая казалась, но не была отсутствием существования, я пробудился в поистине волшебной стране, в чертогах воображения, в необъятных владениях монастырской мысли и эрудиции — удивительно ли, что я озирался по сторонам изумленным и жадным взором, что я праздно провел мое детство за книгами и растратил юность на размышления. Но удивительно другое: прошли годы, и расцвет молодости застал меня в отчем доме, и поразительно то, какими застойными стали источники моей жизни, поразительно то полное смещение, которое произошло в строе самых обычных моих мыслей. Материальный мир вокруг меня представлялся мне совокупностью видений, и только видений, тогда как прихотливые образы страны воображения сделались не просто пищей моего повседневного существования, но самим этим существованием, исчерпывая и замыкая его.

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы

выросли вместе в стенах дома моих предков. Но как по-разному росли мы! Я — хилый и угрюмый, она — грациозная, подвижная, полная радости и энергии; она гуляла по холмам и долинам, я склонялся над книгами в монастырском уединении библиотеки; я — углубленный в себя, телом и душой отдающийся самым напряженным и мучительным размышлениям, она — беспечно порхающая по жизни без мысли о тенях на ее тропе, о череде часов, безвозвратно уносящихся прочь на вороновых крыльях. Береника! Я повторяю ее имя — Береника! — и этот звук поднимает из серых руин памяти тысячи смятенных воспоминаний. И ее образ стоит сейчас перед моими глазами таким же, как в дни ее беззаботной и радостной юности. О великолепная и все же неизъяснимая красота! О сильфида садов Аргейма[26]! О наяда его источников! А затем… а затем тайна, и ужас, и повесть, которую не должно рассказывать. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч пустыни, и у меня на глазах все в ней переменилось: разум, привычки, характер и даже — неуловимо и ужасно — самая ее личность. Увы! Губитель явился и исчез, а жертва…

---

[26] Сноски: 26

Аргейм — город в Голландии, известный живописностью окружающего ландшафта.

что сталось с ней? Я больше не узнавал ее — не узнавал в ней Береники!

Среди многочисленной свиты недугов, порожденных самым первым и роковым, который повлек за собой столь жуткое преображение нравственного и телесного облика моей кузины, можно упомянуть наиболее тягостный и упорный — разновидность эпилепсии, нередко завершающуюся оцепенением, подобным смерти, из которого она чаще всего восставала с неожиданной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь — мне велели называть ее только так и не иначе, — моя собственная болезнь овладевала мною все больше и обрела уже характер мономании, неизвестной прежде и необычайной; с каждым часом, с каждой минутой она набирала силу и в конце концов обрела надо мною полную и непостижимую власть. Эта мономания, раз уж я должен называть ее так, представляла собой болезненное возбуждение тех свойств сознания, которые метафизическая наука относит к сфере внимания. Весьма вероятно, что я не буду понят, но, боюсь, нет способа дать обычному читателю хотя бы слабое представление о той нервной интенсивности интереса, с каким я сосредоточивал всю силу моих мыс-

лительных способностей (если не прибегать к специальным обозначениям) на самых тривиальных предметах.

Я мог часами раздумывать над какой-нибудь прихотливой виньеткой на полях книги или над особенностями ее шрифта, мог почти весь летний день пристально рассматривать странную тень на гобелене или на полу, мог всю ночь напролет предаваться созерцанию неколеблющегося язычка пламени в лампе или мерцающих углей в камине, мог целые дни грезить над ароматным цветком, мог однотонно твердить самое простое слово, пока от непрерывного повторения звук его не переставал сообщать мозгу какой-либо смысл, мог полностью утрачивать ощущение физического бытия, долго и упрямо сохраняя неподвижность. Таковы были некоторые из наиболее простых и неопасных чудачеств, вызванных определенным состоянием рассудка, — хотя их отнюдь нельзя назвать единственными в своем роде, они тем не менее не поддаются ни анализу, ни объяснению.

И все же не поймите меня неправильно. Это глубокое, неоправданное и болезненное внимание, возбуждавшееся предметами, по своей природе самыми заурядными, не следует пу-

тать со склонностью к задумчивости, которая свойственна всем людям, и особенно тем, кто наделен пылкой фантазией. Его нельзя даже считать, как могло бы показаться на первый взгляд, преувеличенной или доведенной до крайности вышеуказанной склонностью — нет, они различны и по самой своей сути не схожи. В первом случае мечтательная или пытливая натура, заинтересовавшись предметом, как правило, далеко не тривиальным, незаметно для себя увлекается идеями и заключениями, им подсказанными, и в конце концов, очнувшись от этих грез наяву, нередко упоительно прекрасных, обнаруживает, что incitamentum — побудительный толчок к размышлениям, их первопричина уже совершенно забыта. Что же касается меня, то таким толчком всегда и неизменно служили предметы самые тривиальные, хотя мое болезненное восприятие и наделяло их искаженной и несуществующей важностью. Почти никаких заключений я не выводил, и немногие возникавшие у меня мысли упрямо возвращались к исходному объекту, как к их центру и основе. Размышления эти никогда не бывали приятными, и по их завершении первопричина не только не оказывалась забытой, но, наоборот, вызывала именно тот неестественный

и преувеличенный интерес, который и составлял главную особенность моей болезни. Короче говоря, как я уже упоминал раньше, у меня при этом особо возбуждалась сфера внимания, тогда как у мечтателя действует сфера умозрительного мышления.

Книги, которые я тогда штудировал, если и не прямо усугубляли мою болезнь, то, как легко заметить, хорошо сочетались с ее главными свойствами благодаря тому, что в своей непоследовательности они питались преимущественно воображением. Среди прочих мне ясно вспоминается трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона[27] «De Amplitudine Beati Regni Dei»[28], великий труд Блаженного Августина[29] «О граде божьем» и «De Carne Christi»[30] Тер-

---

[27] Сноски: 27

Целий Секунд Курион (Челио Секондо Курионе) (1503–1569) — итальянский протестант, гуманист.

[28] Сноски: 28

«О величии блаженного царства Божия» (*лат.*).

[29] Сноски: 29

Аврелий Августин Иппонийский (Блаженный Августин) (354–430) — христианский богослов и философ, проповедник, один из Отцов христианской церкви.

[30] Сноски: 30

«О плоти Христовой» (*лат.*).

туллиана[31], чьей парадоксальной сентенции «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»[32] я посвятил много недель скрупулезных и бесплодных изысканий.

Таким образом, нетрудно заметить, что мой рассудок, утрачивавший равновесие только из-за пустяков, походил на тот океанский утес, о котором повествует Птолемей Гефестион[33] и который, стойко выдерживая натиск человеческих усилий и куда более яростные приступы волн и ветра, содрогался только от прикосновения цветка, называемого асфоделем[34]. И, хотя поверхностный наблюдатель может счесть само собой разумеющимся, что изменения, которые злосчастный недуг вызвал в духовном облике Береники, должны были бы давать мне много поводов для тех напряженных и болезнен-

---

[31] Сноски: 31

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160 — ок. 220) — раннехристианский писатель, теолог. Положил начало церковной латыни.

[32] Сноски: 32

Умер сын Божий; это достойно веры, ибо нелепо; и погребенный восстал из могилы; это несомненно, ибо невозможно (*лат.*).

[33] Сноски: 33

Птолемей Гефестион (пер. пол. II века) — греческий писатель.

[34] Сноски: 34

Асфодель — род растений семейства лилейных с крупными цветами. В античности считался символом смерти.

ных размышлений, природу коих я попытался объяснить, это ни в малейшей степени не соответствовало действительному положению вещей. Бесспорно, в светлые промежутки, когда моя болезнь несколько утихала, несчастье Береники причиняло мне страдания, и, глубоко скорбя над таким крушением этой прекрасной и кроткой жизни, я, разумеется, часто с горечью задумывался о чудодейственных причинах, столь внезапно приведших к подобному странному преображению. Но эти размышления были свободны от влияния моей болезни и сходны с теми, каким при подобных обстоятельствах предавалось бы большинство совершенно здоровых людей. Верная своей природе, моя болезнь находила обильную пищу в менее важных, но более заметных переменах телесного облика Береники — в необычайном и пугающем изменении ее наружности.

Нет никакого сомнения, что в дни расцвета ее несравненной красоты я не питал к ней любви. В моем странном ущербном существовании мои чувства никогда не возникали в сердце и все мои страсти всегда были порождением рассудка. В сером полусвете раннего утра, в кружевных тенях леса в полдень и в безмолвии моей библио-

теки вечером она то являлась моим глазам, то исчезала, и я видел ее не как живую Беренику из плоти и крови, но как Беренику сонных грез; не как земное существо, порождение земли, но как абстрактную идею такого существа, не как источник восхищения, но как повод для анализа, не как предмет любви, но как тему для сложнейших, хотя и рассеянных размышлений. А теперь… теперь я содрогался от ее присутствия и бледнел, когда она приближалась ко мне, и все же, горько сострадая ее нынешнему злополучному состоянию, я напомнил себе, что она давно меня любила, и в роковую минуту просил ее стать моей женой.

И вот, когда срок нашей свадьбы уже приближался, на исходе некоего зимнего дня — одного из тех не по времени теплых, тихих и туманных дней, которые называют кормилицей прекрасной Альционы[35], — я сидел (и, как мне казалось, в одиночестве) в кабинете за библиотекой. Однако, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

---

[35] Сноски: 35

«Юпитер в зимние месяцы дважды ниспосылает семь теплых дней, и люди назвали эту благодатную и ласковую погоду кормилицей прекрасной Альционы» (Симонид). — *Примеч. авт.* // Альциона — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в птицу зимородка. Альционовыми днями называли две недели тихой погоды около дня зимнего солнцестояния, когда Эол смирял ветры, чтобы Альциона могла высидеть птенцов в своем гнезде, плавающем по волнам.

Мое ли возбужденное воображение, туман ли, разлитый в воздухе, сумрак ли комнаты, серые ли покровы, окутывавшие ее фигуру, — что придало ей такую неясность и зыбкость? Не знаю. Она молчала… как и я — ни за какие сокровища мира не мог бы я произнести ни единого слова. Ледяной холод разлился по моим членам, гнетущая тревога овладела мной, жгучее любопытство томило мою душу, и, откинувшись в кресле, я на несколько минут замер без движения, устремляя на Беренику пристальный взгляд. Увы, в очертаниях этой исхудалой фигуры нельзя было обнаружить ни единой прежней линии. Наконец мой пылающий взор обратился на ее лицо.

Лоб был высок, очень бледен и странно безмятежен; на него ниспадали некогда иссиня-черные волосы, скрывая впадины у висков под бесчисленными завитками — желтоватыми, отвратительно дисгармонирующими в своей гротескности с глубокой меланхоличностью всего лица. Глаза были лишены жизни, лишены блеска и, казалось, лишены зрачков — и, не выдержав их стекленеющего взгляда, я посмотрел на узкие, сморщенные губы. Они раздвинулись, и в непонятной улыбке моему взору открылись зубы изменившейся Береники. О, если бы Бог не

судил мне видеть их! О, если бы, увидев их, я тут же умер!

Стук захлопнувшейся двери вывел меня из задумчивости, и я обнаружил, что моя кузина покинула библиотеку. Но белый жуткий призрак ее зубов, увы, не покинул моего смятенного мозга, и изгнать его оттуда не удавалось. Краткого мгновения ее улыбки оказалось достаточно, чтобы каждая точка на их поверхности, каждый оттенок их эмали, каждая зазубринка на их краях навеки запечатлелись в моей памяти. И теперь я видел их даже еще более ясно, чем тогда. Зубы! Зубы! Они были и тут, и там, и повсюду, зримые, ощутимые, куда бы я ни посмотрел — длинные, узкие, неимоверно белые, обрамленные шевелящимися бледными губами, как в первый миг их ужасного обнажения. Моя мономания вспыхнула с яростной силой, и тщетно пытался я совладать с ее странной и необоримой властью. Из всех бесчисленных предметов внешнего мира я был способен думать только о зубах. Я жаждал их с исступленным безумием. Все остальное отступило и исчезло. Только они, только они одни стояли перед моим внутренним взором, и они, единственные и неповторимые, составляли всю сущность моих мыслей. Я рассматривал их при

всевозможном освещении. Я поворачивал их под всевозможными углами. Я исследовал каждую их частность, я изучал каждую их особенность. Я думал об их форме. Я размышлял об изменениях в их природе. Я содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать и понимать и уменье даже без помощи губ выражать свои чувства. О мадемуазель Салле[36] отлично сказали, что «tous ses pas étaient de sentiments»[37], а я серьезно думал о Беренике, что toutes ses dents étaient de idées[38]. Des idées! О, вот идиотическая мысль, погубившая меня! Des idées! А, вот почему я возжелал их с такой страстью! Я чувствовал, что рассудок вновь вернется ко мне и я обрету душевный покой, только став их обладателем.

Вот так я встретил исход вечера, а затем наступила тьма, и сомкнулась на свой срок, и исчезла, и вновь занялся день, и вот уже начали сгущаться туманы новой ночи, а я по-прежнему сидел неподвижно в уединении библиотеки, по-прежнему

---

[36] Сноски: 36

Мари Салле (1707–1756) — французская балерина и балетмейстер XVIII столетия.

[37] Сноски: 37

Каждый ее шаг был чувством (*фр.*).

[38] Сноски: 38

Каждый ее зуб был мыслью (*фр.*).

предаваясь размышлениям, и призрак зубов все так же сохранял страшную власть надо мной, с совершеннейшим и жутким правдоподобием кружа по комнате в меняющихся сочетаниях света и теней. Наконец в мои грезы ворвался вопль ужаса и смятения, а потом — гул встревоженных голосов, к которому примешивались тихие стенания печали, а может быть, страдания. Я встал с кресла и, распахнув одну из дверей, увидел в галерее служанку, всю в слезах. Она сказала мне, что Береника… скончалась! Утром у нее начался эпилептический припадок, а сейчас, перед наступлением ночи, могила была уже готова принять ее и все приготовления к погребению были завершены.

Я обнаружил, что сижу в библиотеке, и вновь сижу там один. Мне казалось, что я очнулся от хаотичного и лихорадочного сна. Я знал, что теперь была полночь, и помнил, что после захода солнца Беренику похоронили. Но о тягостном промежутке между этими двумя моментами я не сохранил никакого точного или хотя бы примерного представления. И все же мысль об этом промежутке была насыщена ужасом — ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом тем более страшным, что он был неопре-

деленным. Это была леденящая душу страница моего существования, вся исписанная зыбкими, отвратительными и невнятными воспоминаниями. Я пытался разобраться в них, но тщетно, а время от времени, точно фантом умершего звука, в моих ушах раздавался пронзительный женский крик. Я что-то сделал — но что? Я задавал себе этот вопрос вслух, и шепчущее эхо под сводами отвечало мне: «Что?.. Что?..»

На столе возле меня горела лампа, а рядом с ней стояла небольшая шкатулка. В ней не было ничего примечательного, и я не раз видел ее прежде, так как она принадлежала нашему домашнему врачу. Но каким образом оказалась она здесь, на моем столе, и почему я содрогался, глядя на нее? Я не находил этому объяснения, и в конце концов мои глаза опустились на раскрытую книгу, остановившись на подчеркнутой фразе. Это были поразительные, но простые слова поэта Ибн Зайята: «Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Так почему же, пока я перечитывал их, волосы на моей голове встали дыбом и кровь застыла в моих жилах?

Раздался легкий стук в дверь, и в библиотеку, бледный, как обитатель могилы, на цыпочках

вошел слуга. Его лицо было искажено ужасом, и он заговорил со мной дрожащим, хриплым, еле слышным голосом. Что сказал он? Я уловил отдельные фразы. Он говорил о безумном вопле, нарушившем безмолвие ночи, о том, как сбежались слуги, о том, как они пошли туда, откуда донесся звук… Тут его голос стал пронзительно отчетливым, и он зашептал мне про осквернённую могилу, про обезображенное тело в саване — но еще дышавшее… еще содрогающееся… еще живущее!

Он поглядел на мою одежду — она была выпачкана глиной и забрызгана кровью. Я молчал, и он осторожно взял мою руку — на ней были следы человеческих ногтей. Он указал на какой-то предмет у стены. Я несколько минут глядел на него — это был заступ. С криком я прыгнул к столу и схватил шкатулку, которая стояла на нем. Но у меня не было сил ее открыть. Она выскользнула из моих дрожащих пальцев, ударилась об пол и разлетелась вдребезги. И из нее со стуком выпали инструменты, которыми пользуются дантисты, и еще — тридцать два маленьких белых костяных на вид кусочка, которые рассыпались по всему полу.

Морелла[39]

Auto xat auta met autou monoeises aiei on.

Собой, только собой, в своем вечном единстве.

Платон. Пир, 211

Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым, однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее да-

---

[39] Сноски: 39

© Перевод. И. Гурова.

рования, а сила ума — велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского[40] воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.

Рассудок мой — если я не обманываю себя — нисколько к этому причастен не был. Идеальное — разве только я себя совсем не знаю — ни в чем не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены — или я глубоко заблуждаюсь — тем мистицизмом, которым было проникнуто мое чтение. Твердо веря в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. И когда… когда, склоняясь над запретными страницами, я чувствовал, что во мне просыпается запретный

---

[40] Сноски: 40
Пресбург — старое немецкое название Братиславы.

дух, Морелла клала холодную ладонь на мою руку и извлекала из остывшего пепла мертвой философии приглушенные необычные слова, таинственный смысл которых выжигал неизгладимый след в моей памяти. И час за часом я сидел возле нее и внимал музыке ее голоса, пока его мелодия не начинала внушать страха — и на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было столь мало земного. Вот так радость внезапно преображалась в ужас и воплощение красоты становилось воплощением безобразия, как Гинном стал Ге-Енной[41].

Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представят себе, о чем мы говорили, непосвященным же беседы наши все равно не были бы понятны. Буйный пантеизм

[41] Сноски: 41

Библейское название ада — геенна — происходит от долины Гинном («долина плача») близ Иерусалима.

Фихте[42], видоизмененная paliggenesis[43] пифагорейцев и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг[44], — вот в чем впечатлительная Морелла обычно находила особую красоту. Тождество, называемое личным, мистер Локк[45], если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа. А так как под «личностью» мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других существ, которые мыслят. Principium individuationis, представление о личности, которая исчезает — или не исчезает — со смертью, всегда меня жгуче интересовало. И не столько даже из-за парадоксальной и притягательной природы его следствий, сколько из-за волнения,

---

[42] Сноски: 42

Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814) — немецкий философ, один из основателей группы направлений в философии, известной как субъективный идеализм.

[43] Сноски: 43

Вторичное рождение (*греч.*).

[44] Сноски: 44

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775–1854) — немецкий философ, представитель классической немецкой философии.

[45] Сноски: 45

Джон Локк — английский философ, один из самых влиятельных мыслителей Просвещения и теоретиков либерализма.

с которым говорила о них Морелла.

Но уже настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала гнести меня, как злое заклятие. Мне стали невыносимы прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихая музыкальная речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня; казалось, что она постигала мою слабость или мое безумие, и с улыбкой называла его Роком. И еще казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызвала мое постепенное отчуждение, но ни словом, ни намеком она не открыла мне ее природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днем. Пришло время, когда на ее щеках запылали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее; и на миг моя душа исполнялась жалости, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражали то смятение и страх, которые овладевают человеком, когда он, охваченный головокружением, смотрит в мрачные глубины неведомой бездны.

Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да, я ждал этого, но хрупкий дух еще много дней льнул к бренной оболочке — много дней, много

недель и тягостных месяцев, пока мои истерзанные нервы не взяли верх над рассудком и я не впал в исступление из-за этой отсрочки, с демонической яростью проклиная дни, часы и горькие секунды, которые словно становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь, — так удлиняются тени, когда умирает день.

Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, и на пышную листву октябрьских лесов с вышины пала радуга.

— Это день дней, — сказала она, когда я приблизился. — Это день дней, чтобы жить и чтобы умереть. Дивный день для сынов земли и жизни… но еще более дивный для дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее лоб, а она продолжала:

— Я умираю, и все же я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты любил меня, но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты будешь боготворить.

— Морелла!

— Я говорю, что я умираю. Но во мне сокрыт плод той нежности — о, такой малой! — которую ты питал ко мне, к Морелле. И когда мой дух отлетит, дитя будет жить — твое дитя и мое, Мореллы. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех чувств, как кипарис нетленней всех деревьев. Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестума[46]. И более ты не будешь играть со временем, подобно Анакреонту[47], но, отлученный от мирта и лоз, понесешь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке.

— Морелла! — вскричал я. — Морелла, как можешь ты знать это!

Но она отвернула лицо, по ее членам пробежала легкая дрожь; так она умерла, и я больше не слышал ее голоса.

Но как она предрекла, ее дитя, девочка, которую, умирая, она произвела на свет, которая вздохнула, только когда прервалось дыхание ее матери, это дитя осталось жить. И странно раз-

---

[46] Сноски: 46

Пестум — город на юге Италии.

[47] Сноски: 47

Анакреонт (570/559–485/478 до н. э.) — древнегреческий поэт, один из Девяти лириков.

вивалась она телесно и духовно, и была точным подобием умершей, и я любил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к обитателям земли.

Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли и их заволокли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был ее быстрый рост, но ужасны, о, как ужасны были смятенные мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И могло ли быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в словах ребенка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в ее больших задумчивых глазах я ежечасно видел мудрость и страсти иного возраста? Когда, повторяю, все это стало очевидно моим пораженным ужасом чувствам, когда я уже был не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жаждой уверовать, — можно ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения, что мои мысли с трепетом обращались к невероятным фантазиям и поразительным теориям покоящейся в склепе Мореллы? Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба принудила меня боготворить, и

в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего.

И по мере того как проходили годы и я день за днем смотрел на ее святое, кроткое и красноречивое лицо, на ее формирующийся стан, день за днем я находил в дочери новые черты сходства с матерью, скорбной и мертвой. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непонятными и полными леденящего ужаса. Я мог снести сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их тождественности; я мог бы выдержать сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертания высокого лба, и шелковые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса, и главное (о да, главное!), слова и выражения мертвой на устах любимой и живой питали одну неотвязную мысль и ужас — червя, который не умирал!

Так прошли два люстра ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. «Дитя мое» и «любовь моя» — отцовская нежность не нужда-

лась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери — говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обитательниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул меня произнести тот звук, одно воспоминание о котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда среди сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога — Морелла? И некто больший, нежели злой дух, исказил черты моего ребенка и стер с них краски жизни, когда,

содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:

— Я здесь.

Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы… годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении — никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис[48] склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только — Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек — Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.

---

[48] Сноски: 48

Цикута — ядовитое растение. Кипарис — символ смерти и похорон.

Король Чума[49]
Рассказ, содержащий Аллегорию

То боги позволяют венценосцам,
Что их в сословье подлом возмутит.

Бакхерст.
«Трагедия о Феррексе и Поррексе»

Однажды в октябре, около двенадцати часов ночи, в пору доблестного царствования третьего из Эдуардов[50], два матроса из команды «Беззаботной», торговой шхуны, курсирующей между Слюйсом и Темзою, а тогда стоявшей на якоре именно в Темзе, были весьма изумлены, обнаружив себя сидящими в пивной, расположенной в приходе св. Андрея, что в Лондоне, — каковая пивная в качестве вывески имела изображение «Развеселого матросика».

Комната, неудобная, закопченная, низкая и во

---

[49] Сноски: 49
© Перевод. В. Рогов.

[50] Сноски: 50
Эдуард III (1312–1377) — английский король (1327–1377).

всех других смыслах схожая с заведениями подобного рода в те времена, — все же, по мнению гротескных групп, там и сям в ней расположившихся, в достаточной мере отвечала своему назначению.

Из них самую любопытную, а быть может и самую бросающуюся в глаза компанию, составляли, по-моему, два наших матроса.

Тот, кто казался старшим и кого его товарищ называл характерною кличкою «Рангоут», был и самый высокий из двоих. Рост его достигал едва ли не шести с половиною футов, и его постоянная сутулость казалась неизбежным последствием столь чудовищной высоты. Избыток роста, однако, более чем с лихвой искупался изъянами иного рода. Он был чрезвычайно худ и мог бы, как утверждали его товарищи, в пьяном виде служить вымпелом, а в трезвом — бушпритом. Но эти и подобные им шутки, видимо, никогда не оказывали действия ни на единый musculus risorius[51] матроса. Выражение его лица, скуластого, горбоносого, подуздоватого, с огромными белыми глазами навыкате, хотя и тупо равнодушное ко всему сущему, при этом было столь

[51] Сноски: 51
Мышцу смеха (*лат.*).

серьезно, что не поддавалось ни описанию, ни воспроизведению.

Матрос помоложе, если судить по наружности, являл собою полную противоположность своему спутнику. Он был не выше четырех футов. Неуклюжее, коренастое тело поддерживали толстые кривые ноги, а необычно короткие и плотные руки с громадными кулаками болтались по бокам наподобие ластов морской черепахи. Поблескивали глубоко посаженные глазки неопределенного цвета. Нос утопал в круглом, пухлом, багровом лице; а толстая верхняя губа покоилась на еще более толстой нижней с видом самодовольной уверенности, усугублявшимся от привычки их обладателя время от времени облизываться. Он, по всей очевидности, относился к своему товарищу с чувством полууважительным, полускептическим; и порою смотрел ему в лицо, как заходящее алое солнце смотрит снизу вверх на утесы Бен Невиса[52].

Многообразны и богаты событиями были в тот вечер скитания достойной пары по окрестным питейным заведениям. Самая обильная казна способна оскудеть, и наши друзья пришли в этот

---

[52] Сноски: 52

Бен Невис — гора в Шотландии, самая высокая на Британских островах

кабак с пустыми карманами.

В то самое время, когда, собственно, и начинается наше повествование, Рангоут и друг его Хью Брезент сидели посередине зала, положив локти на большой дубовый стол и подперев щеки ладонями. Из-за громадной бутыли «пенного», за которую еще не было заплачено, взирали они на многознаменательные слова «Мела нет»[53], к их изумлению и негодованию начертанные над дверью тем самым минералом, наличие которого надпись, пыталась отрицать. Не то, чтоб можно было по всей строгости счесть питомцев моря наделенными даром расшифровывать письмена — даром, среди простонародья их дней почитаемым немногим менее каббалистическим, нежели искусство писания, — но, если сказать правду, в самой форме букв был некий перекос — крен в подветренную сторону — который, по мнению обоих матросов, предвещал долгие шторма; и привел их к решению, если пользоваться аллегорическими словами самого Рангоута, «пустить в ход помпы, поставить паруса и бежать впереди ветра».

Соответственным образом расправившись с

---

[53] Сноски: 53

«Мела нет» — означает: в кредит не наливают.

остатками эля и запахнув короткие бушлаты, они наконец рванулись на улицу. Хотя Брезент дважды закатывался в камин, приняв его за дверь, все же в конце концов их побег завершился удачею — и половина первого ночи застала наших, готовых на любые проделки, героев бегущими со всех ног по темному переулку к лестнице св. Андрея и преследуемыми взъяренной хозяйкой «Развеселого матросика».

В эпоху, когда протекало действие нашего богатого событиями повествования, а также на протяжении многих предыдущих и последующих лет, вся Англия, а столица ее в особенности, периодически оглашалась ужасным криком: «Чума!». Город был в огромной мере опустошен — и по тем страшным кварталам, сопредельным Темзе, где среди темных, узких, загаженных переулков, по преданию, родился Демон Чумы, рыскали одни лишь Тревога, Ужас и Суеверие.

Волею короля такие кварталы объявлены были запретными, и нарушать их жуткий покой возбранялось под страхом смерти. Но ни указ государя, ни огромные барьеры, возведенные у начала улиц, ни перспектива смерти, почти с полной вероятностью настигавшей несчастного, которого никакая беда не в силах была удержать

от дерзновенной попытки — ничто не спасало от еженощных грабежей опустелые и обезлюдевшие жилища, очищаемые от всего, сделанного из железа, меди или свинца и способного принести хоть какой-нибудь доход.

Помимо всего прочего, обнаруживалось, как правило, после того, как каждою зимою убирали барьеры, что замки, засовы и тайные погреба весьма неудовлетворительно охраняли те обильные запасы вин и крепких напитков, которые их владельцы, боясь риска и хлопот, сопряженных с их перевозкой из лавок в запретных кварталах, решились доверить на время выезда столь ненадежной защите.

Но лишь весьма немногие из перепуганных жителей считали подобные происшествия делом рук человеческих. Духи Чумы, бесы мора, демоны заразы были в то время обычными пугалами; и каждый час рассказывали о них такие леденящие кровь истории, что все запретное скопление домов оказалось окутанным страхом, словно саваном, и часто самого грабителя спугивали ужасы, созданные его собственными преступлениями; и во всем обширном пространстве запретной части города царили мрак, тишина, зараза и смерть.

И один-то из этих ранее упомянутых зловещих барьеров, обозначавших границу запретных зачумленных кварталов, внезапно преградил путь Рангоуту и достойному Хью Брезенту, пробиравшимся по глухому переулку. О возвращении не могло быть и речи, исключалось и промедление, ибо погоня настигала их. Вскарабкаться по грубо сколоченным доскам для заправских моряков было безделицей; и, вдвойне разгоряченные бегом и выпивкой, они не мешкая перемахнули через ограду и, подбадривая себя криками и улюлюканьем, вскоре потерялись в зловонных и запутанных переулках.

Да, не будь они пьяны до утраты рассудка, ужас положения, в которое они попали, наверное, остановил бы их нетвердые шаги. В холодном воздухе стоял туман. Булыжники, вывороченные из мостовых, в беспорядке валялись среди густой травы, доходившей до щиколоток. Развалины домов загромождали улицы. Всюду разносилось самое омерзительное и ядовитое зловоние, а тот жуткий свет, что и порою полуночи мерцает во влажной и зараженной атмосфере, позволял увидеть, как лежат в закоулках и тупиках или гниют в лишенных окон строениях трупы многих ночных мародеров, остановленных чумою в самый

момент грабежа.

Но ничто видимое или ощущаемое не в силах было удержать людей, храбрых от природы, а тогда в особенности, полных до краев отвагой и «пенным», готовых следовать прямо — насколько позволила бы их валкая походка — прямо в зев Смерти. Вперед, все вперед шествовал хмурый Рангоут, заставляя мрачное безлюдье вновь и вновь отзываться эхом на его вопли, подобные страшным воинственным кличам индейцев; и вперед, все вперед катился толстяк Брезент, уцепившись за бушлат своего более прыткого товарища и значительно превосходя его самые емощные голосовые усилия, издавая in basso[54] бычий рев во всю силу своих стенторовых[55] легких.

Наконец, они, судя по всему, достигли средоточия заразы. С каждым их шагом или рывком переулки делались все зловоннее и омерзительнее, все уже и запутаннее. То и дело с гниющих крыш над головою низвергались огромные балки и камни, и тяжесть их падения говорила о громадной высоте окрестных домов; требовались

---

[54] Сноски: 54
Басом *(ит.).*

[55] Сноски: 55
Стентор — греческий глашатай, известный своим громким голосом.

немалые усилия для того, чтобы продираться сквозь частые кучи мусора, и совсем нередко рука натыкалась на скелет, а то и на труп, еще облеченный плотью.

Внезапно, когда матросы набрели на вход в высокое и зловещее здание, особо пронзительному крику возбужденного Рангоута ответил изнутри быстрый и нестройный хор бешеных, дьявольских воплей, похожих на смех. Не обескураженные этими звуками, хотя в подобное время и в подобном месте они могли бы остановить сердце, менее разгоряченное, двое пьяных очертя голову рванулись к двери, распахнули ее настежь и ввалились внутрь, шатаясь и изрыгая хулу.

Помещение, куда они попали, оказалось лавкою гробовщика, но сквозь открытый люк в углу недалеко от входа виднелся длинный ряд винных погребов, чья глубь, как свидетельствовал порою звук откупориваемых бутылок, была отменно заполнена надлежащим содержимым.

Посередине комнаты находился стол, в центре же его стоял ушат, видимо, с пуншем. Бутылки разных вин и напитков, а также кувшины, баклаги и сулеи всякого вида и разбора в обилии уснащали стол. Вокруг него на гробовых козлах восседала компания из шести человек. Попыта-

юсь описать их по порядку.

Лицом ко входу и несколько возвышаясь над своими сотрапезниками, сидел субъект, казавшийся председателем сборища. Он был высок и худ, и Рангоут пришел в изумление, увидев кого-то более тощего, нежели он сам. Лицо этого человека было желто, как шафран, — но лишь одна черта его была настолько яркою, чтобы заслуживать подробного описания. Чертою этою был его лоб, столь необычно и отвратительно высокий, что он казался беретом или короною из плоти, нахлобученной ему на голову. Рот его был искривлен в пугающе приветливой улыбке, а глаза, как, впрочем, глаза всех присутствующих, остекленели от винных паров. Этот господин от головы до ног был облачен в роскошно вышитый гробовой покров из шелкового бархата, в который небрежно драпировался на манер испанского плаща. Он то и дело с бойким и умудренным видом кивал головою, сплошь утыканною черными перьями с плюмажей на катафалке; а в правой руке держал колоссальную человеческую бедренную кость, которой, казалось, он неведомо почему только что огрел кого-то из присутствующих.

Прямо напротив него и спиною к двери находилась дама нисколько не менее необычайного

вида. Хотя столь же высокая, как только что описанный субъект, она, не в пример ему, не имела никакого права жаловаться на неестественную худобу. По всему, она пребывала в последней стадии водянки; и фигура ее весьма напоминала огромную бочку октябрьского пива, стоявшую рядом с нею в углу. Лицо ее было необычайно полное, красное и круглое; и облик ее отмечала та же особенность или, вернее, тот же недостаток особенностей, что и упомянутый мною ранее применительно к председателю, — а именно то, что лишь одна черта ее лица была в достаточной мере выразительна для детальной характеристики; да и проницательный Брезент мигом заметил, что подобное замечание было бы справедливо относительно каждого из присутствующих: любой из них как бы монополизировал некую часть лица. У дамы, о которой идет речь, этой частью был рот. Начинаясь у правого уха, он, словно ужасающая пропасть, простирался до левого, и маленькие сережки то и дело в него попадали. Однако она всемерно тщилась держать его закрытым и сохранять достоинство, одета же была в свеженакрахмаленный и отутюженный саван, доходящий ей до подбородка и украшенный брыжами из гофрированного миткаля.

По правую руку от нее сидела крохотная барышня, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальчиков этого нежного создания, ее мертвенно бледные губы, едва заметный румянец на землистом лице — все непререкаемо свидетельствовало о скоротечной чахотке. Тем не менее, ее отличал крайний haut ton[56]; грациозная, dégagée[57], она была наряжена в просторный и красивый саван из тончайшего индийского батиста; локоны струились по ее шее; нежная улыбка играла на ее устах; но ее нос, чрезвычайно длинный, тонкий, гибкий и прыщавый, свисал гораздо ниже ее рта и, несмотря на то, что она время от времени отодвигала его в сторону языком, придавал ее облику несколько двусмысленное выражение.

Напротив нее и слева от дамы, страдающей водянкою, сидел пухлый, сиплый, подагрический старичок, чьи щеки покоились на плечах своего владельца, как два огромных бурдюка с портвейном. Скрестив руки и положив забинтованную ногу на стол, он словно бы считал себя достойным некоторого уважения. Он, по всей

---

[56] Сноски: 56
Светский тон, светские манеры (*фр.*).

[57] Сноски: 57
Непринужденная (*фр.*).

очевидности, гордился каждым дюймом своей наружности, но особливо радовался, привлекая внимание к яркому кафтану. Кафтан этот, говоря по правде, должен был стоить ему немалых денег и сшит был отменно по мерке, а перекроен был из какой-то разноцветной хоругви с вышитым по ней знаменитым гербом — такие хоругви и в Англии, и в других странах, согласно обычаю, вывешивают на домах знатных особ, когда там кто-нибудь опочиет.

Рядом с ним и по правую руку от председателя находился господин в длинных белых чулках и коротких бумажных панталонах. Тело его нелепо сотрясалось, ибо на него, как решил Брезент, «ужасти напали». Его недавно выбритые челюсти были натуго соединены муслиновою повязкой; а руки были связаны подобным же образом, что мешало ему вволю угощаться спиртным на столе; предосторожность, по мнению Рангоута, необходимая, ежели судить по его особо ненасытному и запьянцовскому виду. Тем не менее, его невиданные уши, которые никак нельзя было привязать, маячили в атмосфере помещения и иногда судорожно настораживались при звуке извлекаемой пробки.

В-шестых и в-последних, напротив него поме-

щался весьма окостеневший субъект, который, будучи разбит параличом, должен был, если говорить серьезно, чувствовать себя весьма неловко в своем неудобном облачении. Облачен же он был довольно-таки необычно, в новый и нарядный гроб из красного дерева. Верхушка гроба давила ему на череп, нависая на манер капюшона и придавая лицу его неописуемое своеобразие. По бокам гроба прорезаны были отверстия для рук — столь же ради удобства, сколь и для красоты; но подобное одеяние препятствовало облаченному в него сидеть так же прямо, как его сотрапезники; и он лежал, опираясь о козлы, под углом в сорок пять градусов, а его чудовищно выпученные глаза выкатывали ужасные белки к потолку, в абсолютном изумлении собственною величиною.

Перед присутствующими лежали черепа, служившие пиршественными кубками. Над головою висел человеческий скелет, привязанный веревкою за ногу к кольцу в потолке. Вторая нога, ничем не удерживаемая, торчала под прямым углом, и некрепко связанный скелет со стуком поворачивался по прихоти любого порыва ветра, случайно попадавшего в помещение. В черепной коробке этого мерзкого костяка помещались горячие угли, бросавшие прерывистый, но яркий

свет на всю сцену; а гробы и другие похоронные принадлежности были высоко нагромождены по всей комнате и перед окнами, не давая проникнуть на улицу ни единому лучу.

При виде такого необыкновенного сборища и еще более необыкновенного убранства наши матросы не в силах были соблюдать необходимый декорум. Рангоут облокотился о стену, челюсть его отвалилась более обычного, а глаза выпучились до отказа; а Хью Брезент, согнувшись, коснулся носом стола, охватил колени и разразился долгим, буйным и громким смехом, весьма несвоевременным и неумеренным.

Но длинный председатель, не возмущаясь таким крайне грубым поведением, очень милостиво улыбнулся незваным гостям — величаво кивнул им черными перьями — и, встав, взял каждого из них за руку и отвел к сидениям, тем временем поставленным для пришедших кем-то из компании. Рангоут не оказал ни малейшего сопротивления, но уселся, как ему указывали; а кавалерственный Хью перенес свои козлы с места в головах стола поближе к маленькой чахоточной барышне в саване, превесело плюхнулся рядом с нею и, налив череп красного вина, залпом осушил его за продолжение знакомства.

Окостеневший господин в гробу, казалось, был крайне возмущен таким дерзким поведением; и могли бы возникнуть серьезные последствия, но председатель, постучав по столу, привлек внимание всех присутствующих следующей речью:

— Наш приятный долг при настоящем, столь счастливом событии…

— Тихо! — с очень серьезным видом перебил Рангоут. — Погодите-ка минуточку да скажите нам, кто вы такие есть, да какого черта вам здесь надобно, что разрядились вы по-бесовски да хлещете синюю погибель[58], которую припас на зиму мой корабельный дружок, гробовщик Вилл Вимбл!

В ответ на эту непростительно грубую выходку вся компания стала подниматься с мест и издавать те же бешеные, дьявольские вопли, что ранее привлекли матросов. Но председатель сдержался первым и, с превеликим достоинством повернувшись к Рангоуту, продолжал:

— Весьма охотно удовлетворим мы всякое проявление разумного любопытства со стороны столь высоких, хотя и неприглашенных гостей. Знайте же, что я монарх сих владений и само-

---

[58] Сноски: 58
Синяя погибель — джин.

державно здесь царствую под титулом «Король Чума Первый».

Этот покой, который вы несомненно и кощунственно сочли за лавку гробовщика Вилла Вимбла, человека, нам неведомого, чье плебейское наименование ни разу доныне не отягощало наш августейший слух, — этот покой, говорю я, является тронным залом нашего дворца и отведен для заседаний государственного совета и для иных возвышенных целей.

Благородная дама, сидящая напротив, — наша миропомазанная супруга, королева Чума. Другие высокопоставленные особы, лицезреть коих вы удостоились, все принадлежат к нашей фамилии, и их королевская кровь явствует из носимых ими титулов: его высочество эрцгерцог Чумоносный — его высочество герцог Чумовой — его высочество герцог Чумазый — и ее светлость эрцгерцогиня Чумичка.

Что до вашего вопроса о деле, ради которого мы держим здесь совет, — продолжал он, — да простится нам, ежели мы ответим, что оно касается только наших личных и августейших интересов и ни в коей мере не любопытно ни для кого, кроме нас самих. Но, принимая во внимание те права, на которые вы как гости и пришельцы

можете претендовать, мы поясним вам, что сею ночью мы собрались тут, дабы путем глубоких исследований и подробных изучений рассмотреть, проанализировать и до конца определить не поддающийся уточнению характер — непостижимые качества и букет — оных бесценных сокровищ для вкуса, вин, элей и крепких напитков сей славной столицы; и этим не столько осуществить наши желания, сколько обеспечить истинное благосостояние того неземного государя, что правит всеми нами, владения которого беспредельны, а имя которому — Смерть.

— А имя которому — Деви Джонс[59]! — воскликнул Брезент, наливая и своей даме, и себе по черепу вина.

— Нечестивый смерд! — сказал председатель, обращая внимание на достойного Хью. — Нечестивый и подлый холоп! — мы сказали, что, принимая во внимание те права, кои даже применительно к твоей подлой особе мы не желаем нарушать, мы снизошли до ответа на твои невежественные и неразумные расспросы. За ваше кощунственное вторжение в наш совет, мы почитаем нашим долгом приговорить тебя и

[59] Сноски: 59

Деви Джонс — в английском морском фольклоре дух моря, или дьявол.

твоего спутника к штрафу, взимаемому путем выпивания каждым из вас по галлону черного жгута[60] — выпив каковое количество за процветание нашего королевства — и залпом — и преклонив колена — вы будете вольны или отправиться восвояси или остаться и удостоиться чести быть допущенными к нашему столу, в соответствии с тем, как кому из вас заблагорассудится.

— Никак этого не будет, — отвечал Рангоут, которому достоинство и властность Короля Чумы, несомненно, внушили известную почтительность, почему он встал и старался не шататься, пока говорил, — ежели вашему величеству угодно, то никак этого не будет, чтобы я да погрузил себе в трюм хотя бы четвертую часть того, что ваше величество только что изволили упомянуть. Не говоря ничего о грузе, что я утром принял на борт в виде балласта и не упоминая всякие разные эли да водки, погруженные этим вечером в разных гаванях, я в настоящее время полон до отказа «пенным», принятым и сполна оплаченным под вывеской «Развеселого матросика». А поэтому да будет вашему величеству благоугодно

---

[60] Сноски: 60
Черный жгут — портвейн.

считать желаемое сделанным — потому как я никоим образом не могу и не хочу проглотить хотя бы еще капельку — а менее всего хотя бы капельку того вонючего пойла, которое называется черным жгутом.

— Стоп! — перебил Брезент, изумленный длительностью речи своего спутника не менее, нежели причиною его отказа. — Стоп травить, Рангоут, салага ты этакая! Мои трюма еще вмещают, а вот ты, видать, малость перегружен; а касательно твоей доли, то чем тебе из-за нее шквал подымать, то уж лучше я у себя в трюме найду ей местечко, но…

— Подобное действие, — вмешался председатель, — отнюдь не соответствует условиям пени или приговора, распространяемого на обоих равномерно и, подобно установленному закону, ни в коей мере не подлежащего изменениям или пересмотру. Оговоренные условия должны быть выполнены в точности и без малейшего промедления — в противном случае мы повелеваем привязать вам шею к пяткам и надлежащим образом утопить за крамолу вон в той бочке октябрьского пива!

— Правильно! — правильно! — справедливый и правильный приговор! — достославное реше-

ние! — достойный, правильный, благочестивый суд! — разом закричала чумная фамилия. Король поднял брови, отчего лоб его покрылся бесчисленными морщинами; подагрический старичок засопел наподобие кузнечных мехов; чахоточная барышня помахала носом; господин в бумажных панталонах навострил уши; дама в саване принялась ловить ртом воздух, как издыхающая рыба; а обитатель гроба еще более окостенел и завел глаза.

— Хе! хе! хе! — засмеялся Брезент, пренебрегая всеобщим волнением. — Хе! хе! хе! — хе! хе! хе! хе! — хе! хе! хе! — я говорил, — сказал он, — я говорил, пока мистер Король Чума не начал встревать, что двумя-тремя галлонами черного жгута больше или меньше для такого крепкого суденышка с неперегруженными трюмами вроде меня — пустяк, но ежели дело дошло до того, чтобы пить за здоровье Дьявола (накажи его господь) да ползать на коленях перед этим королишкой — а ведь доподлинно, как то, что я грешник, я про него знаю, что он не кто иной, как Тим Баламут, актерщик! — так это дело совсем другого сорта и вовсе свыше моего разумения.

Ему не дали спокойно договорить. При имени Тима Баламута все повскакали с мест.

— Измена! — закричал его величество Король Чума Первый.

— Измена! — сказал подагрический человечек.

— Измена! — завопила эрцгерцогиня Чумичка.

— Измена! — пробормотал господин с подвязанной челюстью.

— Измена! — пробурчал обитатель гроба.

— Измена! Измена! — заверещала ее большеротое величество; и, схватив сзади за штаны несчастного Брезента, который только начал наливать себе еще, она подняла его высоко в воздух и без лишних церемоний бросила в огромную разверстую бочку любимого им эля. Несколько секунд он то всплывал, то погружался, как яблоко в пуншевой кастрюле и наконец исчез в водовороте пены, которую ему легко удалось поднять барахтаясь в напитке, и без того пенном.

Но рослый моряк взирал на поражение своего товарища без покорности. Сбросив Короля Чуму в погреб, отважный Рангоут выругался, захлопнул за ним люк и широкими шагами вышел на середину комнаты. Тут он сорвал качавшийся над столом скелет и начал им размахивать с такой энергией и охотой, что, пока погасал последний мерцающий в помещении свет, ему удалось вышибить мозги подагрическому господинчику.

После этого, изо всех сил кинувшись на роковую бочку, полную октябрьским пивом и Хью Брезентом, он во мгновение ока опрокинул и покатил ее. И хлынул поток такой бурный — такой бешеный — такой напористый — что комнату затопило от стены до стены — нагруженные столы перевернулись — козлы попадали — ушат с пуншем был повергнут в камин — а дамы в истерику. Поплыли, переворачиваясь, гробы и похоронные принадлежности. Кувшины, баклаги и сулеи перемешались в беспорядке, оплетенные фляги смаху налетали на битые бутылки. Страдавший «ужастями» моментально утонул — окостеневший господин отплыл в своем гробу — победоносный же Рангоут, схватив за талию толстую даму в саване, выскочил с нею на улицу и прямиком пустился к «Беззаботной», а за ним на всех парусах следовал бесстрашный Хью Брезент, который два-три раза чихнул, а теперь пыхтел и задыхался, волоча за собою эрцгерцогиню Чумичку.

Тишина[61]
Притча

Горные вершины дремлют;
В долинах, утесах и пещерах тишина.
Алкман

— Внемли мне, — молвил Демон, возлагая мне руку на голову. — Край, о котором я повествую, — унылый край в Ливии, на берегах реки Заиры[62], и нет там ни покоя, ни тишины.

Воды реки болезненно шафранового цвета; и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются, бурно и судорожно, под алым оком солнца. На многие мили по обеим сторонам илистого русла реки тянутся бледные заросли гигантских водяных лилий. Они вздыхают в безлюдье, и тянут к небу длинные, мертвенные шеи, и вечно кивают друг другу. И от них исходит неясный ропот, подобный шуму подземных вод. И они вздыхают.

Но есть граница их владениям — ужасный,

---

[61] Сноски: 61
© Перевод. В. Рогов.

[62] Сноски: 62
Заира — старое португальское название реки Конго.

темный, высокий лес. Там, наподобие волн у Гебридских островов, непрестанно колышется низкий кустарник. Но нет ветра в небесах. И высокие первобытные деревья вечно качаются с могучим шумом и грохотом. И с их уходящих ввысь вершин постоянно, одна за другою, падают капли росы. И у корней извиваются в непокойной дремоте странные ядовитые цветы. И над головою, громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не перекатятся, подобно водопаду, за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах. И по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины.

Была ночь, и падал дождь; и, падая, то был дождь, но, упав, то была кровь. И я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову — и лилии кивали друг другу и вздыхали в торжественном запустении.

И мгновенно сквозь прозрачный мертвенный туман поднялась багровая луна. И взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвенен, высок, — и утес был сер. На нем были высечены письмена. И по трясине, поросшей водяными лилиями, я подошел к самому берегу, дабы прочитать письмена, высеченные на камне. Но я не мог

их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровей засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утес и на письмена, и письмена гласили: запустение.

И я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек; и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и величав и завернут от плеч до ступней в тогу древнего Рима. И очертания его фигуры были неясны — но лик его был ликом божества; и ризы ночи, тумана, луны и росы не скрыли черт его лица. И чело его было высоко от многих дум, и взор его был безумен от многих забот; и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращении к роду людскому и жажде уединения.

И человек сел на скалу и склонил голову на руку и смотрел на запустение. Он смотрел на низкий непокойный кустарник, и на высокие первобытные деревья, и на полные гула небеса, и на багровую луну. И я затаился в сени водяных лилий и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру, и на мертвенную желтую

воду, и на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал вздохи водяных лилий и ропот, не умолкавший среди них. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я спустился в трясину и направился по воде в глубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы услышали мой зов и пришли с бегемотом[63] к подножью утеса и рычали, громко и устрашающе, под луной. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я проклял стихии проклятием буйства; и страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури — и дождь бил по голове человека — и река вышла из берегов — и воды ее вспенились от мучений — и водяные лилии пронзительно кричали — и деревья рушились под натиском

---

[63] Сноски: 63

Бегемот — имеется в виду мифическое библейское существо, демон плотских желаний. В Библии описан как одно из двух чудовищ (наряду с Левиафаном), которых Бог демонстрирует праведнику Иову в доказательство Своего могущества (Книга Иова, 40, 10–19).

ветра — и перекатывался гром — и низвергалась молния — и утес был сотрясен до основания. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я разгневался и проклял проклятием *тишины* реку и лилии, ветер и лес, небо и гром и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и *затихли*. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе — и гром заглох — и молния не сверкала — и тучи недвижно повисли, и воды вернулись в берега и застыли — и деревья более не качались — и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали — и меж ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной, бескрайней пустыне. И я взглянул на письмена утеса и увидел, что они изменились; и они гласили: тишина.

И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утесе во весь рост и слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, и письмена на утесе были: тишина. И человек затрепетал и отвернулся и кинулся прочь, так что я его более не видел».

Да, прекрасные сказания заключены в томах

Волхвов — в окованных железом печальных томах Волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о Небе и о Земле и о могучем море — и о Джиннах, что завладели морем и землей и высоким небом. Много мудрого таилось и в речениях Сивилл; и священные, священные слова были услышаны встарь под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Додоны[64], — но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне Демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю чудеснейшей всех! И, завершив свой рассказ, Демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с Демоном, и он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног Демона и неотрывно смотрела ему в лицо.

[64] Сноски: 64

Додона — древнегреческий город, который славился в античности оракулом при храме Зевса. Ответы оракула трактовались по шелесту листьев священного дуба, по журчанию источника и по звону цепочек додонского таза (меди) и по жребию.

Вильям Вильсон[65]

Что скажет совесть,
Злой призрак на моем пути?

Чемберлен. Фаронида

Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерян ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье,

---

[65] Сноски: 65

© Перевод. Р. Облонская.

об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодействам, достойным Гелиогабала[66]. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпеньем, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.

Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал — жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, — не могут они этого не признать, — что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжко не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве умираю я не жертвой ужаса,

---

[66] Сноски: 66

Марк Аврелий Антонин Гелиогабал (204–222) — римский император из династии Северов, правивший с 8 июня 218 по 11 марта 222 года.

жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?

Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая, по многим причинам, серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.

Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих

шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.

Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увы! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.

Дом, как я уже сказал, был старый и несклад-

ный. Двор — обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.

Эти, совсем тюремные, стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю — по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, так же строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу, — в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном, — неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!

Из угла массивной ограды, насупясь, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждом скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны — мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.

Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях — когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на Рождество или на летние вакации.

Но дом! Какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно пределить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.

Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь — де-

сять — кабинет нашего директора, преподобного доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два другие угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом — учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты — черные, ветхие, заваленные грудами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом весьма внушительных размеров часы.

В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира,

и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы — из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то outre[67]. События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание — смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.

Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр — стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало

---

[67] Сноски: 67
Преувеличенное (*фр.*).

множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражащих душу. «O le bon temps, quo ce siecle de fer!»[68]

И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей натуры вскоре выделили меня среди моих однокашников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня летами — всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я, — обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые — так уж повелось с незапамятных времен — всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном, — вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих

[68] Сноски: 68
О дивная пора — железный этот век! (*фр.*)

суждениях и не подчиняться моей воле — иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть, — это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.

Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И однако его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно

прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошеная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года, — весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.

Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.

Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него

(а было их множество — и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и использоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыграться на его недостатке.

Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его строумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не

приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими. Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильней меня задеть (хотя я тщательно это

скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки — это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.

Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.

Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, — что подражание это замечал единственно я сам и

терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставалось неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или — это более вероятно — своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.

Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошеных советах; при

этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он во всяком случае намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.

Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство

мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил и повел себя с несвойственной ему прямотой — и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, — беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.

В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных

больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками; изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спаленке помещался Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и, с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею

вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, — лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул — и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это… это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! Те же черты! Тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, — всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления, оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.

Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь

укоренились порочные привычки, да я еще както вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно раскрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.

Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился нежданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался чрез полукруглое окно. Едва пере-

ступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимировом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, какой был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».

Я мигом отрезвел.

В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слотов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.

Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки

либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, узнал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу, — соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.

Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой взыграл с удвоенной силой, — с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и

изобрел множество новых безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.

Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищно — и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона — самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непро-

стимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.

Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, — по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик[69], и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее озаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком

[69] Сноски: 69

Луций Вибуллий Гиппарх Тиберий Клавдий Аттик Герод (Ирод) (ок. 101–177) — греческий оратор, также прославился общественной деятельностью.

этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.

Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная — экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер, — предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя

в точности, как я предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более — так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за моею спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.

Как мне теперь следовало себя вести, сказать трудно. Жалкое положение моей жертвы привело всех в растерянность и уныние; на время в комнате установилась глубокая тишина, и я чувствовал, как под множеством горящих презрением и упреком взглядов моих менее испорченных товарищей щеки мои запылали.

Признаюсь даже, что, когда эта гнетущая тишина была внезапно и странно нарушена, нестерпимая тяжесть на краткий миг упала с моей души. Массивные створчатые двери вдруг распахнулись с такой силой и так быстро, что все свечи в комнате, точно по волшебству, разом погасли. Но еще прежде, чем воцарилась тьма, мы успели заметить, что на пороге появился незнакомец примерно моего роста, окутанный плащом. Тьма, однако, стала такая густая, что мы лишь ощущали его присутствие среди нас. Мы еще не успели прийти в себя, ошеломленные грубым вторжением, как вдруг раздался голос незваного гостя.

— Господа, — произнес он глухим, отчетливым и незабываемым шепотом, от которого дрожь пробрала меня до мозга костей, — господа, прошу извинить меня за бесцеремонность, но мною движет долг. Вы, без сомнения, не осведомлены об истинном лице человека, который выиграл нынче вечером в экарте крупную сумму у лорда Гленденнинга. А потому я позволю себе предложить вам скорый и убедительный способ получить эти весьма важные сведения. Благоволите осмотреть подкладку его левой манжеты и те пакетики, которые, надо полагать, вы обнаружите в довольно поместительных карманах

его сюртука.

Во время его речи стояла такая тишина, что, упади на пол булавка, и то было бы слышно.

Сказав все это, он тотчас исчез — так же неожиданно, как и появился. Сумею ли я, дано ли мне передать обуявшие меня чувства? Надо ли говорить, что я испытал все муки грешника в аду? Уж конечно, у меня не было времени ни на какие размышления. Множество рук тут же грубо меня схватили, тотчас были зажжены свечи. Начался обыск. В подкладке моего рукава обнаружены были все фигурные карты, необходимые при игре в экарте, а в карманах сюртука несколько колод, точно таких, какие мы употребляли для игры, да только мои были так называемые arrondees: края старших карт были слегка выгнуты. При таком положении простофиля, который, как принято, снимает колоду в длину, неизбежно даст своему противнику старшую карту, тогда как шулер, снимающий колоду в ширину, наверняка не сдаст своей жертве ни одной карты, которая могла бы определить исход игры.

Любой взрыв негодования не так оглушил бы меня, как то молчаливое презрение, то язвительное спокойствие, какое я читал во всех взглядах.

— Мистер Вильсон, — произнес хозяин дома,

наклонясь, чтобы поднять с полу роскошный плащ, подбитый редкостным мехом, — мистер Вильсон, вот ваша собственность. (Погода стояла холодная, и, выходя из дому, я накинул поверх сюртука плащ, по здесь, подойдя к карточному столу, сбросил его.) Я полагаю, нам нет надобности искать тут, — он с язвительной улыбкой указал глазами на складки плаща, — дальнейшие доказательства вашей ловкости. Право же, нам довольно и тех, что мы уже видели. Надеюсь, вы поймете, что вам следует покинуть Оксфорд и, уж во всяком случае, немедленно покинуть мой дом.

Униженный, втоптанный в грязь, я, наверно, все-таки не оставил бы безнаказанными его оскорбительные речи, если бы меня в эту минуту не отвлекло одно ошеломляющее обстоятельство. Плащ, в котором я пришел сюда, был подбит редчайшим мехом; сколь редким и сколь дорогим, я даже не решаюсь сказать. Фасон его к тому же был плодом моей собственной фантазии, ибо в подобных пустяках я, как и положено щеголю, был до смешного привередлив. Поэтому, когда мистер Простои протянул мне плащ, что он поднял с полу у двери, я с удивлением, даже с ужасом, обнаружил, что мой плащ уже перекинут у меня

через руку (без сомнения, я, сам того не заметив, схватил его), а тот, который мне протянули, в точности, до последней мельчайшей мелочи его повторяет.

Странный посетитель, который столь гибельно меня разоблачил, был, помнится, закутан в плащ. Из всех собравшихся в тот вечер в плаще пришел только я. Сохраняя по возможности присутствие духа, я взял плащ, протянутый Престоном, незаметно кинул его поверх своего, с видом разгневанным и вызывающим вышел из комнаты, а на другое утро, еще до свету, в муках стыда и страха поспешно отбыл из Оксфорда на континент.

Но бежал я напрасно! Мой злой гений, словно бы упиваясь своим торжеством, последовал за мной и явственно показал, что его таинственная власть надо мною только еще начала себя обнаруживать. Едва я оказался в Париже, как получил новое свидетельство бесившего меня интереса, который питал к моей судьбе этот Вильсон. Пролетали годы, а он все не оставлял меня в покое. Негодяй! В Риме — как не вовремя и притом с какой беззастенчивой наглостью — он встал между мною и моей целью! То же и в Вене… а потом и в Берлине… и в Москве! Найдется ли такое место

на земле, где бы у меня не было причин в душе его проклинать? От его загадочного деспотизма я бежал в страхе, как от чумы, но и на край света я бежал напрасно!

Опять и опять в тайниках своей души искал я ответа на вопросы: «Кто он?», «Откуда явился?», «Чего ему надобно?». Но ответа не было. Тогда я с величайшим тщанием проследил все формы, способы и главные особенности его неуместной опеки. Но и: тут мне почти не на чем было строить догадки. Можно лишь было сказать, что во всех тех многочисленных случаях, когда он в последнее время становился мне поперек дороги, од делал это, чтобы расстроить те планы и воспрепятствовать тем поступкам, которые, удайся они мне, принесли бы истинное зло. Какое жалкое оправдание для власти, присвоенной столь дерзко! Жалкая плата за столь упрямое, столь оскорбительное посягательство на право человека поступать по собственному усмотрению!

Я вынужден был также заметить, что мучитель мой (по странной прихоти с тщанием и поразительной ловкостью совершенно уподобясь мне в одежде), постоянно разнообразными способами мешая мне действовать по собственной воле, очень долгое время ухитрялся ни разу не пока-

зать мне своего лица. Кем бы ни был Вильсон, уж это, во всяком случае, было с его стороны чистейшим актерством или же просто глупостью. Неужто он хоть на миг предположил, будто в моем советчике в Итоне, в погубителе моей чести в Оксфорде, в том, кто не дал осуществиться моим честолюбивым притязаниям в Риме, моей мести в Париже, моей страстной любви в Неаполе или тому, что он ложно назвал моей алчностью в Египте, — будто в этом моем архивраге и злом гении я мог не узнать Вильяма Вильсона моих школьных дней, моего тезку, однокашника и соперника, ненавистного и внушающего страх соперника из заведения доктора Брэнсби? Не может того быть! Но позвольте мне поспешить к последнему, богатому событиями действию сей драмы.

До сих пор я безвольно покорялся этому властному господству. Благоговейный страх, с каким привык я относиться к этой возвышенной натуре, могучий ум, вездесущность и всесилье Вильсона вместе с вполне понятным ужасом, который внушали мне иные его черты и поступки, до сих пор заставляли меня полагать, будто я беспомощен и слаб, и приводили к тому, что я безоговорочно, хотя и с горькою неохотой подчинялся его

деспотической воле. Но в последние дни я всецело предался вину; оно будоражило мой и без того беспокойный нрав, и я все нетерпеливей стремился вырваться из оков. Я стал роптать… колебаться… противиться. И неужто мне только чудилось, что чем тверже я держался, тем менее настойчив становился мой мучитель? Как бы там ни было, в груди моей загорелась надежда и вскормила в конце концов непреклонную и отчаянную решимость выйти из порабощения.

В Риме во время карнавала 18… года я поехал на маскарад в палаццо неаполитанского герцога Ди Брольо. Я пил более обыкновенного; в переполненных залах стояла духота, и это безмерно меня раздражало. Притом было нелегко прокладывать себе путь в толпе гостей, и это еще усиливало мою досаду, ибо мне не терпелось отыскать (позволю себе не объяснять, какое недостойное побуждение двигало мною) молодую, веселую красавицу-жену одряхлевшего Ди Брольо. Забыв о скромности, она заранее сказала мне, какой на ней будет костюм, и, наконец заметив ее в толпе, я теперь спешил приблизиться к ней. В этот самый миг я ощутил легкое прикосновение руки к моему плечу и услышал проклятый незабываемый глухой шепот.

Обезумев от гнева, я стремительно оборотился к тому, кто так некстати меня задержал, и яростно схватил его за воротник.

Наряд его, как я и ожидал, в точности повторял мой: испанский плащ голубого бархата, стянутый у талии алым поясом, сбоку рапира. Лицо совершенно закрывала черная шелковая маска.

— Негодяй! — произнес я хриплым от ярости голосом и от самого слова этого распалился еще более. — Негодяй! Самозванец! Проклятый злодей! Нет, довольно, ты больше не будешь преследовать меня! Следуй за мной, не то я заколю тебя на месте! — И я кинулся из бальной залы в смежную с ней маленькую прихожую, я увлекал его за собою — и он ничуть не сопротивлялся.

Очутившись в прихожей, я в бешенстве оттолкнул его. Он пошатнулся и прислонился к стене, а я тем временем с проклятиями затворил дверь и приказал ему стать в позицию. Он заколебался было, но чрез мгновенье с легким вздохом молча вытащил рапиру и встал в позицию.

Наш поединок длился недолго. Я был взбешен, разъярен, и рукою моей двигала энергия и сила, которой хватило бы на десятерых. В считанные секунды я прижал его к панели и, когда он таким образом оказался в полной моей власти, с

кровожадной свирепостью несколько раз подряд пронзил его грудь рапирой.

В этот миг кто-то дернул дверь, запертую на задвижку. Я поспешил получше ее запереть, чтобы никто не вошел, и тут же вернулся к моему умирающему противнику. Но какими словами передать то изумление, тот ужас, которые объяли меня перед тем, что предстало моему взору? Короткого мгновенья, когда я отвел глаза, оказалось довольно, чтобы в другом конце комнаты все переменилось. Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало — так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неописуемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью.

Я сказал — мое отражение, но нет. То был мой противник — предо мною в муках погибал Вильсон. Маска его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И ни единой нити в его одежде, ни единой черточки в его приметном и своеобычном лице, которые не были бы в точности такими же, как у меня!

То был Вильсон; но теперь говорил он не шепотом; можно было даже вообразить, будто слова,

которые я услышал, произнес я сам:

— Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв — ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив меня, — взгляни на этот облик, ведь это ты, — ты бесповоротно погубил самого себя!

Почему французик носит руку на перевязи[70]

Ежели кому из джентльменов интересно, то можете сами поглядеть — у меня на визитных карточках так прямо черным по розовой глянцевой бумаге значится: «Сэр Патрик О'Грандисон, баронет; приход Блумсбери, Рассел-Сквер, Саутгемптон-роуд, 39». И ежели кому хочется знать, кто у нас цвет галантности и вершина бон-тона во всем Лондоне, то это как раз я самый и есть. И ничего удивительного (так что можете не воротить носы), ведь уже битые полтора месяца, что я джентльмен, с тех пор как я перестал быть ирландцем и пошел в баронеты, живу — что твой император, уже и образование получил и галантному обхождению обучился. Ох, вам небось охота хоть краем глаза взглянуть, как сэр Патрик О'Грандисон, баронет, выходит, разодетый в пух и прах, чтобы ехать в эту самую оперу, или же садится в бричку и едет кататься в Гайд-Парк! А какая у меня вальяжная фигура! Элегант! Из-за этой фигуры все дамы влюбляются в меня. Ведь

---

[70] Сноски: 70

© Перевод. И. Бернштейн.

во мне росту — любо-дорого посмотреть — добрых шесть футов да еще и три дюйма в придачу. А какая грация, какое сложение сверху донизу! Это вам не три фута с малостью, что росточку в нем — в этом паршивом иностранце-французике, который через дорогу живет и целый божий день с утра до ночи — себе на горе — пялится и зырится на хорошенькую вдовушку миссис Джем, мою соседку (да благословит ее бог!) и самую что ни на есть добрую знакомую. Вы только взгляните — видите? У паршивца рожа кислая и левая рука на перевязи. А почему — сейчас все как есть толком разобъясню.

Дело-то нехитрое вот в чем. В первый же день, как я приехал из славного Коннаута[71] и красотка-вдовушка меня молодца в окошко на улице увидела, — тут же сердце свое мне и отдала. Я это сразу заметил, понятно? Меня не проведешь — не таковский. Вижу: она окошко торопливо распахивает, глаза разинула, таращит, а потом подносит к одному этакое стеклышко в золотой оправе, и дьявол меня заграбастай, ежели взгляд ее сквозь стеклышко не сказал мне яснее слов: «Ах! Свет доброго утра вам, сэр Патрик О'Грандисон, баро-

---

[71] Сноски: 71
Коннаут (Коннахт) — провинция на западе Ирландии.

нет, и низкий поклон! Вы, как погляжу, воистину из джентльменов джентльмен, клянусь душой, и я, ей же ей! ваша, мой дорогой, в любое время дня и ночи — только кликните». Ну, а уж я не из тех, кого можно переплюнуть в галантности. Я отвесил ей поклон, да такой — вы бы видели! А затем сдернул шляпу с головы одним широким рывком и обоими глазами ей подмигнул, словно бы говоря: «Верное слово, вы — премилая крошка, миссис Джем, моя красавица, и захлебнуться мне в ирландской топи болотной, ежели я, сэр Патрик О'Грандисон, баронет, собственной персоной, не готов сей же миг сдавить вас в жарких объятиях и показать вам, как любят у нас в Лондондерри!».

Ну, назавтра утром я как раз сидел и думал, не требует ли от меня галантность послать моей вдовушке любовную писульку, как вдруг входит лакей ливрейный и подает мне разрисованную эдакую визитную карточку, а на ней, он говорит, написано (я сам гравированные слова с завитками не разбираю по причине того, что левша): «мусью» там, «граф», «фу-ты-ну-ты», «мэтр дю-танц» и прочая галиматья — имя и прозвания этого паршивого иностранца-французика, что через дорогу живет.

И тут как раз он сам входит, отвешивает мне

поклон по высшему разряду и говорит, что, мол, только взял на себя смелость сделать мне честь нанести мне краткий визит, и как припустил, припустил, а я ни боже мой не понимаю, чего он лопочет. Одно только слышу: «Пули-ву, вули-ву», — и среди прочего наговорил он мне с три короба разного вранья, что будто бы он, видите ли, без ума от любви к моей вдовушке миссис Джем и что она будто бы питает любовь к нему!

Услышав такое, я, сами понимаете, чуть не взбесился, но вспомнил, однако, что я — сэр Патрик О'Грандисон, баронет, и что хороший тон не допускает, чтобы галантный джентльмен давал волю гневу, ну, я вида не подал, словно бы мне дела нет, балакаю с ним по-дружески, и немного погодя он вдруг — бац! предлагает, чтобы мы вместе пошли прямо к вдовушке и он представит меня мадаме со всеми онерами.

«Ты слышишь, — говорю я про себя. — Ну и везет же тебе, Патрик! Погоди, сейчас он увидит, в кого влюблена без памяти миссис Джем, в тебя, молодца, или же в этого мусью Мэтр дю-танца».

И пошли мы к вдовушке в соседний дом, и ежели вы скажете, что все там было бон-тон и элегант, то не ошибетесь. Ковер лежал во весь пол, в углу — фордыбьяно, и фисгармошка, и

еще черт те что, а в другом углу — диванчик, такой распрекрасный, что в мире не сыскать, а на нем — ангельчик прелестный, миссис Джем собственной персоной.

— Свет доброго утра вам, миссис Джем, — говорю я и отвешиваю ей такой изысканный, элегантный поклон, что у вас бы голова кругом пошла.

А французик-иностранец лопочет:

— Вули-ву, пули-ву, ляп-тяп, и дорогая миссис Джем, вот этот джентльмен — не кто другой, как достопочтенный сэр Патрик О'Грандисон, баронет, мой самый что ни на есть добрый друг и знакомый.

Вдовушка встает с дивана и делает мне изысканный реверанс, какого свет не видывал, и снова садится, ангелочек-ангелочком. Смотрю, провалиться мне, если этот паршивый мусью Мэтр дю-танц в тот же миг не усаживается подле по правую ее ручку. Ух ты черт! Я думал, у меня глаза так прямо и выскочат, до того я разозлился. Но, однако, потом говорю про себя: «Ах так! Вот вы как, мусью Мэтр дю-танц?» И в тот же миг тоже усаживаюсь подле хозяйки по левую ручку — знай, мусью, наших! Ну, вы бы посмотрели, как изысканно и элегантно я ей подмигнул при

этом обоими глазами прямо в лицо!

Но французишка даже и не заподозрил меня ни в чем. Знай себе любезничает с хозяйкой, старается изо всей своей мочи. «Вули-ву, — говорит, — пули-ву. И тяп-ляп».

«Ничего не выйдет, мусью лягушатник», — думаю я про себя. И тоже стал разговаривать что было мочи. И так я ее заговорил моей изысканной, элегантной беседой про милые болота Коннаута, что она только меня одного и слушала. Под конец подарила она меня такой прелестной улыбкой от уха до уха, что я сразу осмелел и пожал ей кончик мизинца самым что ни на есть галантным манером, а сам знай гляжу на нее во все глаза.

И подумайте только, что за хитрая плутовка, лишь только она увидела, что я ей лапку пожимаю, она ее цап — и за спину. Мол, что вы, сэр Патрик О'Грандисон, вот теперь вам будет удобнее, а то право же, хороший тон не допускает, чтобы вы мне ручку пожимали прямо на глазах у этого иностранца-французика мусью Мэтр дю-танца.

Я ей в ответ подмигнул, словно говоря: «Ладно, что до хитростей, то можете на сэра Патрика положиться». И эдак не спеша приступаю к делу. Вы бы умерли, если б видели, как я помаленьку,

осторожненько просунул руку между спинкой дивана и спиной хозяйки. А там — ее лапка дожидается, словно говорит: «Свет доброго утра вам, сэр Патрик О'Грандисон, баронет». Ну, я ее пожал слегка, так только, для начала, самую малость, боясь, не дай бог, показаться грубым. И, ах ты боже мой! она мне отвечает самым легким и нечувствительным пожатием, какое мне в жизни доставалось. «Кровь и гром, сэр Патрик, — думаю я про себя, — ты один и не кто другой — самый красивый и самый счастливый ирландец изо всех сыновей славного Коннаута». И тут уж я жму ей лапку ото всей души, и она, моя красавица, тоже жмет мне руку в ответ вполне чувствительно. Но вы бы лопнули от смеха, видя глупое зазнайство французика, — он так перед ней рассыпался, и ухмылялся, и лопотал, и бормотал, что в жизни я не слыхивал ничего подобного. И пусть дьявол меня заграбастает, ежели я вдруг своими глазами не увидел, как он возьми да подмигни ей. Ох, ну и разозлился же я, не дай вам господи!

— Разрешите, — говорю, — уведомить вас, мусью Мэтр дю-танц, — эдак вежливо говорю, ничем меня не возьмешь, — что хороший тон не допускает пялиться и зыриться на благородную женщину, тем паче таким вот, как вы. И с этими

словами снова пожимаю ей лапку, словно хочу сказать: «Ни боже мой, не сомневайтесь, мое сокровище, сэр Патрик — ваша надежная защита». И снова чувствую ответное пожатие, словно она мне отвечает: «Правда ваша, сэр Патрик, — а мне это понятнее всяких слов. — Правда ваша, клянусь душой, вы — джентльмен что надо, и это как бог свят». Да еще открывает свои ясные буркалы во всю ширь, так что они у нее едва вовсе не выскочили, и смотрит сначала в сердцах на мусью Лягушатника, а потом на меня с улыбкой, что твой солнечный свет.

— Ах так! — говорит этот наглец. — Вот оно что! И вули-ву, пули-ву, — и вбирает голову в плечи все глубже и глубже, а рот изгибает дугой углами вниз — и ни гу-гу.

Сами понимаете, дальше — больше, сэр Патрик совсем рассвирепел, потому что французишка снова подмигивает моей вдовушке, а вдовушка снова мне руку жмет, словно говоря: «Ну-ка, покажите ему, сэр Патрик О'Грандисон, клянусь душой!».

Издал я могучее проклятье: — Ах, ты, — говорю, — паршивый лягушатник и такой-рассякой такой-то сын! — Но в эту минуту что бы вы думали она делает? Вскакивает с дивана, словно

ужаленная, и бегом к дверям. А я гляжу ей вслед и совершенно ничегошеньки понять не могу. Видите ли, ведь я-то знал про себя, что далеко она не уйдет, не сбежит вот так вниз по лестнице за здорово живешь: я же ее за руку держу и ни на минуту не отпускаю. Вот я и говорю:

— Не кажется ли вам, мадам, что вы самую что ни на есть чуточку поторопились? Назад, назад, моя красавица, и тогда я отпущу вашу лапку. — Но она пулей сбежала вниз по лестнице, и тогда я обернулся и посмотрел на этого иностранца-французика. Вот тебе на! Провалиться мне, ежели я не его паршивую лапу держу в своей руке. Так значит… да ведь тогда… словом, так.

Ну, я тут чуть не умер от смеха, до того потешно было смотреть на французишку, когда он сообразил, что вовсе не вдовушку держал все это время за лапку, а сэра Патрика О'Грандисона. Сам дьявол никогда не видел такой вытянутой рожи! Ну, а достопочтенный сэр Патрик О'Грандисон, баронет, не таковский, чтобы из себя выходить из-за какой-то небольшой ошибки. В одном только можете поручиться (и не ошибетесь): перед тем как отпустить французишке руку — а сделал я это не раньше, чем лакеи миссис Джем вытолкали нас обоих взашей, — я так ему сжал ее на прощанье,

что из нее получился малиновый джем.

— Вули-ву, — говорит он, — пули-ву. И черт драл. Вот в чем истинная причина, что он носит левую руку на перевязи.

Низвержение в Мальстрем[72]

Пути господни в Природе и в Предначертаниях – не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова[73] колодца.

Джозеф Гленвилл

Мы очутились на вершине самой высокой скалы. В течение нескольких минут старик, по-видимому, не мог говорить от изнеможения.

— Еще не так давно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и уж во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя

---

[72] Сноски: 72

© Перевод. М. Богословская.

[73] Сноски: 73

Приписываемое Демокриту (ок. 460–370 до н. э.) высказывание, что «истина обитает на дне колодца».

через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непринужденно разлегся, что большая часть его туловища оказалась на весу над бездной и держалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, — этот «маленький утес» поднимался над пропастью прямой, отвесной глянцевито-черной каменной глыбой футов на полтораста выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта

скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить, — сказал мой проводник, — ведь я вас только за тем сюда и привел, чтобы показать вам место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

Мы сейчас находимся, — продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, — над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена[74]. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше, — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, — и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого

[74] Сноски: 74

Лофоденские (Лофотенские) острова — скалистый архипелаг в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии.

черного цвета, что мне невольно припомнилось Mare Tenebrarum[75] в описании нубийского географа[76]. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, насколько мог охватить глаз, простирались гряды отвесных чудовищно-черных нависших скал, как бы заслонивших весь мир. Их зловещая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клокотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве меж-

---

[75] Сноски: 75

Море мрака (*лат.*). «Морем мрака» на древних картах обозначался Атлантический океан.

[76] Сноски: 76

Александрийский математик, астроном и географ Птолемей (I в.), автор «Географии» в восьми книгах.

ду дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то, что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок, — продолжал старик, — зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, — Моске. Там, на милю к северу — Амбаарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Вургом, — Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал

громкий все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море или, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах (в то время, как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В каких-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вби-

рали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом, — какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть, — пролепетал я, обращаясь к старику, — великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там,

посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса[77], пожалуй, самое подробное изо всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, — во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске, — говорит он, — глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских саженей; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно

[77] Сноски: 77

Ионас Рамус (1649–1718) — норвежский историк, его описание водоворота приведено в Британской энциклопедии.

во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили[78]. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота; и невозможно описать их неистовое мычанье и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу.

---

[78] Сноски: 78
Норвежская миля — 11 295 метров.

Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепа на них торчит, как щетина. Это, несомненно, указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются через каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в мясопустное воскресенье[79], он бушевал с такой силой и грохотом, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок саженей» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ре-

[79] Сноски: 79

Мясопустное воскресенье — воскресенье за две недели перед Великим постом.

вущий внизу Флегетон[80], я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает, как о чем-то малоправдоподобном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко — урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Ферё, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива, сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взметаются вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивитель-

[80] Сноски: 80

Флегетон — в греческой мифологии одна из пяти рек, протекающих в подземном царстве Аида.

ная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер[81] и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара в какой-нибудь отдаленной его части, например в Ботническом заливе, как определенно утверждают иные. Это, само по себе нелепое, утверждение, сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но, когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водово-

[81] Сноски: 81

Афанасий Кирхер (1601–1680) — немецкий ученый и изобретатель, автор многочисленных трактатов по самым разнообразным предметам (физика, естественные науки, лингвистика, антиквариат, теология, математика). Согласно его теории, Земля представляет собой твердое тело с пустотами внутри, наполненными огнем, водой и воздухом.

рот, — сказал старик, — так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме…

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу.

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенным парусным судном, тонн этак на семьдесят, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако изо всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промышлять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже, к югу, где можно без всякого риска рыбачить в любое время, — поэтому все и предпочитают охотиться там. Однако здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того, что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное

предприятие: вместо того чтоб вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и чуть не подохли с голоду, потому что, едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм, и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в

море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет, — и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема; хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях — и на веслах, да и во время лова, — но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля 18… года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро и после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего

навстречу нам подул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уж собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута — небо заволокло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса прежде, чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосто-

рожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир[82], уцепился что есть силы за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, — и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым[83]. Когда я

---

[82] Сноски: 82

Планшир — деревянный брус или стальной профиль по обводу корпуса корабля для придания жесткости и прочности.

[83] Сноски: 83

Рым — металлическое кольцо для закрепления снастей.

почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой, В это время наше суденышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и каким-то образом нас вынесло наверх. Я был точно в каком-то столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, по-

падем туда в самое затишье, — подумал я. — Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы… В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она осветила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью. О боже, какое зрелище осветила она своим сияньем!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный, как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал вовсю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на

расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои сами собой судорожно сомкнулись.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном свисте, — представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью, и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над

бездной несколько помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, — так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к

корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд

я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Грозное, всеобъемлющее ве-

личие — вот все, что открылось моему зрению. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину; но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругом и кругом не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильней разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже

доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, — и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припоминал весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепа на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов

только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило — чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы — цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось в сущности естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и

почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой[84].

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял

---

[84] Сноски: 84

См. Архимед. De incidentibus in fluido, lib. 2 [«О плавающих телах», кн. 2].

мое намерение, но — так это было или нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Заставить его было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой он был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего дорогого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали вне-

запно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого мной ужаса. Меня подобрали мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные, как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите этому больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

Беседа Моноса и Уны[85]

Mellonia ianta
То в будущем.

Софокл. Антигона

Уна. «Новое рождение»?

Монос. Да, прекраснейшая и любимейшая Уна, «новое рождение». Над загадочным смыслом этих слов я долго раздумывал, отвергая толкования священнослужителей, пока сама Смерть не раскрыла мне тайну.

Уна. Смерть!

Монос. Как странно, милая Уна, повторяешь ты мои слова! Я замечаю также неровность твоей поступи и радостную тревогу твоего взора. Ты растеряна и подавлена величавой новизною Жизни Вечной. Да, я говорил о Смерти. И как по-особому звучит здесь это слово, в былом вселявшее ужас во все сердца, покрывавшее плесенью все отрады!

Уна. Ах, Смерть, призрак, что восседал на всех пиршествах! Как часто, Монос, мы терялись в предположениях относительно ее природы! Как

---

[85] Сноски: 85

© Перевод. В. Рогов.

загадочно обуздывала она блаженство человеческое, говоря ему: «Доселе и не далее!»[86] Та искренняя взаимная любовь, что пылала в наших сердцах, мой Монос, — о, сколь самонадеянно были мы убеждены, испытывая счастье при ее первом проблеске, что наше счастье возрастет вместе с нею! Увы! По мере ее роста рос в наших сердцах и ужас перед тем злым часом, что спешил разлучить нас навеки! И так, со временем, любовь стала причинять муки. Тогда ненависть явилась бы милостью.

Монос. Не говори здесь об этих горестях, дорогая Уна, — теперь ты моя, моя навеки!

Уна. Но память страданий прошлого — разве она не отрада в настоящем? Я еще многое поведаю о том, что было. Но прежде всего я сгораю от желания узнать о твоем пути через темный Дол и Тень.

Монос. Когда же лучезарная Уна понапрасну просила о чем-либо ее Моноса? Я перескажу все до мельчайших подробностей — но с чего начать мне мое страшное повествование?

Уна. С чего?

Монос. Да.

---

[86] Сноски: 86

Строка из пьесы английского драматурга Аарона Хилла (1685–1750) «Этелуолд» (1709).

Уна. Я поняла тебя, Монос. В Смерти мы оба узнали о склонности людской к определению неопределяемого. Поэтому я не скажу: начни с мгновения, когда жизнь прекратилась, — нет, начни с того печального, печального мига, когда жар схлынул и ты погрузился в бездыханное и недвижное оцепенение, а я опустила тебе веки пылкими перстами любви.

Монос. Сначала два слова, моя Уна, касательно общего состояния человечества в ту эпоху. Ты припомнишь, что двое или трое мудрецов из числа наших пращуров — мудрецов разумом, а не славой мирскою — отважились усомниться в том, что термин «улучшение» подобает прогрессу нашей цивилизации. В каждом из пяти или шести столетий, непосредственно предшествовавших нашему упадку, рождался какой-то могучий ум, смело вставший на защиту тех принципов, чья истинность ныне предстает нашему освобожденному рассудку столь самоочевидной, — тех принципов, что должны были бы научить наш род скорее повиноваться зову законов природы, нежели пытаться управлять ими. Через длительные промежутки появлялся какой-нибудь великий ум, который видел в каждом шаге вперед практической науки некий

шаг назад в смысле истинной полезности. Время от времени поэтический интеллект — тот интеллект, что, как теперь мы чувствуем, является самым возвышенным, — ибо истины, полные для нас наиболее долговечного значения, достижимы лишь путем аналогии, доказательной для одного лишь воображения и бессильной перед ничем не подкрепленным рассудком, — время от времени этот поэтический интеллект делал новый шаг в развитии неясной философской мысли и обретал в мистической параболе, повествующей о древе познания и запретном плоде, приносящем смерть, точное указание на то, что познание не пристало человеку в пору младенчества его души. И они, поэты, что жили и гибли, окруженные презрением «утилитаристов»[87] — сиречь низменных педантов, присвоивших себе титул, подобающий лишь презираемым, — они, поэты, размышляли — в унынии, но не без мудрости, — о стародавних днях, когда нужды наши были столь же просты, сколь живы были наши утехи, — о днях, когда не ведали слова веселость, ибо столь

[87] Сноски: 87

Утилитаристы — последователи этической теории, согласно которой моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью — удовольствием или счастьем, полученным от последствий поступка.

торжественно и величаво было счастие, — о священных, царственных, блаженных днях, когда голубые реки струились, не перекрытые плотинами, среди неразрытых холмов в дальнюю лесную глушь, первозданную, благоуханную и неизведанную.

И все же эти благородные исключения из общего самоуправства лишь укрепляли его, рождая в нем противодействие. Увы! настал злейший из наших злых дней. Великое «движение»[88] — таково было его избитое название — продолжалось: смута, тлетворная и телесно и духовно. Промысел — промыслы возвысились и, заняв престол, заковали в цепи интеллект, возведший их к верховной власти. Человек не мог не признать величие Природы и поэтому впал в детский восторг от достигнутой и все возрастающей власти над ее стихиями. И, надменный бог в своем представлении о себе, он впал в ребяческое неразумие. Как можно было предположить, исходя из причины его расстройства, его заразила страсть к системе и абстракции. Он запутался в обобщениях.

---

[88] Сноски: 88

Великое «движение» — трансцендентализм — философско-литературное течение, сформированное в XIX веке в США представителями радикальной интеллигенции бостонского «Трансцендентального клуба».

Среди прочих странных идей обрела почву идея всеобщего равенства; и пред ликом аналогии и бога — невзирая на упреждения, громогласно сделанные законами *градации*, столь явно объемлющими все сущее на Земле и Небе, — были предприняты безумные попытки установления всеобщей Демократии. Но это зло по необходимости было рождено главным злом — Познанием. Человек не мог и знать и подчиняться. Тем временем выросли бесчисленные города, громадные и задымленные. Зеленая листва увядала под горячим дыханием горнов. Прекрасный лик Природы был обезображен, словно после какой-либо мерзостной болезни. И мнится мне, милая Уна, что даже наше дремавшее чувство, говорящее о принуждении и насилии, еще могло бы тогда остановить нас. Но теперь делается ясным, что мы сами уготовили себе гибель извращением нашего вкуса, или, скорее, слепым небрежением его развитием в школах. Воистину, при этом кризисе один лишь вкус — то качество, которое, находясь между чистым интеллектом и нравственным чувством, не могло быть презрено безнаказанно, — один лишь вкус тогда еще мог неприметно вернуть нас к Красоте, Природе и Жизни. Но горе духу чистого созерцания и цар-

ственной интуиции Платона! Горе mousike[89], которую он справедливо почитал достаточной для воспитания души! Горе ему и ей! — ибо в них была особо отчаянная нужда, когда их постигло полное забвение или полное презрение[90].

Паскаль[91], философ, которого мы оба любили, сказал — и как справедливо! — «que tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment»[92] и вполне возможно, что чувство естественного, если бы время позволило, могло бы вернуть прежнее главенство над жестоким математическим рассудком школ. Но так не было суждено. Преждевременно вызванная неумеренностью знаний, наступила дряхлость мира. Большинство человечества этого не видело, или, живя энергической, но несчастливой жизнью, притворялось,

---

[89] Сноски: 89
Музыке (*греч.*).

[90] Сноски: 90
«Трудно найти лучший [метод воспитания], чем тот, что уже найден опытом столь многих веков; его можно вкратце определить как состоящий из гимнастики для тела и музыки для души». — «Государство», кн. 2. // «По этой причине музыкальное образование чрезвычайно важно, ибо оно дает Ритму и Гармонии проникнуть в душу как можно глубже, полня ее прекрасным и наделяя человека чувством прекрасного; он будет любоваться прекрасным и восхвалять его; с восторгом примет его к себе в душу, обретет в нем пищу для души и сольет с ним свое существование». — Там же, кн. 3. // Музыка у афинян значила гораздо более, нежели у нас. Она обнимала не только гармонию ритма и мотива, но и поэтический стиль, чувство и творчество — все в самом широком смысле слова. Изучение музыки для них являлось

фактически общим развитием вкуса, чувства прекрасного — в отличие от разума, изучающего только истинное.

[91] Сноски: 91

Блез Паскаль (1623–1662) — французский математик, механик, физик, литератор и философ. Цитата из его основного философского труда «Мысли».

[92] Сноски: 92

Что всякое наше рассуждение готово уступить чувству (*фр.*).

что не видит. Меня же летописи Земли научили усматривать в величайшем разрушении плату за высочайшую цивилизацию. Я почерпнул предвидение нашего Рока из сравнения простого и выносливого Китая с зодчим Вавилоном, с астрологом Египтом, с Нубией, более хитроумной, нежели они, бурной матерью всех промыслов. В истории[93] этих стран мне сверкнул луч из Будущего. Присущие трем последним государствам вычуры были локальными заболеваниями Земли, и в падении каждого мы видели применение местного лекарства; но для мира, зараженного целиком, я видел возрождение только в смерти. Для того, чтобы род человеческий не прекратился, он должен был, как открылось мне, испытать *«новое рождение»*.

И тогда-то, прекраснейшая и дражайшая, мы стали каждый день погружаться в грезы. Тогда-то в сумерках мы рассуждали о грядущих днях, когда израненная промыслом поверхность Земли, пройдя пурификацию[94], которая одна сможет стереть ее непристойные прямоугольники, вновь

---

[93] Сноски: 93

От греческого istorete — созерцать.

[94] Сноски: 94

Слово «пурификация» (очищение), видимо, соотнесено здесь с греческим корнем pur — «огонь».

облачится в зелень, горные склоны и улыбчивые райские воды и станет постепенно достойным обиталищем человеку — человеку, очищенному Смертью, — человеку, для чьего возвышенного ума познание тогда не будет ядом, — искупленному, возрожденному, блаженному и тогда уже бессмертному, но все же *материальному* человеку.

Уна. Я отлично помню эти разговоры, дорогой Монос; но эпоха огненной катастрофы была не так близка, как мы верили и как заставляла нас верить упомянутая тобою испорченность. Люди жили и умирали, каждый сам по себе. Заболел и ты и сошел в могилу; и вскоре за тобою последовала твоя верная Уна. И хотя с той поры миновало столетие, конец которого вновь соединил нас, и пусть на его протяжении наши дремлющие чувства не томились долгою разлукою, но все же, мой Монос, это было столетие.

Монос. Скажи лучше: точка в неопределенной бесконечности. Несомненно, я умер в пору одряхления Земли. Измученный тревогами, рожденными всеобщей смутой и разложением, я пал жертвою свирепой лихорадки. После немногих дней, исполненных страдания, и многих — исполненных бредовых грез, пронизанных экстазом,

проявления которого ты считала страданиями, а я жаждал тебя разуверить, но не мог — через несколько дней на меня сошло, как ты сказала, бездыханное и недвижное оцепенение; и его называли *Смертью* те, кто стоял вокруг меня.

Слова зыбки. Мое состояние не лишило меня способности воспринимать. Я усмотрел в нем известное сходство с полным покоем того, кто после долгой и глубокой дремоты лежит недвижимо в летний полдень и к кому начинает постепенно возвращаться сознание — от того, что он выспался, а не от каких-либо внешних помех его сну.

Я перестал дышать. Пульс затих. Сердце не билось. Волевое начало не оставило меня, но было бессильно. Чувства необычно обострились, хотя часто и беспорядочно заимствовали одно у другого свои функции. Вкус и обоняние нерасторжимо смешались и стали единым чувством, ненормальным и напряженным. Розовая вода, которою ты нежно увлажняла мне губы до последнего часа, пробуждала во мне отрадные грезы о цветах, о фантастических цветах, куда более прекрасных, нежели любые цветы старой Земли, о цветах, чьи прообразы мы видим расцветающими здесь вокруг нас. Веки, бескровные и прозрачные, не препятствовали зрению. Так

как волевое начало бездействовало, глазные яблоки не могли вращаться в орбитах — но все предметы в поле зрения были видны с большею или меньшею отчетливостью; лучи, попадавшие на наружную ретину[95] или в угол глаза, производили более сильное действие, нежели те, что касались передней поверхности. И все же в первом случае эффект был столь ненормален, что я воспринимал его только в качестве *звука* — приятного или резкого в зависимости от того, были ли предметы, находящиеся сбоку от меня, светлыми или темными по тону, закругленными или угловатыми по очертаниям. В то же время слух, хотя и крайне возбужденный, не менял своей природы, оценивая реальные звуки с удивительной точностью. Осязание претерпело более любопытную перемену. Его впечатления поступали с запозданием, но держались очень долго, неизменно разрешаясь огромным физическим наслаждением. Так, то, что твои милые персты нажали мне на веки, сначала я ощутил только зрением, и лишь через много времени после того, как ты отняла их, все мое существо преисполнилось неизмеримым чувственным

---

[95] Сноски: 95
Ретина — сетчатка глаза.

восторгом. Я говорю — чувственным. *Все* мои восприятия были сугубо чувственны по природе. Показания, сообщаемые пассивному мозгу чувствами, ни в коей мере не осмыслялись умершим рассудком. Было немного больно и очень приятно; но моральных страданий или отрад никаких. Так, твои исступленные рыдания влились в мой слух со всеми горестными каденциями, и были восприняты все вариации их скорбного строя; но для меня они звучали нежно и музыкально, не более; они не давали угасшему рассудку никакого представления о породившем их горе; а крупные слезы, долго падавшие мне на лицо, говоря очевидцам о разбитом сердце, охватывали меня всего экстазом — и только. И это воистину была *Смерть*, о которой стоявшие рядом почтительно говорили таким шепотом, а ты, милая Уна, — с громкими стенаниями и задыхаясь.

Меня обрядили во гроб — три или четыре темные фигуры, озабоченно сновавшие взад и вперед. Пересекаясь с прямой моего зрения, они воспринимались мною как формы; но, переходя вбок от меня, давали мне понятие о пронзительных криках, стонах и других исступленных выражениях страха, ужаса и горя. Ты одна, облаченная в белое, двигалась музыкально во всех

направлениях.

День угасал; и, пока убывал свет, мною овладевала смутная неловкость — волнение, подобное тому, что испытывает спящий, когда грубые звуки действительности все время поражают его слух, — тихий отдаленный звон, похожий на колокольный, торжественный, с длинными, но равномерными перерывами, смешивающийся с меланхолическими грезами. Настала ночь; а с ее тенями мною овладела тягостная тревога. Ясно ощутимая, она давила на мои члены, как некий изнурительный груз. Слышался также звук, подобный стону, несколько напоминающий отдаленный рокот прибоя, но более длительный; он возник с началом сумерек и усиливался по мере того, как сгущалась тьма. Внезапно в комнату внесли огонь, и раскаты превратились в частые, но неравномерные взрывы того же звука, только менее унылого и менее отчетливого. Тягостное состояние значительно облегчилось; и, исходя от пламени каждой лампы (а их было много), в мой слух вливалась непрерывная, монотонная мелодия. И когда, дорогая Уна, ты приблизилась к одру, на котором я был простерт, и тихо села рядом, а твои сладостные уста, прижимаясь к моему лбу, источали благоухание, в груди моей трепетно

возникло, мешаясь с сугубо физическими ощущениями, порожденными обстоятельствами, нечто родственное самому чувству, — полупризнание, полуотклик на твою искреннюю любовь и скорбь; но это чувство не укоренилось в недвижном сердце и, право же, казалось скорее тенью, нежели реальностью, и быстро поблекло, вначале став полным бездействием, а затем — чисто физической отрадой, как и прежде.

И тогда из обломков и хаоса обычных чувств как бы возникло во мне шестое, совершенное. В нем обрел я бурное наслаждение — но все еще физическое, поскольку в нем не было места пониманию. Движение в теле полностью прекратилось. Не сокращалась ни одна мышца; не напрягался ни один нерв; не трепетала ни одна артерия. Но в мозгу как бы всплыло то, о чем никакие слова не могут дать человеческому разуму хотя бы смутное представление. Позволь мне назвать его качательной пульсацией ума. Это было внутреннее воплощение абстрактной идеи *Времени*, доступной человеку. Путем абсолютного выравнивания этого движения — или чего-то подобного — были установлены циклы небесных орбит. С его помощью я определил ошибку часов на каминной полке, а также часов,

принадлежавших тем, кто присутствовал. Тиканье всех часов звучно отдавалось у меня в ушах. Малейшее отклонение от истинной меры — а этим отклонениям не было числа — действовало на меня так же, как на земле попрание абстрактных истин способно воздействовать на нравственное чувство. Хотя никакие два часовых механизма в комнате не отсчитывали секунды точно в унисон, все же я без труда различал звуки и ошибки каждого. И это — это острое, совершенное, самодовлеющее чувство *протяженности* во времени — это чувство, существующее (ибо ни один человек не в силах представить его) независимо от какого-либо чередования событий, — эта идея — это шестое чувство, рождающееся из праха остальных, было первым шагом вневременной души на пороге временной Вечности.

Была полночь; ты все еще сидела рядом со мною. Все другие оставили покой Смерти. Меня положили в гроб. Лампы мигали; я знал это по дрожи монотонных звуков. Но внезапно отчетливость и сила этих звуков стала убывать. Наконец, они замолкли. Аромат в моих ноздрях исчез. Зрение больше не отражало никаких форм. Тягостный Мрак перестал давить мне на грудь. Тупой удар, похожий на электрический, прони-

зал мое тело, после чего полностью исчезло самое понятие о соприкосновении. Все, что человек называет чувством, смешалось воедино в сознании существования, единственном оставшемся, и в непреходящем чувстве протяженности во времени. Смертное тело, наконец, получило удар десницы смертельного *Разложения*.

Но не все ощущения исчезли: летаргическое наитие оставило мне что-то немногое. Я сознавал ужасные перемены, которым теперь подвергалась плоть, и, подобно тому, как спящий порою ощущает присутствие кого-то, над ним склонившегося, так и я, милая Уна, в оцепенении чувствовал, что ты сидишь рядом со мною. И когда настал следующий полдень, я как-то еще сознавал то, что разлучило тебя со мною, что замкнуло меня в гробу, что поместило меня на катафалк, что доставило меня к могиле, что опустило меня в могилу, что засыпало меня тяжелою землею и так оставило меня среди черноты и гниения для сурового и скорбного сна с червями.

И здесь, в темнице, скрывавшей мало тайн, миновали дни и недели и месяцы; и душа пристально следила за каждой пролетающей секундой и без усилия отмечала ее полет — без усилия и без цели.

Прошел год. Сознание того, что я *есмь*, с каждым часом тускнело, в значительной мере вытесняясь всего лишь сознанием положения в пространстве. Идея сущности сливалась с идеей *места*. Узкое пространство, вплотную окружавшее то, что некогда было телом, теперь само становилось телом. Наконец, как часто бывает со спящим (только при помощи сна и мира сна можно вообразить *Смерть*), — наконец, как порою на Земле случается с погруженным в глубокий сон, когда какой-нибудь скользнувший блик света полупробудит его, оставив наполовину погруженным в сновидения, так и мне, заключенному в строгие объятия *Тени*, явился *тот* самый свет, который один был бы в силах тронуть меня, — свет непреходящей *Любви*. Над могилою, где я лежал во мраке, трудились люди. Они раскидали влажную землю. На мои истлевающие кости опустился гроб Уны.

И вновь все опустело. Призрачный свет погас. Слабое трепетание заглохло. Протекли многие десятилетия. Прах вернулся в прах. Не стало пищи у червей. Чувство того, что я *есмь*, наконец, ушло, и взамен ему — взамен всему — воцарились, властные и вечные, самодержцы *Место* и *Время*. И для того, что *не было*, — для того, что не имело

формы, — для того, что не имело мысли, — для того, что не имело ощущений, — для того, что было бездушно, но и нематериально, — для всего этого Ничто, все же бессмертного, могила еще оставалась обиталищем, а часы распада — братьями.

Овальный портрет[96]

Замок, в который мой камердинер осмелился вломиться, чтобы мне, пораженному тяжким недугом, не ночевать под открытым небом, являл собою одно из тех нагромождений уныния и пышности, что в жизни хмурятся среди Апеннин столь же часто, сколь и в воображении госпожи Радклиф[97]. По всей видимости, его покинули ненадолго и совсем недавно. Мы расположились в одном из самых маленьких и наименее роскошных апартаментов. Он находился в отдаленной башне здания. Его богатое старинное убранство крайне обветшало. На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками. К этим картинам, висевшим не только на стенах, но и в бесконечных уголках и нишах, неизбежных

---

[96] Сноски: 96

© Перевод. В. Рогов.

[97] Сноски: 97

Анна Радклиф (1764–1823) — английская писательница, одна из основательниц жанра готического романа.

в здании столь причудливой архитектуры, я испытывал глубокий интерес, вызванный, быть может, начинающимся у меня жаром; так что я попросил Педро закрыть тяжелые ставни — уже наступил вечер — зажечь все свечи высокого канделябра в головах моей постели и распахнуть как можно шире обшитый бахромой полог из черного бархата. Я пожелал этого, чтобы отдаться если не сну, то хотя бы созерцанию картин и изучению томика, найденного на подушке и посвященного их разбору и описанию.

Долго, долго я читал — и пристально, пристально смотрел. Летели стремительные, блаженные часы, и настала глубокая полночь. Мне не нравилось, как стоит канделябр, и, с трудом протянув руку, чтобы не тревожить моего спящего камердинера, я поставил канделябр так, что свет лучше попадал на книгу.

Но это произвело совершенно неожиданное действие. Лучи бесчисленных свечей (их было очень много) осветили нишу комнаты, дотоле погруженную в глубокую тень, отбрасываемую одним из столбов балдахина. Поэтому я увидел ярко освещенной картину, ранее мною вовсе не замеченную. Это был портрет юной, только расцветающей девушки. Я быстро взглянул на

портрет и закрыл глаза. Почему я так поступил, сначала неясно было и мне самому. Но пока мои веки оставались опущены, я мысленно отыскал причину. Я хотел выиграть время для размышлений — удостовериться, что зрение меня не обмануло, — успокоить и подавить мою фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда. Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину.

Теперь я не мог и не хотел сомневаться, что вижу правильно, ибо первый луч, попавший на холст, как бы отогнал сонное оцепенение, овладевавшее моими чувствами, и разом возвратил меня к бодрствованию.

Портрет, как я уже сказал, изображал юную девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой *виньеточной* манере, во многом напоминающей стиль головок, любимый Салли[98]. Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная, густо позолоченная, покрытая мавританским орнаментом. Как произведение искусства ничто не могло быть прекраснее этого

---

[98] Сноски: 98

Томас Салли (1783–1872) — американский художник, автор ряда женских портретов.

портрета. Но ни его выполнение, ни нетленная красота изображенного облика не могли столь внезапно и сильно взволновать меня. Я никак не мог принять его в полудремоте и за живую женщину. Я сразу увидел, что особенности рисунка, манера живописи, рама мгновенно заставили бы меня отвергнуть подобное предположение — не позволили бы мне поверить ему и на единый миг. Я пребывал в напряженном размышлении, быть может, целый час, полулежа и не отрывая взгляд от портрета. Наконец, постигнув истинный секрет произведенного эффекта, я откинулся на подушки. Картина заворожила меня абсолютным *жизнеподобием* выражения, которое вначале поразило меня, а затем вызвало смущение, подавленность и страх. С глубоким и трепетным благоговением я поставил канделябр на прежнее место. Не видя более того, что столь глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержащий описания картин и их истории. Найдя номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие неясные и странные слова:

«Она была дева редчайшей красоты, и веселость ее равнялась ее очарованию. И отмечен злым роком был час, когда она увидела живо-

писца и полюбила его и стала его женою. Он, одержимый, упорный, суровый, уже был обручен — с Живописью; она, дева редчайшей красоты, чья веселость равнялась ее очарованию, вся — свет, вся — улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела одну лишь Живопись, свою соперницу; боялась только палитры, кистей и прочих властных орудий, лишавших ее созерцания своего возлюбленного. И она испытала ужас, услышав, как живописец выразил желание написать портрет своей молодой жены. Но она была кротка и послушлива и много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился свет на бледный холст. Но он, живописец, был упоен трудом своим, что длился из часа в час, изо дня в день. И он, одержимый, необузданный, угрюмый, предался своим мечтам; и он не мог видеть, что от жуткого света в одинокой башне таяли душевные силы и здоровье его молодой жены; она увядала, и это замечали все, кроме него. Но она все улыбалась и улыбалась, не жалуясь, ибо видела, что живописец (всюду прославленный) черпал в труде своем жгучее упоение, и работал днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его и все же с каждым днем делалась удрученнее и слабее. И вправду, некоторые, видевшие портрет,

шепотом говорили о сходстве, как о великом чуде, свидетельстве и дара живописца и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством. Но наконец, когда труд близился к завершению, в башню перестали допускать посторонних; ибо в пылу труда живописец впал в исступление и редко отводил взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену. И он *не желал* видеть, что оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит сидевшей рядом с ним. И, когда миновали многие недели и оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен; и на один лишь миг живописец застыл, завороженный своим созданием; но в следующий, все еще не отрываясь от холста, он затрепетал, страшно побледнел и, воскликнув громким голосом: «Да это воистину сама *Жизнь*!», внезапно повернулся к своей возлюбленной: — *Она была мертва!*»

Маска Красной Смерти[99]

Долгое время «Красная Смерть» опустошала страну. Никакой мор не был еще столь беспощаден или столь отвратителен. Кровь была ее знамением и ее печатью — алость и ужас крови. Острые боли, внезапное головокружение, — а затем кровь, что обильно хлынет сквозь поры, и гибель. Багровые пятна на теле и в особенности на лице были запретным знаком заразы, что лишал ее жертву помощи и сочувствия ближних. И первые спазмы, ход и завершение болезни были делом получаса.

Но принц Просперо был жизнерадостен, неустрашим и находчив. Когда народ в его владениях наполовину вымер, он призвал к себе тысячу здоровых и неунывающих друзей из числа рыцарей и дам своего двора и с ними удалился в одно из принадлежащих ему аббатств, построенное наподобие замка. То было просторное и великолепное здание, рожденное эксцентрическим, но царственным вкусом самого принца. Аббатство окружала крепкая и высокая стена с

---

[99] Сноски: 99

© Перевод. В. Рогов.

железными воротами. Придворные, войдя, принесли кузнечные горны и увесистые молоты и заклепали болты изнутри. На случай нежданных порывов отчаяния или неистовства, они решили не оставить никаких возможностей для входа или выхода. Аббатство было в обилии снабжено припасами. При таких мерах предосторожности придворные могли надеяться на спасение от мора. Внешний мир был предоставлен самому себе. А покамест предаваться скорби или размышлениям не имело смысла. Принц позаботился о развлечениях. Там были буффоны, там были импровизаторы, там были балетные танцовщики, там были музыканты, там была Красота, там было вино. Все это, с безопасностью впридачу, было внутри. Снаружи была Красная Смерть.

И к концу пятого или шестого месяца затворничества, когда мор свирепствовал с особою яростью, принц Просперо пригласил тысячу друзей на бал-маскарад, исполненный самого необычайного великолепия.

Он являл собою роскошное зрелище, этот маскарад. Но сперва дайте рассказать о комнатах, где он проходил. Их было семь, достойных императора. Однако во многих дворцах такие покои образуют длинную и прямую анфиладу, а створ-

чатые двери распахиваются почти до самых стен, поэтому мало что препятствует видеть все разом. Здесь же было совсем по-иному, как и следовало ожидать от любви герцога к bizarre[100]. Апартаменты располагались столь причудливо, что взор охватывал немногим более одного зараз. После каждых двадцати или тридцати ярдов был крутой поворот, а со всяким поворотом — новый эффект. Направо и налево, в середине каждой стены, вытягивалось высокое, узкое готическое окно, обращенное в закрытый коридор, что шел вдоль всех изгибов здания. Цвет оконных стекол менялся в соответствии с оттенком, преобладающим в убранстве залы. Самая восточная, например, была задрапирована голубым — и ярко-голубыми были ее окна. Украшения и гобелены второй залы были пурпурного цвета, и оконные стекла здесь были пурпурные. Третья была вся зеленая, и окна также. Четвертая была отделана и освещена оранжевым, пятая — белым, шестая — фиолетовым. Потолок и стены седьмой залы плотно обтягивал черный бархат, что ниспадал тяжкими складками на ковер того же материала и цвета. И лишь в этой зале окна не

[100] Сноски: 100
Странному, причудливому (*фр.*).

соответствовали убранству. Здесь их стекла были багровые — густого цвета крови. И ни в одной из зал, среди обилия разбросанных там и сям или свисающих с потолка золотых украшений не горело ни одной лампы или люстры. Внутри помещения не было какого-либо света, исходящего от лампы или свечи. Но в коридорах снаружи под каждым окном стояло по тяжелому треножнику с жаровнею, что слала лучи сквозь цветное стекло и ярко освещала комнату. И так создавалось множество пестрых и фантастических эффектов. Но в западной, черной зале свет от жаровен, струящийся на темные драпировки сквозь стекла кровавого цвета, производил до крайности жуткое действие и придавал лицам вошедших столь безумное выражение, что немногим из числа гостей доставало смелости вообще ступить в ее пределы.

В этом покое и высились у западной стены гигантские эбеновые часы. Их маятник раскачивался с глухим, тяжелым, монотонным лязгом; и, когда минутная стрелка замыкала круг на циферблате, медное горло часов издавало звук — ясный, громкий, глубокий и чрезвычайно музыкальный, но такой странный и резкий, что, по прошествии каждого часа, музыкантам приходилось преры-

вать игру и внимать ему; и танцоры поневоле переставали кружиться в вальсе; и всею веселою компанией овладевало недолгое смущение; и, пока еще звенели куранты на часах, замечалось, что бледнеют и самые беззаботные, а более степенные и пожилые проводят рукою по лбу, как бы погружаясь в хаос мыслей и раздумий. Но когда отзвуки замирали, то сборище вмиг пронизывал бездумный смех; музыканты с улыбками переглядывались, как бы дивясь собственному неразумию и нервозности, и шепотом обещали друг другу, что часы, пробив в следующий раз, не возбудят в них никаких подобных чувств; а по прошествии шестидесяти минут (что заключает три тысячи шестьсот секунд быстролетного Времени) вновь били часы, рождая то же смущение, трепет и думы, что и прежде.

Но, несмотря на это, шло веселое и великолепное празднество. Вкусы герцога отличались необычностью. Он обладал тонким чувством цвета и способностью создавать эффекты. Модой ради моды он пренебрегал. Его планы отличались смелостью и размахом, и замыслы были отмечены варварским блеском. Иные сочли бы его помешанным. Его приближенные чувствовали, что это не так. Но надо было находиться рядом с

принцем, видеть и слушать его, дабы *увериться*, что это не так.

Все семь покоев для этого пышного праздника были убраны в значительной мере под его наблюдением, а маски и костюмы создавались по прихоти его вкуса. Не сомневайтесь в их гротескности. Там было много блеска, мишуры, остроты и фантасмагоричности — немало от того, что впоследствии увидели в «Эрнани»[101]. Там были фигуры, напоминающие арабески несоразмерными конечностями и несуразными украшениями. Там было многое, что казалось порожденным бредовыми видениями сумасшедшего. Там было много красивого, много разнузданного, много bizarre, кое-что ужасное, и немало способного возбудить отвращение. В семи покоях толпился рой сновидений. И они вились то здесь, то там, принимая цвет комнат, и звуки оркестра казались эхом их шагов. И вот бьют эбеновые часы в бархатной зале. И тогда все на миг замирает, и ничего не слышно, кроме голоса часов. Рой сновидений застыл на месте. Но смолкают куранты — лишь

[101] Сноски: 101

«Эрнани» — романтическая драма Виктора Гюго (1802–1885), первое представление которой состоялось 25 февраля 1830 г. Эта драма произвела революцию в театре и положила начало романтическому течению.

мгновение они звучали — и бездумный, немного сдавленный смех воспаряет вослед улетающему звону. И вновь растекается музыка, оживает рой сновидений, вьется то здесь, то там, еще веселее прежнего, принимая окраску разноцветных окон, сквозь которые струятся лучи от жаровен. Но в самую западную из зал теперь не направляется ни одна маска; ибо ночь убывает; и сквозь стекла кровавого цвета струится еще более алое сияние; и смоляная чернота драпировок гнетет; и тому, чья стопа касается смоляного ковра, слышится в эбеновых часах глухой звон, исполненный еще более мрачного смысла, нежели доходящий до тех, кто предается веселью в более отдаленных покоях.

Но другие покои были тесно запружены масками, и в них лихорадочно бился пульс жизни. И веселье клокотало, пока часы, наконец, не начали бить полночь. И тогда, как я уже говорил, музыка прервалась; и танцоры перестали кружиться в вальсе; и, как прежде, все смущенно замерло. Но теперь часы должны были пробить двенадцать ударов; и, быть может, случилось так, что чем больше проходило времени, тем больше дум проносилось в головах гостей, склонных к размышлениям. И, быть может, случилось и так,

что до того, как совсем умолкли отзвуки последнего удара часов, многие в толпе почувствовали присутствие фигуры в маске, ранее ни единым из них не замеченной. И, когда шепотом распространилась повсюду весть о пришельце, постепенно среди всех собравшихся поднялся гул, ропот, выражающий неудовольствие, недоумение — а там, наконец, испуг, ужас и гадливость.

В сборище, столь фантастическом, как изображенное мною, никакое заурядное обличье, разумеется, не могло бы произвести подобного действия. Говоря по правде, маскарадные вольности в ту ночь были почти неограничены; но все же новый гость переиродил Ирода и перешел даже границы неопределенных понятий принца о декоруме. Есть струны в сердце самого легкомысленного, кои нельзя тронуть, не возбуждая волнения. Даже у самого потерянного, кому и жизнь и смерть — одинаково шутки, найдется нечто, над чем шутить нельзя. И теперь каждый из присутствующих вполне постиг, что в костюме и манерах неизвестного нет ни остроумия, ни пристойности. Он был высок и тощ, и с головы до ног окутан саваном. Маска, скрывавшая его лицо, так походила на облик окоченелого мертвеца, что и самый пристальный взгляд с трудом

заподозрил бы обман. И все же это могло бы сойти ему с рук, если даже не встретить одобрение предававшихся буйному веселью. Но он зашел чересчур далеко и принял обличье Красной Смерти. Его одеяние было забрызгано кровью — и его широкий лоб, да и все лицо покрывали ужасные багровые капли.

Когда взгляд принца Просперо упал на эту призрачную фигуру (которая медленно и торжественно, как бы пытаясь полнее выдержать роль, расхаживала взад и вперед среди вальсирующих), то в первый миг его передернуло, то ли от ужаса, то ли от омерзения; он тотчас же покраснел от ярости.

«Кто смеет, — хрипло спросил он у стоявших рядом придворных, — кто смеет оскорблять нас этой кощунственной насмешкой? Схватить его и сорвать маску — дабы мы знали, кого придется с восходом повесить на парапете!»

В голубой, или восточной, зале стоял принц Просперо, когда говорил эти слова. Они прозвенели по всем комнатам громко и отчетливо, ибо принц был вспыльчив и силен, а музыка смолкла по мановению его руки.

В голубой комнате стоял принц, окруженный кучкою бледных придворных. Сначала, как

только он заговорил, они слегка подались в сторону незваного гостя, который в ту пору также находился неподалеку и теперь уверенным и величественным шагом приблизился к говорящему. Но некий ужас, коему нет имени, охватил всех от безумной заносчивости ряженого, и никто не протянул руку, дабы схватить его; так что он беспрепятственно прошел на расстоянии ярда от особы принца; и, пока многолюдное сборище, как бы в едином порыве, отшатнулось к стенам, он, никем не задержанный, все тем же торжественным и размеренным шагом прошествовал через голубую комнату в пурпурную — через пурпурную в зеленую — через зеленую в оранжевую — оттуда же в белую — а там и в фиолетовую, и никто не предпринял решительной попытки задержать его. Но тогда принц Просперо, разъярясь от гнева и стыда за свою недолгую трусость, вихрем промчался через шесть покоев, и никто не последовал за ним, ибо всех сковал смертельный ужас. Он занес обнаженный кинжал и приблизился, стремительно и грозно, на три или четыре фута к удаляющейся фигуре, когда та, дойдя до конца бархатной залы, внезапно повернулась лицом к преследователю. Раздался пронзительный крик — и кинжал, сверкая, упал на смоляной ко-

вер, где через мгновение, мертвый, распростерся принц Просперо. И тогда, призвав исступленную отвагу отчаяния, гости, как один, ринулись в черную залу к маске, чья высокая, прямая фигура застыла в тени эбеновых часов, — и у них перехватило дух от невыразимого ужаса, когда они обнаружили, что под зловещими одеяниями и трупообразною личиною, в которые они свирепо и грубо вцепились, нет ничего осязаемого.

И стало понятно, что пришла Красная Смерть. Она явилась, яко тать в нощи. И один за другим падали гости в забрызганных кровью залах веселья и умирали, каждый в том исполненном отчаяния положении, в каком упал. И жизнь эбеновых часов кончилась вместе с жизнью последнего из веселившихся. И огни треножников погасли. И Тьма, и Тлен, и Красная Смерть обрели безграничную власть надо всем.

Ангел Необъяснимого[102]
Экстраваганца

Был холодный ноябрьский вечер. Я только что покончил с весьма плотным обедом, в составе коего не последнее место занимали неудобоваримые французские truffe[103], и теперь сидел один в столовой, задрав ноги на каминную решетку и облокотясь о маленький столик, нарочно передвинутый мною к огню, — на нем размещался мой, с позволения сказать, десерт в окружении некоторого количества бутылок с разными винами, коньяками и ликерами. С утра я читал «Леонида» Гловера[104], «Эпигониаду» Уилки[105], «Паломничество» Ламартина[106], «Колумбиаду»

---

[102] Сноски: 102

© Перевод. И. Бернштейн.

[103] Сноски: 103

Трюфели (*фр.*).

[104] Сноски: 104

Ричард Гловер (1712–1785) — английский поэт, писатель, политический деятель. В 1737 году вышла большая поэма «Леонид» — писание защиты греками Фермопил.

[105] Сноски: 105

Вильям Уилки (1721–1772) — шотландский писатель, в 1757 году опубликовал поэму «Эпигониада», основанную на четвертой книге «Илиады» Гомера.

[106] Сноски: 106

Альфонс де Ламартин (1790–1869) — французский писатель и поэт романтического направления, политический деятель. Упоминается его книга «Воспоминания, впечатления и мысли во время поездки на Восток» (1835).

Барло[107], «Сицилию» Такермана[108] и «Достопримечательности» Грисволда[109] и потому, признаюсь, слегка отупел. Сколько я ни пытался взбодриться с помощью лафита, все было тщетно, и с горя я развернул попавшуюся под руку газету. Внимательно изучив колонку «Сдается дом» и колонку «Пропала собака», и две колонки «Сбежала жена», я храбро взялся за передовицу и прочел ее с начала до конца, не поняв при этом ни единого слова, так что я даже подумал, не по-китайски ли она написана, и прочел еще раз, с конца до начала, ровно с тем же успехом. Я уже готов был отшвырнуть в сердцах

Сей фолиант из четырех страниц,
Что
критики от критиков не знал[110], –

---

[107] Сноски: 107

Джоэл Барло (1754–1812) — американский поэт, участник американской революции и похода Наполеона в Россию. Автор эпической поэмы «Колумбиада» (1807).

[108] Сноски: 108

Генри Теодор Такерман (1813–1871) — американский писатель. Упоминается его книга «Изабел, или Сицилия» (1839).

[109] Сноски: 109

Руфус Уилмот Грисволд (1815–1857) — американский писатель, журналист и составитель ряда антологий американской литературы. Упоминается работа «Достопримечательности американской литературы» (1844).

[110] Сноски: 110

Строки из поэмы английского поэта Вильяма Каупера (1731–1809) «Задача» (1785), IV, 50.

когда внимание мое остановила одна заметка.

«Многочисленны и странны пути, ведущие к смерти. Одна лондонская газета сообщает о таком удивительном случае. Во время игры в так называемые «летучие стрелы», в которой партнеры дуют в жестяную трубку, выстреливая в цель длинной иглой, некто вставил иглу острием назад и сделал сильный вдох перед выстрелом — игла вошла ему в горло, проникла в легкие, и через несколько дней он умер».

Прочитав это, я пришел в страшную ярость, сам толком не знаю, почему. «Презренная ложь! — воскликнул я. — Жалкая газетная утка. Лежалая стряпня какого-то газетного писаки, сочиняющего немыслимые происшествия. Эти люди пользуются удивительной доверчивостью нашего века и употребляют свои мозги на изобретение самых невероятных историй, необъяснимых случаев, как они это называют, однако для мыслящего человека (вроде меня, — добавил я в скобках, машинально дернув себя за кончик носа), для ума рассудительного и глубокого, каким обладаю я, сразу ясно, что удивительное количество этих так называемых необъяснимых случаев за последнее время и есть самый что ни на есть необъяснимый случай. Что до меня, то я

лично отныне не верю ничему, что хоть немного отдает необыкновенным.

— Майн готт, тогда ты польшой турак! — возразил мне на это голос, удивительнее которого я в жизни, ничего не слышал. Поначалу я принял было его за шум в ушах (какой слышишь иногда спьяну), но потом сообразил, что он гораздо больше походит на гул, издаваемый пустой бочкой, если бить по ней большой палкой; так что на этом бы объяснении я и остановился, когда бы не членораздельное произнесение слогов и слов. По натуре я нельзя сказать чтобы нервный, да и несколько стаканов лафита, выпитые мною, придали мне храбрости, так что никакого трепета я не испытал, а просто поднял глаза и не спеша, внимательно огляделся, ища непрошеного гостя. Однако никого не увидел.

— Кхе-кхе, — продолжал голос, между тем как я озирался вокруг, — ты ферно пьян, как свинья, раз не фидишь меня, федь я сижу у тебя под носом.

Тут я и в самом деле надумал взглянуть прямо перед собой и действительно, вижу — против меня за столом сидит некто, прямо сказать, невообразимый и трудно описуемый. Тело его представляло собой винную бочку или нечто в подобном роде и вид имело вполне фальстафов-

ский. К нижней ее части были приставлены два бочонка, по всей видимости, исполнявшие роль ног. Вместо рук на верху туловища болтались две довольно большие бутылки горлышками наружу. Головой чудовищу, насколько я понял, служила гессенская фляга, из тех, что напоминают большую табакерку с отверстием в середине. Фляга эта (с воронкой на верхушке, сдвинутой набекрень на манер кавалерийской фуражки) стояла на бочке ребром и была повернута отверстием ко мне, и из этого отверстия, поджатого, точно рот жеманной старой девы, исходили раскатистые, гулкие звуки, которые это существо, очевидно, пыталось выдать за членораздельную речь.

— Ты, говорю, ферно пьян, как свинья, — произнес он. — Сидишь прямо тут, а меня не фидишь. И верно глуп, как осел, что не феришь писанному в газетах. Это — прафда. Все как есть — прафда.

— Помилуйте, кто вы такой? — с достоинством, хотя и слегка озадаченно спросил я. — Как вы сюда попали? И что вы тут такое говорите?

— Как я сюда попал, не тфоя забота, — отвечала фигура. — А что я гофорю, так я гофорю то, что надо. А кто я такой, так я затем и пришел сюда, чтобы ты это уфидел сфвими глазами.

— Вы просто пьяный бродяга, — сказал я. — Я

сейчас позвоню в звонок и велю моему лакею вытолкать вас взашей.

— Хе-хе-хе! — засмеялся он. — Хо-хо-хо! Да ты федь не можешь!

— Что не могу? — возмутился я. — Как вас прикажете понять?

— Позфонить не можешь, — отвечал он, и нечто вроде ухмылки растянуло его злобный круглый ротик.

Тут я сделал попытку встать на ноги, дабы осуществить мою угрозу, но негодяй преспокойно протянул через стол одну из своих бутылок и ткнул меня в лоб, отчего я снова упал в кресло, с которого начал было подниматься. Вне себя от изумления я совершенно растерялся и не знал, как поступить. Он же, между тем, продолжал говорить:

— Сам фидишь, лучше фсего тебе сидеть смирно. Так фот, теперь ты узнаешь, кто я. Фзгляни на меня! Смотри хорошенько! Я — *Ангел Необъяснимого*.

— Необъяснимо, — ответил я. — У меня всегда было такое впечатление, что у ангелов должны быть крылышки.

— Крылышки! — воскликнул он, сразу распалясь. — Фот еще! На что они мне? Майн готт!

Разфе я цыпленок?

— Нет, нет, — поспешил я его уверить, — вы не цыпленок. Отнюдь.

— Тогда сиди и феди себя смирно, не то опять получишь от меня кулаком по лбу. Крылья имеет цыпленок, и софа в лесу имеет крылья, и черти с чертенятами, и главный тойфель, но ангелы крыльеф не имеют, а я — *Ангел Необъяснимого*.

— И какое же у вас ко мне дело?

— Тело? — воскликнула эта комбинация предметов. — Как же ты турно фоспитан, если спрашиваешь у тшентльмена, и к тому же ангела, о теле!

Таких речей я, понятно, даже от ангела снести не мог; поэтому, призвав на помощь всю мою храбрость, я протянул руку, схватил со столика солонку и запустил в голову непрошеному гостю. Однако то ли он пригнулся, то ли я плохо целился, но все, чего я добился, это разнес вдребезги стекло на циферблате каминных часов. Ангел же, со своей стороны, не оставил мои действия без внимания, ответив на них тремя новыми затрещинами, не менее увесистыми, чем первая. Я принужден был покориться, и стыдно признаться, но на глаза мои то ли от боли, то ли от обиды набежала слеза.

— Майн готт! — промолвил Ангел Необъяснимого, сразу заметно подобрев. — Майн готт, этот человек либо очень пьян, либо горько стратает. Тебе нельзя пить крепкую, надо разбафлять водой. Ну, ну, на-ка, фыпей фот этого, мой труг, и не плачь.

И Ангел Необъяснимого до краев наполнил мой бокал (в котором примерно на треть было налито портвейну) какой-то бесцветной жидкостью из своих рук-бутылок. Я заметил, что на них вокруг горлышка были наклейки со словами «Kirschenwasser»[111].

Доброта и внимание Ангела несколько успокоили меня и, наконец, с помощью воды, которой он неоднократно доливал мое вино, я вернул себе присутствие духа настолько, чтобы слушать его удивительные речи.

Я даже не пытаюсь пересказать здесь все, что от него услышал, но в общем я понял так, что он является неким гением, по чьему велению случаются все contretemps[112] рода человеческого, чье дело — устраивать все те *необъяснимые случаи*, что постоянно озадачивают скептиков. Раза два

---

[111] Сноски: 111
Вишневая настойка (*нем.*).

[112] Сноски: 112
Неполадки (*фр.*).

во время разговора, когда я отваживался выразить ему мое полнейшее недоверие, он страшно свирепел, так что в конце концов я почел за благо помалкивать и не оспаривать его утверждений. Он продолжал разглагольствовать, а я откинулся в кресле, закрыл глаза и только забавлялся тем, что жевал изюм, а череночки разбрасывал по комнате. Но через некоторое время Ангел вдруг возомнил, что и это для него оскорбительно. В страшном гневе он вскочил, надвинул воронку на самые глаза и с громовым проклятием произнес какую-то угрозу, которой я не понял, после чего отвесил низкий поклон и удалился, пожелав мне словами архиепископа из «Жиль Блаза»[113] «beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens»[114].

Его уход принес мне облегчение. Несколько стаканчиков лафита, которые я выпил, вызвали у меня сонливость, и я был более чем расположен вздремнуть минут пятнадцать, как обычно после обеда. В шесть часов мне предстояло важное свидание, пропустить которое я ни в коем

---

[113] Сноски: 113

«История Жиль Блаза из Сантильяны» — плутовской роман французского писателя Алена Рене Лесажа (1668–1747)

[114] Сноски: 114

Всяких благ и вдобавок немножко здравого смысла (*фр.*).

случае не мог. Накануне истек срок страховки на мой дом, и поскольку возникли кое-какие разногласия, было решено, что я приду на заседание правления страховой компании и на месте договорюсь о возобновлении страховки. Подняв глаза к каминным часам (мне так хотелось спать, что вытащить часы из кармана просто не было сил), я с удовольствием обнаружил, что у меня в запасе целых двадцать пять минут. Было половина шестого, до страховой конторы ходьбы от силы пять минут, а моя сиеста ни разу в жизни не затягивалась дольше двадцати пяти. Так что я мог не беспокоиться и не мешкая погрузился в сон.

Проснувшись, я снова взглянул на каминные часы и право, почти готов был поверить в пресловутые необъяснимые случаи, когда обнаружил, что вместо обычных пятнадцати-двадцати минут проспал всего три, ибо до назначенного мне часа все еще оставалось добрых двадцать семь минут. Тогда я снова сладко задремал, но, когда, наконец, опять проснулся, то, к величайшему моему изумлению, на часах все еще было без двадцати семи минут шесть. Я вскочил, снял их с каминной полки — они стояли. Мои карманные часы показывали половину восьмого; я проспал добрых два часа и в страховую контору, естественно, опоз-

дал. «Неважно, — сказал я себе, — зайду завтра утром и извинюсь. Однако что могло произойти с часами?» Я внимательно осмотрел их, и оказалось, что один из черенков от изюма, которые я разбрасывал по комнате во время рассуждений Ангела, влетел через разбитое стекло циферблата прямо в скважину для завода и торчал оттуда, препятствуя вращению минутной стрелки.

— Ага, — сказал я, — понятно. Такие вещи говорят сами за себя. Вполне естественная случайность, со всяким может произойти.

Тут не над чем было ломать голову, и в положенный час я отправился спать. В спальне, поставив свечку на тумбочку у кровати, я сделал было попытку проштудировать несколько страниц из книги «Вездесущность бога», однако, к сожалению, менее чем за двадцать секунд погрузился в сон, а свеча так и осталась гореть у моего изголовья.

Спал я тревожно — во сне мне без конца являлся Ангел Необъяснимого. Мне мерещилось, будто он стоит у меня в ногах, раздвигает шторы и гулким, отвратительным голосом винной бочки грозит мне ужасной местью за неуважительное с ним обращение. Кончил он свою длинную гневную речь тем, что сорвал с головы фуражку-воронку,

вставил ее мне в глотку и буквально затопил меня вишневой настойкой, которую изливал непрерывной струей из правой длинногорлой бутылки, заменявшей ему руку. Он все лил и лил, мне стало невмоготу, я не вытерпел и проснулся — и как раз успел заметить, как крыса убегает в подполье с моей зажженной свечой в зубах, однако помешать ей в этом уже не успел. Очень скоро я почувствовал сильный удушливый запах: стало совершенно ясно, что дом горит. Через несколько минут языки пламени вырвались на волю и с невероятной быстротой охватили здание. Все пути отступления из моей спальни были отрезаны — оставалось только окно. Люди, толпившиеся на улице, быстро раздобыли длинную лестницу, подняли и приставили ее к подоконнику. По этой лестнице я стал торопливо спускаться, как вдруг прежирный боров, — чье округлое брюхо, да и вообще весь облик и выражение морды напомнили мне Ангела Необъяснимого, — так вот этот боров, мирно дремавший в грязи по соседству, ни с того ни с сего надумал вдруг почесать левое плечо и не нашел ничего лучшего, как воспользоваться для этой цели лестницей, на которой я находился. Я кувырком полетел вниз и, преследуемый неудачами, сломал руку.

Это несчастие, а также потеря страховки и еще более серьезная утрата всей шевелюры, под корень спаленной пожаром, настроили меня на серьезный лад, так что в конце концов я принял решение жениться. В городе у нас жила богатая вдова, безутешно оплакивавшая как раз кончину седьмого мужа, и ее-то страждущей душе я и предложил бальзам моих сердечных признаний. Она стыдливо даровала мне свое согласие. Я с восторгом и благодарностью пал к ее ногам. Тогда, зардевшись, она склонила головку, и ее роскошные локоны соприкоснулись с моими, — доставшимися мне во временное пользование от Гранжана. Как именно случилось, что они переплелись, не знаю, но с колен я поднялся без парика, с голой сияющей лысиной, а негодующая вдова — вся опутанная чужими волосами. Так рухнули мои надежды на прекрасную вдову — из-за случайности, предвидеть которую, правда, было совершенно невозможно, но которую вызвала цепь вполне естественных причин.

Однако я не отчаялся и предпринял осаду сердца не столь неумолимого. И снова в течение краткого времени судьба благоприятствовала мне, но, как и в предыдущий раз, все сорвалось из-за вмешательства пустячной случайности.

Встретившись однажды с моей нареченной на улице, заполненной избранным обществом нашего города, я поспешил было отвесить ей один из моих самых изысканных поклонов, как вдруг в глаз мне влетела крупица некоей посторонней материи, и я на какое-то время совершенно ослеп. Не успело зрение мое ко мне возвратиться, как уже моя возлюбленная исчезла, оскорбленная до глубины души таким, как она считала, вызывающим поступком — пройти мимо и не заметить ее! Пока, растерявшись от неожиданности (хотя это могло бы случиться со всяким смертным), я стоял, все еще не владея зрением, ко мне приблизился Ангел Необъяснимого и с любезностью, какой я от него вовсе не ожидал, предложил свою помощь. Бережно и весьма искусно исследовав мой пострадавший глаз, он объяснил, что в него *попало*, извлек это — что бы оно ни было — и мне сразу стало легче.

Тогда я решил, что настала пора мне умереть (раз уж судьба меня так преследует), и с этим намерением направился к ближайшей речке. Там, сняв одежду (ибо нет никаких причин нам умирать в ином виде, чем мы появились на свет), я бросился в воду вниз головой. Видела все это только одинокая ворона, которая отбилась от

своего племени, соблазнившись проспиртованным зерном. И эта самая ворона, лишь только я плюхнулся в воду, не нашла ничего лучше, как ухватить в клюв самый важный предмет моего туалета и полететь прочь. Тогда, отложив исполнение моего самоубийственного замысла до другого времени, я спешно сунул нижние конечности в рукава и пустился вдогонку за грабительницей со всей скоростью, какую предписывала потребность и допускала возможность. Но злой рок по-прежнему преследовал меня. Я бежал во всю прыть, задрав голову в небо и все внимание сосредоточив на похитительнице моей собственности, как вдруг почувствовал, что мои ноги уже больше не касаются terra firma[115]: оказалось, что я сорвался и лечу в пропасть, на дне которой я неизбежно переломал бы себе все кости, если бы, по счастью, не успел ухватиться за волочившийся канат — гайдроп летевшего надо мною воздушного шара.

Едва только успел я настолько оправиться от растерянности, чтобы осознать, перед какой страшной опасностью я стою, вернее, вишу, как я тут же во всю силу легких принялся оповещать

---

[115] Сноски: 115
Твердой земли (*лат.*).

об этой опасности находящегося надо мною аэронавта. Долгое время мои старания оставались безуспешны. То ли этот дурак меня не видел, то ли, подлец, не обращал внимания. Его летательный аппарат, между тем, быстро взмывал ввысь, и с такой же быстротой падали мои силы. Я уже готов был смириться с неизбежной гибелью и покорно свалиться в море, но тут настроение мое вновь поднялось, ибо сверху раздался гулкий голос, лениво напевавший какую-то оперную арию. Я поглядел вверх — на меня смотрел Ангел Необъяснимого. Сложив руки на груди, он свесился за борт гондолы; во рту у него торчала трубка, он ею попыхивал и имел вид человека, весьма довольного и собой и белым светом. У меня уже не оставалось сил говорить, и я только устремил на него умоляющий взор.

Он смотрел мне прямо в лицо, но несколько минут не произносил ни слова. Затем, наконец, переложил трубку из правого угла рта в левый и соблаговолил заговорить.

— Кто фы такой? — спросил он. — И какофо тойфеля фам надо?

На столь вопиющее нахальство, жестокосердие и притворство я мог ответить только кратким призывом:

— Помогите!

— Фам помочь? — переспросил этот злодей. — Ну уж нет. Фот фам бутылка — не зефайте, она фам поможет!

С этими словами он выпустил из рук тяжелую бутылку с Kirschenwasser и попал ею мне прямо по темени, так что у меня создалось впечатление, будто она вышибла мне все мозги. Под этим впечатлением я уже готов был разжать руки и с миром отдать богу душу, но меня остановил окрик Ангела, который велел мне держаться.

— Тержись! — крикнул он. — Не надо торопиться. Хочешь еще бутылочку? Или ты уже тофольно отрезфел и пришел в себя?

В ответ я поспешил дважды помотать головой. Отрицательно — в знак того, что еще одна бутылка мне сейчас не очень нужна; и утвердительно, желая этим заверить его, что я совершенно трезв и полностью пришел в себя. Ангел немного смягчился.

— Тогта, значит, ты, наконец, поферил? — спросил он. — Ты теперь феришь в необъяснимое?

Я снова кивнул утвердительно.

— И феришь в меня, Ангела Необъяснимого?

Я опять кивнул.

— И признаешь, что ты пьян фстельку и глуп

как осел? И я снова кивнул.

— Раз так, положи прафую руку в лефый карман панталон в знак полного подчинения Ангелу Необъяснимого.

Этого я по очевидным причинам сделать не мог. Начать с того, что левая рука у меня была сломана при падении с пожарной лестницы, так что если бы я разжал теперь правую руку и выпустил канат, то выпустил бы его безвозвратно. Кроме того, у меня не было панталон, и чтобы их получить, я должен был догнать ворону. Вследствие всего этого я вынужден был, к величайшему моему сожалению, отрицательно покачать головой, желая этим сообщить Ангелу, что в данный момент мне было бы несколько затруднительно удовлетворить его вполне разумные требования! Но лишь только я перестал качать головой, как…

— Ну, и катись ко фсем чертям! — рявкнул с неба Ангел Необъяснимого.

При этом он полоснул острым ножом по канату, на котором я висел, а так как в это самое мгновение мы пролетали над моим домом (который за время моих странствий успели заново отстроить), вышло так, что я угодил прямо в дымоход и обрушился в камин у себя в столовой.

Когда я пришел в себя (ибо падение порядком

меня оглушило), оказалось, что сейчас около четырех часов утра. Я лежал ничком на том самом месте, куда упал с воздушного шара, лицом уткнувшись в холодную золу вчерашнего огня, а ногами попирая обломки опрокинутого столика, а вокруг валялись всевозможные остатки десерта, вперемешку с газетой, несколькими разбитыми стаканами и бутылками и пустым графином из-под вишневой настойки. Так отомстил мне Ангел Необъяснимого.

Разговор с мумией[116]

Вчерашняя наша застольная беседа оказалась чересчур утомительной для моих нервов. Разыгралась головная боль, появилась сонливость. Словом, нынче, вместо того, чтобы идти со двора, как я прежде намеревался, я предпочел подобру-поздорову остаться дома, поужинать самую малость и отправиться спать.

Ужин, разумеется, совсем *легкий*. Я страстный любитель гренков с сыром. Но даже их больше фунта в один присест не всегда съешь. Впрочем, и два фунта не могут вызвать серьезных возражений. А где два, там и три, разницы почти никакой. Я, помнится, отважился на четыре. Жена, правда, утверждала, что на пять, но она, очевидно, просто перепутала. Цифру пять, взятую как таковую, я и сам признаю, но в конкретном применении она может относиться только к пяти бутылкам черного портера, без каковой приправы гренки с сыром никак не идут.

Завершив таким образом мою скромную трапезу и надевши ночной колпак, я в предвкушении

---

[116] Сноски: 116

© Перевод. И. Бернштейн

сладостного отдыха до полудня преклонил голову на подушку и как человек с совершенно незапятнанной совестью немедленно погрузился в сон.

Но когда сбывались людские надежды? Я не всхрапнул еще и в третий раз, как у входной двери яростно зазвонили и вслед за этим нетерпеливо застучали дверным молотком, отчего я тут же и проснулся. А минуту спустя, пока я еще продирал глаза, жена сунула мне под нос записку от моего старого друга доктора Йейбогуса. В ней значилось:

«Во что бы то ни стало приходите ко мне, мой добрый друг, как только получите это письмо. Приходите и разделите нашу радость. Я наконец, благодаря упорству и дипломатии, добился от дирекции Городского музея согласия на обследование мумии – вы помните, какой. Мне разрешено распеленать ее и, если потребуется, вскрыть. При этом будут присутствовать лишь двое-трое близких друзей, вы, разумеется, в том числе, Мумия уже у меня дома, и мы начнем разматывать ее сегодня в одиннадцать часов вечера.

Всегда ваш

Йейбогус».

Дойдя до слова «Йейбогус», я почувствовал, что совершенно, окончательно проснулся. В восторге выпрыгнул я из-под одеяла, сокрушая все на своем пути, оделся с быстротой прямо-таки фантастической и со всех ног бросился к дому доктора.

Там я застал уже всех в сборе, с нетерпением ожидающих моего прибытия. Мумия лежала распростертая на обеденном столе, и лишь только я вошел, было приступлено к обследованию.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет назад кузеном Йейбогуса, капитаном Артуром Ментиком с Ливийского нагорья, где он их нашел в одном захоронении близ Элейтиаса, на много миль вверх по Нилу от Фив. В этой местности пещеры хотя и не столь величественны, как фиванские гробницы, зато представляют большой интерес, ибо содержат многочисленные изображения, проливающие свет на жизнь и быт древних египтян. Камера, из которой был извлечен лежащий перед нами экземпляр, по рассказам, особенно изобиловала такими изображениями — ее стены были сплошь покрыты

фресками и барельефами, в то время как статуи, вазы и мозаичные узоры свидетельствовали о незаурядном богатстве погребенного.

Драгоценная находка была передана музею в том самом виде, в каком впервые попала на глаза капитану Ментику, — саркофаг оставался не вскрыт. И так он простоял восемь лет, доступный лишь наружному осмотру публики. Иначе говоря, в нашем распоряжении сейчас была цельная, нетронутая мумия, и те, кто отдают себе отчет в том, сколь редко достигают наших берегов непопорченные памятники древности, сразу же поймут, что мы имели полное право поздравить себя с такой удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой короб, или ящик, едва ли не семи футов в длину, трех в ширину и высотой не менее двух с половиной футов. Он имел правильную овальную форму, а не суживающуюся к одному концу, как гроб. Материал, из которого он был сделан, мы сначала приняли за дерево сикоморы (platanus), но оказалось, когда сделали разрез, что это картон, вернее, papier-mâché[117] из папируса. Снаружи его густо покрывали рисунки — сцены похорон

---

[117] Сноски: 117
Папье-маше (*фр.*).

и другие печальные сюжеты, между которыми тут и там во всевозможных положениях повторялись одинаковые иероглифические письмена, знаменующие собою, вне всякого сомнения, имя усопшего. По счастью, среди нас находился мистер Глиддон[118], который без труда расшифровал эту надпись: она была сделана просто фонетическим письмом и читалась как «Бестолковео».

Нам не сразу удалось вскрыть ящик так, чтобы не повредить его, но когда, наконец, мы в этом преуспели, нашим глазам открылся другой ящик, уже в форме гроба и значительно меньших размеров, чем наружный, но во всем прочем — его совершенная копия. Промежуток между ними был заполнен смолой, отчего краски на втором ящике несколько пострадали.

Открыв и его (что мы осуществили с легкостью), мы обнаружили третий ящик, также сужающийся с одного конца и вообще отличающийся от второго лишь материалом: он был сделан из кедра и все еще источал присущий этому дереву своеобразный аромат. Никакого зазора между вторым и третьим ящиками не было — стенки

[118] Сноски: 118

Джордж Робинс Глиддон (1809–1857) — американский египтолог английского происхождения.

одного вплотную прилегали к стенкам другого.

Сняв третий ящик, мы обнаружили и извлекли самую мумию. Мы ожидали, что она, как всегда в таких случаях, будет плотно обернута, как бы забинтована, полосами ткани, но вместо этого оказалось, что тело заключено в своего рода футляр из папируса, покрытый толстым слоем лака, раззолоченный и испещренный рисунками. На них изображены были всевозможные мытарства души и ее встречи с различными богами. Повторялись одни и те же человеческие фигуры — по всей видимости, портреты набальзамированных лиц. От головы до ног перпендикулярной колонкой шла надпись, также сделанная фонетическими иероглифами и указывающая имя и различные титулы усопшего, а кроме того, имена и титулы его родственников.

На шее мумии мы обнаружили ожерелье из разноцветных цилиндрических бусин с изображениями божеств, скарабеев и прочего, а также крылатого шара. Второе, подобное, так сказать, ожерелье стягивало мумию в поясе.

Содрав папирус, мы обнажили тело, которое оказалось в отличной сохранности и совершенно не пахло. Кожа имела красноватый оттенок. Она была гладкой, плотной и блестящей. В прекрас-

ном состоянии были и зубы, и волосы. Глаза, по-видимому, были вынуты, и на их место вставлены стеклянные, выполненные очень красиво и с большим правдоподобием. Только, пожалуй, взгляд получился слишком уж решительный. Ногти и концы пальцев были щедро позолочены.

Мистер Глиддон высказал мнение, что, судя по красноватой окраске эпидермиса, бальзамирование осуществлено исключительно асфальтовыми смолами. Однако, когда с поверхности тела соскребли стальным инструментом некоторое количество порошкообразной субстанции и бросили в пламя, стало очевидным присутствие камфоры и других пахучих веществ.

Мы тщательно осмотрели тело в поисках отверстия, через которое были извлечены внутренности, но, к нашему недоумению, таковое не обнаружили. Никто из присутствовавших тогда не знал, что цельные, или невскрытые мумии — явление, не столь уж и редкое. Нам было известно, что, как правило, мозг покойника удаляли через нос, для извлечения кишок делали надрез сбоку живота, после чего труп обривали, мыли и засаливали, и только затем, по прошествии нескольких недель приступали к

собственно бальзамированию.

Так и не обнаружив надреза, доктор Йейбогус приготовил свой хирургический инструмент, чтобы начать вскрытие, но тут я спохватился, что уже третий час ночи. Было решено отложить внутреннее обследование до завтрашнего вечера, и мы уже собирались разойтись, когда кто-то предложил один-два опыта с вольтовой батареей.

Мысль воздействовать электричеством на мумию трех- или четырехтысячелетнего возраста была если и не очень умна, то во всяком случае оригинальна, и мы все тотчас же ею загорелись. На девять десятых в шутку и на одну десятую всерьез мы установили у доктора в кабинете батарею, а затем перенесли туда египтянина.

Нам стоило немалых трудов обнажить край височной мышцы, которая оказалась значительно менее окостенелой, чем остальная мускулатура тела, однако же, как и следовало ожидать, при соприкосновении с проводом не проявила, разумеется, ни малейшей гальванической чувствительности. Эту первую попытку мы сочли достаточно убедительной и, от души смеясь над собственной глупостью, стали прощаться, как вдруг я мельком взглянул на мумию и замер в

изумлении. Одного беглого взгляда было довольно, чтобы удостовериться, что глазные яблоки, которые мы все принимали за стеклянные, хотя и было замечено их странное выражение, теперь оказались прикрыты веками, так что оставались видны только узкие полоски tunica albuginea[119].

Громким возгласом я обратил на это обстоятельство внимание остальных, и все сразу же убедились в моей правоте.

Не могу сказать, чтобы я был *встревожен* этим явлением, «встревожен» — не совсем то слово. Думаю, что если бы не портер, можно было бы утверждать, что я испытал некоторое беспокойство. Из остальных же собравшихся никто даже не делал попытки скрыть самый обыкновенный испуг. На доктора Йейбогуса просто жалко было смотреть. Мистер Глиддон вообще умудрился куда-то скрыться. А у мистера Силка Букингема, я надеюсь, не достанет храбрости отрицать, что он на четвереньках ретировался под стол.

Однако, когда первое потрясение прошло, мы, нимало не колеблясь, немедленно приступили к дальнейшим экспериментам. Теперь наши действия были направлены против большого

---

[119] Сноски: 119
Белки глаз (*лат.*).

пальца правой ноги. Был сделан надрез над наружной os sesamoideum pollicis pedis[120] и тем самым обнажен корень musculus abductus[121]. Снова наладив батарею, мы подействовали током на рассеченный нерв, и тут мумия, ну прямо совершенно как живая, сначала согнула правое колено, подтянув ногу чуть не к самому животу, а затем, выпрямив ее необыкновенно сильным толчком, так брыкнула доктора Йейбогуса, что этот солидный ученый муж вылетел, словно стрела из катапульты, через окно на улицу.

Мы все en masse[122] ринулись вон из дома, чтобы подобрать разбитые останки нашего погибшего друга, но имели счастье повстречать на лестнице его самого, задыхающегося от спешки, исполненного философическим пылом испытателя и еще более прежнего убежденного в необходимости с усердием и тщанием продолжить наши опыты.

По его указанию, мы, не медля ни минуты, сделали глубокий надрез на кончике носа испы-

---

[120] Сноски: 120
Сесамовидная кость большого пальца ноги (*лат.*).

[121] Сноски: 121
Отводящей мышцы (*лат.*).

[122] Сноски: 122
Всем скопом (*фр.*).

туемого, и доктор, крепко ухватившись, притянул его в соприкосновение с проводом.

Эффект — морально и физически, в прямом и в переносном смысле — был электрический. Во-первых, покойник открыл глаза и часто замигал, точно мистер Барнес[123] в пантомиме; во-вторых, он чихнул; в-третьих, сел; в-четвертых, потряс кулаком под носом у доктора Йейбогуса; и в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Букингему, адресовался к ним на безупречном египетском языке со следующей речью:

— Должен сказать, джентльмены, что нахожу ваше поведение столь же оскорбительным, сколь и непонятным. Ну, хорошо, от доктора Йейбогуса ничего другого и не приходится ожидать. Он просто жирный неуч, где ему, бедняге, понять, как нужно обращаться с порядочным человеком. Мне жаль его. Я его прощаю. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы столько путешествовали и жили в Египте, почти, можно сказать, родились там, вы, так долго жившие среди нас, что говорите по-египетски, вероятно, так же хорошо, как пишете на своем родном языке, вы, кого я всегда был склонен считать верными друзьями мумий, — право же,

---

[123] Сноски: 123

Джон Барнес (1761–1841) — английский актер-комик, был популярным актером в нью-йоркских театральных кругах.

уж кто-кто, а вы могли бы вести себя лучше. Вы видите, что со мною возмутительно обращаются, *но* преспокойно стоите в стороне и смотрите. Как это надо понимать? Вы дозволяете всякому встречному и поперечному снимать с меня мои саркофаги и облачения в таком непереносимо холодном климате. Что я, по-вашему, должен об этом думать? И наконец, самое вопиющее, вы содействуете и попустительствуете этому жалкому грубияну доктору Йейбогусу, решившемуся потянуть меня за нос. Что все это значит?

Естественно предположить, что, услышав эти речи, мы все ударились бежать, или впали в истерическое состояние, или же дружно шлепнулись в обморок. Любое из этих трех предположений напрашивается само собой. Я убежден, что, поведи мы себя таким образом, никто бы не удивился. Более того, честью клянусь, что сам не понимаю, как и почему ничего подобного с нами не произошло. Разве только причину нужно искать в так называемом духе времени, который действует по принципу «все наоборот» и которым в наши дни легко объясняют любые нелепицы и противоречия. А может быть, дело тут в том, что мумия держалась уж очень натурально и непринужденно, и потому речи ее не прозвучали так жутко,

как должны были бы. Словом, как бы то ни было, но из нас ни один не испытал особого трепета и вообще не нашел в этом явлении ничего из ряда вон выходящего.

Я, например, ничуть не удивился и просто отступил на шаг — подальше от египетского кулака. Доктор Йейбогус побагровел и уставился в лицо мумии, глубоко засунув руки в карманы панталон. Мистер Глиддон погладил бороду и поправил крахмальный воротничок. Мистер Букингем низко опустил голову и сунул в левый угол рта большой палец правой руки.

Египтянин посмотрел на него с негодованием, помолчал минуту, а затем с язвительной усмешкой продолжал:

— Что же вы не отвечаете, мистер Букингем? Вы слышали, о чем вас спрашивают? *Выньте-ка* палец изо рта, сделайте милость!

При этом мистер Букингем вздрогнул, вынул из левого угла рта большой палец правой руки и тут же вознаградил себя за это тем, что всунул в правый угол названного отверстия большой палец левой руки.

Так и не добившись ответа от мистера Б., мумия обратилась к мистеру Глиддону и тем же безапелляционным тоном потребовала объяснений

от него.

И мистер Глиддон дал пространные объяснения на разговорном египетском языке. Не будь в наших американских печатнях так плохо с египетскими иероглифами, я бы с огромным удовольствием привел здесь целиком в исконном виде его превосходную речь.

Кстати замечу, что вся последующая беседа с мумией происходила на разговорном египетском через посредство (что касается меня и остальных необразованных членов нашей компании) — через посредство, стало быть, переводчиков Глиддона и Букингема. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии совершенно свободно и бегло, однако я заметил, что временами (когда речь заходила о понятиях и вещах исключительно современных и для нашего гостя совершенно незнакомых) они бывали принуждены переходить на язык вещественный. Мистер Глиддон, например, оказался бессилен сообщить египтянину смысл термина «политика)», покуда не взял уголек и не нарисовал на стене маленького красноносого субъекта с продранными локтями, который стоит на помосте, отставив левую ногу, выбросив вперед сжатую в кулак правую руку, закатив глаза и разинув рот под углом в

90 градусов. Точно так же мистеру Букингему не удавалось выразить современное понятие «прорехи в экономике» до тех пор пока, сильно побледнев, он (по совету доктора Йейбогуса) не решился снять свой новехенький сюртук и показать спину крахмальной сорочки. Как вы сами понимаете, мистер Глиддон говорил, главным образом, о той великой пользе, какую приносит науке распеленывание и потрошение мумий. Выразив сожаление о тех неудобствах, которые эта операция принесет ему, одной мумифицированной личности по имени Бестолковео, он кончил свою речь, намекнув (право, это был не больше, чем тонкий намек), что теперь, когда все разъяснилось, неплохо бы продолжить исследование. При этих словах доктор Йейбогус опять стал готовить инструменты.

Относительно последнего предложения оратора у Бестолковео нашлись кое-какие контрдоводы идейного свойства, какие именно, я не понял; но он выразил удовлетворение принесенными ему извинениями, слез со стола и пожал всем присутствующим руки.

По окончании этой церемонии мы все занялись возмещением ущерба, понесенного нашим гостем от скальпеля. Зашили рану на виске, пе-

ребинтовали колено и налепили на кончик носа добрый дюйм черного пластыря.

Затем мы обратили внимание на то, что граф (ибо таков был титул Бестолковео) слегка дрожит — без сомнения, от холода. Доктор сразу же удалился к себе в гардеробную и вынес оттуда черный фрак наимоднейшего покроя, пару небесно голубых клетчатых панталон со штрипками, розовую, в полоску chemise[124], широкий расшитый жилет, трость с загнутой ручкой, цилиндр без полей, лакированные штиблеты, желтые замшевые перчатки, монокль, пару накладных бакенбард и пышный шелковый галстук. Из-за некоторой разницы в росте между графом и доктором (соотношение было, примерно, два к одному) при облачении египтянина возникли небольшие трудности; но потом все кое-как уладилось и наш гость был в общем и целом одет. Мистер Глиддон взял его под руку и подвел к креслу перед камином, между тем как доктор позвонил и распорядился принести еще сигар и вина.

Разговор вскоре оживился. Всех, естественно, весьма заинтересовал тот довольно-таки потря-

---

[124] Сноски: 124
Сорочку (*фр.*).

сающий факт, что Бестолковео оказался живым.

— На мой взгляд, вам давно бы следовало помереть, — заметил мистер Букингем.

— Что вы! — крайне удивленно ответил граф. — Ведь мне немногим больше семисот лет! Мой папаша прожил тысячу и умер молодец-молодцом.

Тут посыпались вопросы и выкладки, с помощью каковых было скорее выяснено, что предполагаемая древность мумии сильно преуменьшена. Со времени заключения ее в элейтиадские катакомбы прошло на самом деле пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев.

— Мое замечание вовсе не относилось к вашему возрасту в момент захоронения, — пояснил Букингем. — Готов признать, что вы еще сравнительно молоды. Я просто имел в виду тот огромный промежуток времени, который, по вашему же собственному признанию, вы пролежали в асфальтовых смолах.

— В чем, в чем? — переспросил граф.

— В асфальтовых смолах.

— А-а, кажется, я знаю, что это такое. Их, вероятно, тоже можно использовать. Но в мое время употреблялся исключительно бихлорид ртути, иначе — сулема.

— Вот еще чего мы никак не можем понять, — сказал доктор Йейбогус. — Каким образом получилось, что вы умерли и похоронены в Египте пять тысяч лет назад, а теперь разговариваете с нами живой и, можно сказать, цветущий?

— Если б я действительно, как вы говорите, *умер*, — отвечал граф, — весьма вероятно, что я бы и сейчас оставался мертвым, ибо я вижу, вы еще совершенные дети в гальванизме и не умеете того, что у нас когда-то почиталось делом пустяковым. Но я просто впал в каталептический сон, и мои близкие решили, что я либо уже умер, либо должен очень скоро умереть, и поспешили меня бальзамировать. Полагаю, вам знакомы основные принципы бальзамирования?

— М-м, не совсем, знаете ли.

— Понятно. Плачевная необразованность! Входить в подробности я сейчас не могу, но следует вам сказать, что бальзамировать — значило у нас в Египте остановить на неопределенный срок в животном организме абсолютно *все* процессы. Я употребляю слово «животный» в самом широком смысле, включающем как физическое, так и духовное, и витальное бытие. Повторяю, ведущим принципом бальзамирования у нас была моментальная и полная остановка *всех* животных

функций. Иными словами, в каком состоянии человек находился в момент бальзамирования, в таком он и сохраняется. Я имею счастье принадлежать к роду Скарабея[125] и поэтому был забальзамирован *живым*, как вы можете теперь убедиться.

— К роду Скарабея? — воскликнул доктор Йейбогус.

— Да. Скарабей был insignium[126], своего рода наследственным гербом одной очень знатной и высокой фамилии. Принадлежать к роду Скарабея означало просто быть членом этой фамилии. Мои слова надо понимать фигурально.

— Но как это связано с тем, что вы остались живы?

— Да ведь у нас в Египте повсеместно принято было перед бальзамированием трупа удалять внутренности и мозг. Одни только Скарабеи не подчинялись этому обычаю. Следовательно, не будь я Скарабеем, я остался бы без мозга и внутренностей, а в таком виде жить довольно

---

[125] Сноски: 125

Скарабей — жук, обитающий в Южной Европе и Северной Африке. Один из самых почитаемых символов Древнего Египта, почитался как одна из форм солнечного божества.

[126] Сноски: 126

Эмблемой (*лат.*).

неудобно.

— Я понял, — сказал мистер Букингем. — Стало быть, все попадающиеся нам цельные мумии принадлежали к роду Скарабеев?

— Без сомнения.

— Я думал, — кротко заметил мистер Глиддон, — что Скарабей — один из египетских богов.

— Из египетских богов? — вскочив, воскликнула мумия.

— Да, — подтвердил известный путешественник.

— Мистер Глиддон, вы меня удивляете, — произнес граф, снова усевшись в кресло. — Ни один народ на земле никогда не поклонялся более чем *одному богу*. Скарабей, ибис и прочие были для нас (как иные подобные существа для других) всего лишь символами, media[127] при поклонении Создателю, который слишком велик, чтобы обращаться к нему прямо.

Наступила пауза. Потом доктор Йейбогус продолжил разговор.

— Правильно ли будет предположить на основании ваших слов, — спросил он, — что в Нильских катакомбах лежат и другие мумии

---

[127] Сноски: 127
Посредниками (*лат.*).

из рода Скарабеев, сохранившие состояние витальности?

— В этом не может быть сомнения, — отвечал граф. — Все Скарабеи, по случайности бальзамированные заживо, живы и в настоящее время. Даже среди тех, кого забальзамировали *нарочно*, тоже могут отыскаться, по недосмотру душеприказчиков оставшиеся в гробницах.

— Не будете ли вы столь добры объяснить, что означает «забальзамировали нарочно»? — попросил я.

— С великим удовольствием, — отозвалась мумия, доброжелательно осмотрев меня в монокль, поскольку это был первый вопрос, который задал ей я лично. — С великим удовольствием. Обычная продолжительность человеческой жизни в мое время была примерно восемьсот лет. Крайне редко случалось, если не считать экстраординарных происшествий, что человек умирал, не достигнув шестисотлетнего возраста. Бывали и такие, что проживали дольше десяти сотен. Но естественным сроком жизни считалось восемьсот лет. После того как был открыт принцип бальзамирования, который я вам ранее изложил, нашим философам пришла мысль удовлетворить похвальную людскую любознательность,

а заодно содействовать развитию наук, устроив проживание этого естественного срока по частям, с перерывами. Для истории, например, такой способ жизни, как показывает опыт, просто необходим. Скажем, ученый историк, дожив до пятисот лет и употребив немало стараний, напишет толстый труд. Затем прикажет себя тщательно забальзамировать и оставит своим будущим душеприказчикам строгое указание оживить его по прошествии какого-то времени — допустим, шестисот лет. Возвратившись через этот срок к жизни, он обнаружит, что из его книги сделали какой-то бессвязный набор цитат, превратив ее в литературную арену для столкновения противоречивых мнений, догадок и недомыслий целой своры драчливых комментаторов. Все эти недомыслия и проч., под общим именем исправлений и добавлений, до такой степени исказили, затопили и поглотили текст, что автор принужден ходить с фонарем в поисках своей книги. И найдя, убедиться, что не стоило стараться. Он садится и все переписывает заново, а кроме того, долг ученого-историка велит ему внести поправки в ходячие предания новых людей о той эпохе, в которой он когда-то жил. Благодаря такому самопереписыванию и поправ-

кам живых свидетелей, длительные старания отдельных мудрецов привели к тому, что наша история не выродилась в пустые побасенки.

— Прошу прощения, — проговорил тут доктор Йейбогус, кладя ладонь на руку египтянина. — Прошу прощения, сэр, но позвольте мне на минуту перебить вас.

— Сделайте одолжение, сэр, — ответил граф, убирая руку.

— Я только хотел задать вопрос, — сказал доктор. — Вы говорили о поправках, вносимых историком в предания о его эпохе. Скажите, сэр, велика ли, в среднем, доля истины в этой каббале.

— В этой каббале, как вы справедливо ее именуете, сэр, как правило, содержится ровно такая же доля истины, как и в исторических трудах, ждущих переписывания. Иными словами, ни в тех, ни в других нельзя отыскать ни единого сведения, которое не было бы совершенно, стопроцентно ложным.

— А раз так, — продолжал доктор, — то, поскольку мы точно установили, что с момента ваших похорон прошло по крайней мере пять тысяч лет, можно предположить, что в ваших книгах, равно как и в ваших преданиях, имелись

богатые данные о том, что так интересует все человечество, — о сотворении мира, которое произошло, как вы, конечно, знаете, всего за тысячу лет до вас.

— Что это значит, сэр? — вопросил граф Бестолковео.

Доктор повторил свою мысль, но потребовалось немало дополнительных объяснений, прежде чем чужеземец смог его понять. Наконец, тот с сомнением сказал:

— То, что вы сейчас мне сообщили, признаюсь, для меня абсолютно ново. В мое время я не знал никого, кто бы придерживался столь фантастического взгляда, что будто бы вселенная (или этот мир, если вам угодно) имела некогда начало. Вспоминаю, что однажды, но только однажды, я имел случай побеседовать с одним премудрым человеком, который говорил что-то о происхождении *человеческого рода*. Он употреблял, кстати, имя *Адам*, или Красная Глина, которое и у вас в ходу. Но он им пользовался в обобщенном смысле, в связи с самозарождением из плодородной почвы (как зародились до того тысячи низших видов) — в связи с одновременным самозарождением, говорю я, пяти человеческих орд на пяти различных частях земного шара.

Здесь мы все легонько пожали плечами, а кое-кто еще и многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Мистер Силк Букингем скользнул взглядом по затылочному бугру, а затем по надбровным дугам Бестолковео и сказал:

— Большая продолжительность жизни в ваше время, да к тому же еще эта практика проживания ее по частям, как вы нам объяснили, должны были бы привести к существенному развитию и накоплению знаний. Поэтому тот факт, что древние египтяне тем не менее уступают современным людям, особенно американцам, во всех достижениях науки, я объясняю превосходящей толщиной египетского черепа.

— Признаюсь, — любезнейшим тоном ответил граф, — что опять не вполне понимаю вас. Не могли ли бы вы пояснить, какие именно достижения науки вы имеете в виду?

Тут все присутствующие принялись хором излагать основные положения френологии и перечислять чудеса животного магнетизма.

Граф выслушал нас до конца, а затем рассказал два-три забавных анекдота, из которых

явствовало, что прототипы наших Галля[128] и Шпурцгейма[129] пользовались славой, а потом впали в безвестность в Египте так давно, что о них уже успели забыть, и что демонстрации Месмера[130] — не более как жалкие фокусы, в сравнении с подлинными чудодействиями фиванских savans[131], которые умели сотворять вшей и прочих им подобных существ.

Тогда я спросил у графа, а умели ли его соотечественники предсказывать затмения. Он с довольно презрительной улыбкой ответил, что умели.

Это меня несколько озадачило, но я продолжал выспрашивать, что они еще понимают в астрономии, пока один из нашей компании, до сих пор не раскрывавший рта, шепнул мне на ухо, что за

---

[128] Сноски: 128

Франц Йозеф Галль (1758–1828) — австрийский врач и анатом, основатель френологии, основным положением которой являлось утверждение о взаимосвязи между психикой человека и строением его черепа.

[129] Сноски: 129

Иоганн Кристоф Шпурцгейм (1776–1832) — немецкий френолог.

[130] Сноски: 130

Франц Антон Месмер (1734–1815) — немецкий врач и целитель, создатель учения о «животном магнетизме» — месмеризма.

[131] Сноски: 131

Мудрецов (*фр.*).

сведениями на этот счет мне лучше всего обратиться к Птолемею (не знаю такого, не слышал), да еще к некоему Плутарху[132], написавшему труд «De facie lunae»[133].

Тогда я задал мумии вопрос о зажигательных увеличительных стеклах и вообще о производстве стекла. Но не успел еще и договорить, как все тот же молчаливый гость тихонько тронул меня за локоть и покорнейше попросил познакомиться, хотя бы слегка, с Диодором Сицилийским[134]. Граф же вместо ответа только осведомился, есть ли у нас, современных людей, такие микроскопы, которые позволили бы нам резать камеи, подобные египетским. Пока я размышлял, что бы ему такое сказать на это, в разговор вмешался наш маленький доктор Йейбогус, и при этом довольно неудачно.

— А наша архитектура! — воскликнул он к глубокому возмущению обоих путешественни-

---

[132] Сноски: 132

Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — древнегреческий писатель и философ. Трактат «О лике на лунном диске» представляет различные популярные для греков астрономические идеи.

[133] Сноски: 133

«О лике на лунном диске» (*лат.*).

[134] Сноски: 134

Диодор Сицилийский (ок. 90–30 гг. до н. э.) — древнегреческий историк и мифограф.

ков, которые незаметно пинали его и щипали, но все напрасно. — Посмотрите фонтан на Боулинг-Грин[135] у нас в Нью-Йорке! Или — если это сооружение уж слишком величаво для сопоставления — возьмите здание Капитолия в Вашингтоне!

И наш коротышка-лекарь пустился подробно перечислять и описывать прекрасные черты и пропорции упомянутого сооружения. Только в портале, с жаром восклицал он, имеется ни много ни мало, как двадцать четыре колонны пяти футов в диаметре каждая и в десяти футах одна от другой!

Граф сказал на это, что, к своему сожалению, не может сейчас назвать точные цифры пропорций ни одного из главных зданий в городе Азнаке[136], который был заложен некогда во тьме времен, но развалины которого в его эпоху еще можно было видеть в песчаной пустыне к западу от Фив. Однако, если говорить о порталах, он помнит, что у одного из малых загородных дворцов в

---

[135] Сноски: 135
Боулинг-Грин — парк в центре Нью-Йорка.

[136] Сноски: 136
Азнак — вымышленное название.

предместье, именуемом Карнаком[137], был портал из ста сорока четырех колонн по тридцати семи футов в обхвате и в двадцати пяти футах одна от другой. Подъезд к этому порталу со стороны Нила был обстроен сфинксами, статуями и обелисками двадцати, шестидесяти и ста футов высотой. А сам дворец, если он не путает, имел две мили в длину и, вероятно, миль семь в окружности. Стены и снаружи и изнутри были сверху донизу расписаны иероглифами. Он не берется положительно утверждать, что на этой площади поместилось бы пятьдесят — шестьдесят таких Капитолиев, как рисовал тут доктор, но, с другой стороны, допускает, что с грехом пополам их вполне можно было бы туда напихать штук этак двести или триста. В сущности-то это был малый дворец, так себе, загородная постройка. Однако граф не может не признать великолепия, прихотливости и своеобразия фонтана на Боулинг-Грин, так красочно описанного доктором. Ничего подобного, он вынужден признать, у них в Египте, да и вообще нигде и никогда не было.

Тут я спросил графа, что он скажет о наших

[137] Сноски: 137

Карнак — египетская деревня на месте столицы Древнего Египта, города Фив. Знаменита развалинами храма Амона, постройка которого началась в XX в. до н. э.

железных дорогах.

— Ничего особенного, — ответил он. По его мнению, они довольно ненадежны, неважно продуманы и плоховато уложены. И не идут, разумеется, ни в какое сравнение с безукоризненно ровными и прямыми, снабженными металлической колеей широкими дорогами, по которым египтяне транспортировали целые храмы и монолитные обелиски ста пятидесяти футов высотой.

Я сослался на наши могучие механические двигатели.

Он согласился, сказал, что слыхал об этом кое-что, но спросил, как бы я смог расположить пяты арок на такой высоте, как хотя бы в самом маленьком из дворцов Карнака.

Этот вопрос я счел за благо не расслышать и поинтересовался, имели ли они какое-нибудь понятие об артезианских колодцах. Он только поднял брови, а мистер Глиддон стал мне яростно подмигивать и зашептал, что как раз недавно во время буровых работ в поисках воды для Большого Оазиса[138] рабочие обнаружили

---

[138] Сноски: 138

Большой Оазис (Эль-Харга) — крупнейший из египетских оазисов, расположен в ливийской пустыне. Древние колодцы этого оазиса достигают глубины 120 м.

древнеегипетский артезианский колодец.

Я упомянул нашу сталь; но чужеземец задрал нос и спросил, можно ли нашей сталью резать камень, как на египетских обелисках, где все работы производились медными резцами.

Это нас совсем обескуражило, и мы решили перенести свои атаки в область метафизики. Была принесена книга под заглавием «Дайел»[139], и оттуда ему зачитали две-три главы, посвященные чему-то довольно непонятному, что в Бостоне называют «великим движением», или «прогрессом».

Граф на это сказал только, что в его дни великие движения попадались на каждом шагу, а что до прогресса, то от него одно время просто житья не было, но потом он как-то рассосался.

Тогда мы заговорили о красоте и величии демократии и очень старались внушить графу правильное сознание тех преимуществ, какими мы пользуемся, обладая правом голосования ad libitum[140] и не имея над собой короля.

---

[139] Сноски: 139

«Дайел» — американский журнал трансценденталистов, выходивший с 1840 по 1844 гг., печатал статьи по вопросам литературы, философии и религии.

[140] Сноски: 140

Вдоволь (*лат.*).

Наши речи его заметно заинтересовали и даже явно позабавили. Когда же мы кончили, он пояснил, что у них в Египте тоже в незапамятные времена было нечто в совершенно подобном роде. Тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться, и положили великий почин для всего человечества. Их мудрецы собрались и сочинили самую что ни на есть замечательную конституцию. Сначала все шло хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то пятнадцатью, не то двадцатью, в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал.

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было — *Толпа*.

Не зная, что сказать на это, я громогласно выразил сожаление по поводу того, что египтяне не знали пара.

Граф посмотрел на меня с изумлением и ничего не ответил. А молчаливый господин довольно чувствительно пихнул меня локтем под ребро, прошипел, что я и без того достаточно обна-

ружил свою безграмотность и что неужели я действительно настолько глуп и не слыхал, что современный паровой двигатель основан на изобретении Герона[141], дошедшем до нас благодаря Соломону де-Ко[142].

Было ясно, что нам угрожает полное поражение, но тут, по счастью, на выручку пришел доктор, который успел собраться с мыслями и попросил египтянина ответить, могут ли его соотечественники всерьез тягаться с современными людьми в такой важной области, как одежда.

Граф опустил глаза, задержал взгляд на штрипках своих панталон, потом взял в руку одну фалду фрака, поднял к лицу и несколько мгновений молча рассматривал. Потом выпустил, и рот его медленно растянулся от уха до уха; но, по-моему, он так ничего и не ответил.

Мы приободрились, и доктор, величаво приблизившись к мумии, потребовал, чтобы она со всей откровенностью, по чести признала, умели ли египтяне в какую-либо эпоху изготовлять «Сла-

---

[141] Сноски: 141

Герон Александриийский (ок. 10–ок. 75) — греческий математик и механик, описал устройство паровой турбины.

[142] Сноски: 142

Соломон де-Ко (1576–1626) — французский инженер, предложил идею усовершенствованного парового двигателя.

бительное Йейбогуса» или «Пилюли Брандрета».

С замиранием сердца ждали мы ответа, но напрасно. Ответа не последовало. Египтянин покраснел и опустил голову. То был полнейший триумф. Он был побежден и имел весьма жалкий вид. Честно признаюсь, мне просто больно было смотреть на его унижение. Я взял шляпу, сдержанно поклонился мумии и ушел.

Придя домой, я обнаружил, что уже пятый час, и немедленно улегся спать. Сейчас десять часов утра. Я не сплю с семи и все это время был занят составлением настоящей памятной записки на благо моей семье и всему человечеству в целом. Семью свою я больше не увижу. Моя жена — мегера. Да и вообще, по совести сказать, мне давно поперек горла стала эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так. К тому же, мне очень хочется узнать, кто будет президентом в 2045 году. Так что, я вот только побреюсь и выпью чашку кофе и не мешкая отправлюсь к Йейбогусу — пусть меня забальзамируют лет на двести.

Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром[143]

Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства. Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки, хотя бы на время, или пока мы не нашли возможностей продолжить исследование — именно вследствие наших стараний сохранить его в тайне — в публике распространились неверные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало недоверие.

Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил *факты* — насколько я сам сумел их понять. Вкратце они сводятся к следующему. В течение последних трех лет мое внимание не раз бывало

---

[143] Сноски: 143

© Перевод. З. Александрова.

привлечено к вопросам месмеризма[144], а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах имелось одно весьма важное и необъяснимое упущение — никто еще не подвергался месмерическому воздействию *in articule mortis*[145]. Следовало выяснить, во-первых, подвержен ли человек в таком состоянии действию гипноза; во-вторых, ослаблено ли оно при этом или же усилено; а в-третьих, в какой степени и как долго можно задержать гипнозом наступление смерти. Возникали и другие вопросы, но именно эти заинтересовали меня более всего — в особенности последний, чреватый следствиями огромной важности.

Раздумывая, где бы найти подходящий объект для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе «Bibliotheca Forensica»[146] и авторе (под

---

[144] Сноски: 144

Месмеризм (животный магнетизм) — теория немецкого врача и астролога эпохи Просвещения, Франца Месмера, которая имела заметное влияние на медицинскую теорию и практику в последней четверти XVIII века и в первой половине XIX века.

[145] Сноски: 145

В состоянии агонии (*лат.*).

[146] Сноски: 146

Судебной библиотеки (*лат.*).

nom de plume[147] Иссахара Маркса) польских переводов «Валленштейна»[148] и «Гаргантюа». Мистер Вальдемар, с 1839 года проживавший главным образом в Гарлеме (штат Нью-Йорк), обращает (или обращал) на себя внимание прежде всего своей необычайной худобой — нижние конечности у него очень походили на ноги Джона Рандолфа[149], — а также светлыми бакенбардами, составлявшими резкий контраст с темными волосами, которые многие из-за этого принимали за парик. Он был чрезвычайно нервен и, следовательно, был подходящим объектом для гипнотических опытов. Раза два или три мне без труда удавалось его усыпить, но в других отношениях он не оправдал ожиданий, которые естественно вызывала его конституция. Я ни разу не смог вполне подчинить себе его волю, а что касается *clair-voyance*[150] то опыты с ним вообще

---

[147] Сноски: 147

Псевдонимом (*фр.*).

[148] Сноски: 148

«Валленштейн» — драматургическая трилогия Фридриха Шиллера: «Лагерь Валленштейна» (1798), «Пикколомини» (1799) и «Смерть Валленштейна» (1799).

[149] Сноски: 149

Джон Рандолф (1773–1833) — американский политический деятель. На карикатурах часто изображен с тонкими паучьими ногами.

[150] Сноски: 150

Ясновидения (*фр.*).

не дали надежных результатов. Свои неудачи в этом отношении я всегда объяснял состоянием его здоровья. За несколько месяцев до моего с ним знакомства доктора нашли у него чахотку. О своей близкой кончине он имел обыкновение говорить спокойно, как о чем-то неизбежном и не вызывающем сожалений.

Когда у меня возникли приведенные выше вопросы, я, естественно, вспомнил о мистере Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философскую твердость, чтобы опасаться возражений с *его* стороны; и у него не было в Америке родных, которые могли бы вмешаться. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и, к моему удивлению, он ею живо заинтересовался. Я говорю «к моему удивлению», ибо хотя он всегда соглашался подвергаться моим опытам, я ни разу не слышал, чтобы он их одобрял. Болезнь его была такова, что позволяла точно определить срок ее смертельного исхода; и мы условились, что он пошлет за мной примерно за сутки до того момента, когда доктора предскажут его кончину.

Сейчас прошло уже более семи месяцев с тех пор, как я получил от мистера Вальдемара следующую собственноручную записку:

Любезный П.!

Пожалуй, вам следует приехать сейчас. Д. и Ф. в один голос утверждают, что я не протяну дольше завтрашней полуночи, и мне кажется, что они вычислили довольно точно.

Вальдемар

Я получил эту записку через полчаса после того как она была написана, а спустя еще пятнадцать минут уже был в комнате умирающего. Я не видел его десять дней и был поражен страшной переменой, происшедшей в нем за это короткое время. Лицо его приняло свинцовый оттенок, глаза потухли, а исхудал он настолько, что кости скул едва не прорывали кожу. Мокрота выделялась крайне обильно. Пульс прощупывался с трудом. Несмотря на это, он сохранил удивительную ясность ума и даже кое-какие физические силы. Он ясно говорил — без посторонней помощи принимал некоторые лекарства, облегчавшие его состояние, — а когда я вошел, писал что-то карандашом в записной книжке. Он полулежал, обложенный подушками. При нем были доктора Д. и Ф.

Пожав руку Вальдемара, я отвел этих джентль-

менов в сторону и получил от них подробные сведения о состоянии больного. Левое легкое уже полтора года как наполовину обызвествилось и было, разумеется, неспособно к жизненным функциям. Верхушка правого также частично подверглась обызвествлению, а нижняя доля представляла собой сплошную массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных каверн, а в одном месте имелись сращения с ребром. Эти изменения в правом легком были сравнительно недавними. Обызвествление шло необычайно быстро; еще за месяц до того оно отсутствовало, а сращения были обнаружены лишь в последние три дня. Помимо чахотки, у больного подозревали аневризм аорты, однако обызвествление не позволяло диагностировать его точно. По мнению обоих докторов, мистер Вальдемар должен был умереть на следующий день (воскресенье) к полуночи. Сейчас был седьмой час субботнего вечера.

Когда доктора Д. и Ф. отошли от постели больного, чтобы побеседовать со мной, они уже простились с ним. Они не собирались возвращаться; однако по моей просьбе обещали заглянуть к больному на следующий день около десяти часов вечера.

После их ухода я откровенно заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине, а также более подробно о предполагаемом опыте. Он подтвердил свою готовность и даже интерес к нему и попросил меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я не чувствовал себя вправе начинать подобное дело, не имея более надежных свидетелей, чем эти люди, на случай какой-либо неожиданности. Поэтому я отложил опыт до восьми часов вечера следующего дня, когда приход студента-медика (мистера Теодора Л-ла), с которым я был немного знаком, вывел меня из затруднения. Сперва я намеревался дождаться врачей; но пришлось начать раньше, во-первых, по настоянию мистера Вальдемара, а во-вторых, потому, что я и сам видел, как мало оставалось времени и как быстро он угасал.

Мистер Л-л любезно согласился вести записи всего происходящего; все, что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей verbatim[151] или с некоторыми сокращениями.

Было без пяти минут восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его подтвердить возможно

---

[151] Сноски: 151
Дословно (лат.).

явственнее, что он (мистер Вальдемар) по доброй воле подвергается в своем нынешнем состоянии месмеризации.

Он отвечал слабым голосом, но вполне внятно: «Да, я хочу подвергнуться месмеризации», и тут же добавил: «Боюсь, что вы слишком долго медлили».

Пока он говорил, я приступил к тем пассам, которые прежде оказывали на него наибольшее действие. Первое прикосновение моей руки к его лбу сразу подействовало, но затем, несмотря на все мои усилия, я не добился дальнейших результатов до начала одиннадцатого, когда пришли, как было условлено, доктора Д. и Ф. Я в нескольких словах объяснил им, чего я добиваюсь, и, так как они не возражали, установив, что больной уже находится в агонии, я, не колеблясь, продолжал, перейдя, однако, от боковых пассов к продольным и устремив взгляд на правый глаз умирающего.

К этому времени пульс у него уже не ощущался, а хриплое дыхание вырывалось с промежутками в полминуты.

В таком состоянии он пробыл четверть часа. Потом умирающий глубоко вздохнул, и хрипы прекратились, то есть не стали слышны; дыхание

оставалось все таким же редким. Конечности больного были холодны, как лед.

Без пяти минут одиннадцать я заметил первые признаки месмерического состояния. В остекленевших глазах появился тот тоскливо устремленный *внутрь* взгляд, который наблюдается только при гипнотическом сне и насчет которого невозможно ошибиться. Не сколькими быстрыми боковыми пассами я заставил веки затрепетать, как при засыпании, а еще несколькими — закрыл их. Этим я, однако, не удовольствовался и продолжал энергичные манипуляции, напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепенения тела спящего, предварительно уложив его поудобнее. Ноги были вытянуты, руки положены вдоль тела, на некотором расстоянии от бедер. Голова была слегка приподнята.

Между тем наступила полночь, и я попросил присутствующих освидетельствовать мистера Вальдемара. Проделав несколько опытов, они констатировали у него необычайно глубокий гипнотический транс. Любопытство обоих медиков было сильно возбуждено. Доктор Д. тут же решил остаться при больном на всю ночь, а доктор Ф. ушел, обещав вернуться на рассвете. Мистер Л-л, сиделка и служитель также остались.

Мы не тревожили мистера Вальдемара почти до трех часов пополуночи; подойдя к нему, я нашел его в том же состоянии, в каком он находился перед уходом доктора Ф., то есть он лежал в том же положении; пульс не ощущался; дыхание было очень слабым (и заметным лишь при помощи зеркала, поднесенного к губам); глаза были закрыты, как у спящих, а тело твердо и холодно, как мрамор. Тем не менее это отнюдь не была картина смерти.

Приблизившись к мистеру Вальдемару, я попробовал повести его руку за своей, тихонько водя ею перед ним. Такой опыт никогда не удавался мне с ним прежде, и я не рассчитывал на успех и теперь, но, к моему удивлению, рука его послушно, хотя и слабо, последовала за всеми движениями моей. Я решил попытаться с ним заговорить.

— Мистер Вальдемар, — спросил я, — вы спите? — Он не отвечал, но я заметил, что губы его дрогнули, и повторил вопрос снова и снова.

После третьего раза по всему его телу пробежала легкая дрожь; веки приоткрылись, обнаружив полоски белков; губы нехотя задвигались, и из них послышался едва различимый шепот:

— Да, сейчас сплю. Не будите меня! Дайте мне

умереть так!

Я ощупал его тело, оказавшееся по-прежнему окоченелым. Правая рука его продолжала повиноваться движениям моей. Я снова спросил спящего:

— А как боль в груди, мистер Вальдемар?

На этот раз он ответил немедленно, но еще тише чем прежде:

— Ничего не болит — умираю.

Я решил пока не тревожить его больше, и мы ничего не говорили и не делали до прихода доктора Ф., который явился незадолго перед восходом солнца и был несказанно удивлен, застав пациента еще живым. Пощупав у спящего пульс и поднеся к его губам зеркало, он попросил меня снова заговорить с ним. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, вы все еще спите?

Как и раньше, ответ заставил себя ждать несколько минут; за это время умирающий словно собирался с силами, чтобы заговорить. Когда я повторил свой вопрос в четвертый раз, он произнес очень тихо, почти неслышно:

— Да, все еще сплю — умираю.

По мнению, вернее, по желанию врачей, мистера Вальдемара надо было теперь оставить в его, по видимости, спокойном состоянии вплоть до

наступления смерти, которая, как все были уверены, должна была последовать через несколько минут. Я, однако, решил еще раз заговорить с ним и просто повторил свой предыдущий вопрос.

В это время в лице спящего произошла заметная перемена. Глаза его медленно раскрылись, зрачки закатились, кожа приобрела трупный оттенок, не пергаментный, но скорее белый, как бумага, а пятна лихорадочного румянца, до тех пор ясно обозначавшиеся на его щеках, мгновенно погасли. Я употребляю это слово потому, что их внезапное исчезновение напомнило мне именно свечу, которую задули. Одновременно его верхняя губа поднялась и обнажила зубы, которые она прежде целиком закрывала; нижняя челюсть отвалилась с отчетливым стуком, и в широко раскрывшемся рту показался распухший и почерневший язык. Я полагаю, что среди нас не было никого, кто бы впервые встретился тогда с ужасным зрелищем смерти; но так страшен был в тот миг вид мистера Вальдемара, что все отпрянули от постели.

Здесь я чувствую, что достиг того места в моем повествовании, когда любой читатель может решительно отказаться мне верить. Однако мое дело — просто продолжать рассказ.

Теперь мистер Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни; сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечениям сиделки и служителя, как вдруг язык его сильно задрожал. Это длилось несколько минут. Затем из неподвижных разинутых челюстей послышался голос — такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно по той простой причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако две особенности я счел тогда — и считаю сейчас — характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас — по крайней мере до меня — словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых (тут я боюсь оказаться совершенно непонятным), он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого.

Я говорю о «звуках» и «голосе». Этим я хочу сказать, что звуки были вполне — и даже пугающе — членораздельными. Мистер Вальдемар

заговорил — явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал:

— Да — нет — я *спал* — а теперь — теперь — я *умер*.

Никто из присутствующих не пытался скрыть и не отрицал потом невыразимого, леденящего ужаса, вызванного этими немногими словами. Мистер Л-л (студент-медик) лишился чувств. Служитель и сиделка бросились вон из комнаты и ни за что не захотели вернуться. Собственные мои ощущения я не берусь описывать. В течение почти часа мы в полном молчании приводили в чувство мистера Л-ла. Когда он очнулся, мы снова занялись мистером Вальдемаром.

Состояние его оставалось во всем таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаруживало теперь никаких признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки не удалась. Следует также сказать, что эта рука уже не повиновалась моей воле. Я тщетно пробовал заставить ее следовать за движениями моей. Единственным признаком месмерического влияния было теперь дрожание языка всякий раз, когда я обращался к мистеру Вальдемару с вопросом. Казалось, он

пытался ответить, но усилия оказывались недостаточными. К вопросам, задаваемым другими, он оставался совершенно нечувствительным, хотя я и старался создать между ним и каждым из присутствующих гипнотическую *связь*. Кажется, я сообщил теперь все, что может дать понятие о тогдашнем состоянии усыпленного. Мы нашли новых сиделок, и в десять часов я ушел вместе с обоими докторами и мистером Л-лом.

После полудня мы снова пришли взглянуть на пациента. Состояние его оставалось прежним. Мы не сразу решили, следует ли и возможно ли его разбудить, однако скоро все согласились, что ничего хорошего мы этим не достигнем. Было очевидно, что смерть (или то, что под нею обычно разумеют) была приостановлена действием гипноза. Всем нам было ясно, что, разбудив мистера Вальдемара, мы вызовем немедленную или, во всяком случае, скорую смерть.

С тех пор и до конца прошлой недели — *в течение почти семи месяцев* — мы ежедневно посещали дом мистера Вальдемара, иногда в сопровождении знакомых врачей или просто друзей. Все это время спящий оставался в *точности* таким, как я его описал в последний раз. Сиделки находились при нем безотлучно.

В прошлую пятницу мы, наконец, решили разбудить или попытаться разбудить его; и (быть может) именно злополучный результат этого последнего опыта породил столько толков в различных кругах и столько безосновательного, на мой взгляд, возмущения.

Чтобы вывести мистера Вальдемара из гипнотического транса, я прибегнул к обычным пассам. Некоторое время они оставались безрезультатными. Первым признаком пробуждения было частичное опущение радужной оболочки глаз. Мы отметили, что это движение зрачков сопровождалось обильным выделением (из-под век) желтоватой жидкости с крайне неприятным запахом.

Мне предложили воздействовать, как прежде, на руку пациента. Я попытался это сделать, но безуспешно. Тогда доктор Ф. пожелал, чтобы я задал ему вопрос. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите?

На щеки мгновенно вернулись пятна чахоточного румянца; язык задрожал, вернее задергался, во рту (хотя челюсти и губы оставались окоченелыми), и тот же отвратительный голос, уже описанный мною, произнес:

— Ради бога! — скорее! — скорее! — усыпите меня, или скорее! — разбудите! скорее! — *Говорят вам, что я умер!*

Я был потрясен и несколько мгновений не знал, на что решиться. Сперва я попытался снова усыпить пациента, но, не сумев этого сделать из-за полного ослабления воли, я пошел в обратном направлении и столь же энергично принялся его будить. Скоро я увидел, что мне это удается — по крайней мере я рассчитывал на полный успех — и был уверен, что все присутствующие тоже ждали пробуждения пациента.

Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто.

Пока я торопливо проделывал гипнотические пассы, а с языка, но не с губ, страдальца *рвались* крики: «умер!», «умер!», все его тело — в течение минуты или даже быстрее — осело, расползлось, *разложилось* под моими руками. На постели перед нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса.

Сфинкс[152]

Во время страшного владычества холеры в Нью-Йорке я воспользовался приглашением одного из моих родственников провести у него две недели в cottage orné[153] на берегу Гудзона. В нашем распоряжении были все обычные летние развлечения; прогулки по лесу, рисование с натуры, катание на лодках, рыбная ловля, купание, музыка и книги позволили бы нам провести время довольно приятно, если бы не страшные известия, каждое утро доходившие к нам из огромного города. Не было дня, чтобы мы не узнавали о смерти того или иного знакомого. По мере усиления эпидемии мы научились ежедневно ожидать потери кого-то из друзей. Под конец мы со страхом встречали появление любого вестника. Самый ветер с юга, казалось, дышал смертью. Эта леденящая мысль всецело завладела моей душой. Ни о чем другом я не мог говорить, думать или грезить во сне. Мой хозяин отличался меньшей впечатлительностью

---

[152] Сноски: 152
© Перевод. З. Александрова.

[153] Сноски: 153
Загородном домике (*фр.*).

и, хотя был сильно подавлен, всячески старался подбодрить меня. Его философский ум никогда не поддавался призракам. К реальным ужасам он был достаточно восприимчив, но их тени не вызывали у него страха.

Его старания рассеять мое болезненное, мрачное настроение оказывались почти безуспешны по вине некоторых книг, которые я обнаружил в его библиотеке. Их содержание было способно вызвать к жизни все семена наследственных суеверий, таившиеся в моей душе. Я прочел эти книги без его ведома, и он поэтому зачастую не мог понять причин, столь сильно действовавших на мое воображение.

Любимой темой моих разговоров были приметы и знамения — веру в знамения я одно время готов был отстаивать почти всерьез. На эту тему у нас происходили долгие и оживленные споры; он говорил о полной беспочвенности подобных верований, я же утверждал, что убеждение, возникающее в народе совершенно стихийно — никем не внушенное, — само по себе содержит несомненную долю истины и имеет право на уважение.

Дело в том, что вскоре по приезде в коттедж со мной произошло нечто до того необъяснимое и

зловещее, что мне простительно было счесть это предзнаменованием. Я был настолько подавлен и вместе с тем озадачен, что прошло много дней, прежде чем я решился рассказать об этом моему другу.

На исходе очень жаркого дня я сидел с книгою в руках возле открытого окна, откуда открывался вид на берега реки и на отдаленный холм, который с ближайшей к нам стороны оказался почти безлесным вследствие так называемого оползня. Мысли мои уже давно отвлеклись от книги и перенеслись в соседний с нами город, где царило уныние и ужас. Подняв глаза от страницы, я увидел обнаженный склон, а на нем — отвратительного вида чудовище, которое быстро спустилось с холма и исчезло в густом лесу у его подножия. При появлении этого существа я сперва подумал, не сошел ли я с ума, и во всяком случае не поверил своим глазам; прошло немало времени, пока я убедился, что не безумен и не сплю. Но если я опишу чудовище, которое я ясно увидел и имел время наблюдать, пока оно спускалось по склону, читателям еще труднее, чем мне, будет в него поверить.

Размеры чудовища, о которых я судил по стволам огромных деревьев, мимо которых оно

двигалось, — немногих лесных гигантов, устоявших во время оползня, — были значительно больше любого из океанских судов. Я говорю «судов», ибо чудовище напоминало их своей формой — корпус нашего семидесятичетырехпушечного военного корабля может дать довольно ясное представление о его очертаниях. Рот у него помещался на конце хобота длиною в шестьдесят — семьдесят футов, а толщиною примерно с туловище слона. У основания хобота чернели клочья густой шерсти — больше чем на шкурах дюжины бизонов; оттуда торчали книзу и вбок два блестящих клыка вроде кабаньих, только несравненно больше. По обе стороны хобота тянулось по гигантскому рогу футов в тридцать — сорок, призматическому и казавшемуся хрустальным — в них ослепительно отражались лучи заходящего солнца. Туловище было клиновидным и острием направлено вниз. От него шли две пары крыльев, каждая длиною почти в сто ярдов; они располагались одна над другой и были сплошь покрыты металлической чешуей, где каждая чешуйка имела в диаметре от десяти до двенадцати футов. Я заметил, что верхняя пара соединялась с нижней толстой цепью. Но главной особенностью этого страшного существа было

изображение черепа, занимавшее почти всю его грудь и ярко белевшее на его темном теле, словно тщательно выписанное художником. Пока я глядел на устрашающее животное и особенно на рисунок на его груди с ужасом и предчувствием близкой беды, которое я не в силах был побороть никакими усилиями разума, огромные челюсти, помещавшиеся на конце его хобота, внезапно раскрылись, и из них раздался громкий и горестный вопль, прозвучавший в моих ушах зловещим предвестием; едва чудовище скрылось внизу холма, как я без чувств упал на пол.

Когда я очнулся, первым моим побуждением было, разумеется, сообщить моему другу все, что я видел и слышал, — и я затрудняюсь объяснить чувство отвращения, которое почему-то меня удержало.

Но как-то вечером, дня через три или четыре после этого события, мы вместе сидели в комнате, где мне предстало видение; я сидел в том же кресле у окна, а он полулежал вблизи от меня на софе. Вызванные временем и местом ассоциации побудили меня рассказать ему о странном явлении. Он выслушал меня до конца, сперва смеясь от души, а затем сделался необычайно серьезен, словно не сомневался в моем помешательстве. В

эту минуту я снова ясно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него. Мой друг внимательно посмотрел, но стал уверять, что ничего не видит, хотя я подробно описал ему, как оно спускается по оголенному склону холма.

Моему ужасу не было предела, ибо я счел видение предвестием моей смерти или, еще хуже, симптомом надвигающегося безумия. Я в отчаянии откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я открыл глаза, видения уже не было.

К моему хозяину, напротив, вернулось в значительной мере его прежнее спокойствие, и он очень подробно расспросил меня о внешнем виде фантастического создания. Когда я вполне удовлетворил его на этот счет, он испустил глубокий вздох облегчения, точно избавился от непосильного бремени, и с хладнокровием, показавшимся мне жестоким, вернулся к прерванному разговору о некоторых вопросах умозрительной философии. Помню, что он между прочим особенно подчеркнул мысль, что главным источником всех человеческих заблуждений является склонность разума недооценивать или переоценивать какой-либо предмет из-за простой ошибки в определении расстояния. «Так, например, — сказал

он, — для правильной оценки влияния, какое окажет на человечество повсеместное распространение демократии, непременно следовало бы принимать во внимание отдаленность эпохи, когда это распространение завершится. А между тем можете ли вы указать хотя бы одного автора, пишущего о формах правления, который считал бы этот вопрос достойным внимания?»

Тут он на мгновение остановился, подошел к книжному шкафу и достал элементарный курс естественной истории. Попросив меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было разбирать мелкую печать, он сел в мое кресло у окна и, открыв книгу, продолжал почти тем же тоном, что и прежде.

— Если бы не ваше подробное описание чудовища, — сказал он, — я, пожалуй, не смог бы показать вам, что это такое. Прежде всего позвольте прочесть вам школьное описание рода *Sphinx*, семейство *Crepuscularia*, отряд *Lepidoptera*, класс *Insecta*, то есть насекомых. Вот это описание:

«Четыре перепончатых крыла, покрытых цветными чешуйками с металлическим блеском; рот в виде закрученного хоботка, образованного продолжением челюстей; по сторонам его — зачатки

жвал и пушистые щупики. Нижняя пара крыл соединена с верхней посредством жестких волосков; усики в виде удлиненной призматической булавы; брюшко заостренное. Сфинкс Мертвая Голова иногда внушает немалый страх непросвещенным людям из-за печального звука, который он издает, и эмблемы смерти на его щитке».

Он закрыл книгу и наклонился вперед, чтобы найти в точности то положение, в котором сидел я, когда увидел чудовище.

— Ну да, вот оно! — воскликнул он, — сейчас оно ползет вверх, и, должен признать, вид у него необыкновенный. Однако оно не так велико и не так удалено от вас, как вы вообразили; оно ползет по паутине, которую какой-нибудь паук протянул вдоль оконной рамы, и я вижу, что длина его — не более одной шестнадцатой дюйма, и такое же расстояние — одна шестнадцатая дюйма — отделяет его от моего зрачка.

Бочонок амонтильядо[154]

Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В *конце концов* я буду отомщен: это было твердо решено; но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.

Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не знал, что *теперь* я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим

---

[154] Сноски: 154

© Перевод. О. Холмская.

гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, — для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.

Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, — как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.

Я сказал ему:

— Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере продавец утверждает, что это амонтильядо,

но у меня есть сомнения.

— Что? — сказал он. — Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!

— У меня есть сомнения, — ответил я, — и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

— У меня сомнения.

— Амонтильядо!

— И я должен их рассеять.

— Амонтильядо!

— Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези. Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет…

— Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.

— А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.

— Идемте.

— Куда?

— В ваши погреба.

— Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези…

— Я не занят. Идем.

— Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.

— Все равно, идем. Простуда — это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези — он не отличит хереса от амонтильядо.

Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.

Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.

Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов, Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца

лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров.

Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.

— Где же бочонок? — сказал он.

— Там, подальше, — ответил я. — Но поглядите, какая белая паутина покрывает стены этого подземелья. Как она сверкает!

Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.

— Селитра? — спросил он после молчания.

— Селитра, — подтвердил я. — Давно ли у вас этот кашель?

— Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!

В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.

— Это пустяки, — выговорил он наконец.

— Нет, — решительно сказал я, — вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я — обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболеете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези…

— Довольно! — воскликнул он. — Кашель — это

вздор, он меня не убьет. Не умру же я от кашля.

— Конечно, конечно, — сказал я, — и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медока защитит нас от вредного действия сырости.

Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.

— Выпейте, — сказал я, подавая ему вино.

Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.

— Я пью, — сказал он, — за мертвецов, которые покоятся вокруг нас.

— А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Эти склепы, — сказал он, — весьма обширны.

— Монтрезоры — старинный и плодовитый род, — сказал я.

— Я забыл, какой у вас герб?

— Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.

— А ваш девиз?

— Nemo me impune lacessit[155].

— Недурно! — сказал он.

Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемежку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя.

— Селитра! — сказал я. — Посмотрите, ее становится все больше. Она, как мох, свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель…

— Кашель — это вздор, — сказал он. — Идем дальше. Но сперва еще глоток медока.

Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого

---

[155] Сноски: 155

Никто не тронет меня безнаказанно (*лат.*). Королевский шотландский девиз, исторически используемый королевством Шотландии на Королевском гербе Шотландии. Первоначально девиз принадлежал шотландской правящей династии Стюартов.

я не понял.

Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Значит, вы не принадлежите к братству.

— Какому?

— Вольных каменщиков[156].

— Нет, я каменщик, — сказал я.

— Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?

— Да, да, — ответил я. — Да, да.

— Знак, — сказал он, — дайте знак.

— Вот он, — ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.

— Вы шутите, — сказал он, отступая на шаг. — Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.

— Пусть будет так, — сказал я, пряча лопатку в складках плаща и снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в поисках амонтильядо. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и наконец достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло тлели,

---

[156] Сноски: 156

Вольные каменщики — масоны — тайное общество, религиозно-мистическое движение, возникшее в странах Европы в 18 в.

вместо того чтобы гореть ярким пламенем.

В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были сложены человеческие кости, — точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. Три стены были украшены таким образом; с четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую груду. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник, или ниша, размером в четыре фута в глубину, три в ширину, шесть или семь в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения; то был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья.

Напрасно Фортунато, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть в глубь тайника. Слабый свет не проникал далеко.

— Войдите, — сказал я. — Амонтильядо там. А что до Лукрези…

— Лукрези невежда, — прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед. Я следовал за ним

по пятам. Еще шаг — и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении. Еще миг — и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два кольца, на расстоянии двух футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого — замок. Нескольких секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу.

— Проведите рукой по стене, — сказал я. — Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас — вернемся. Нет? Вы не хотите? В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, которые еще в моей власти.

— Амонтильядо! — вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления.

— Да, — сказал я, — амонтильядо.

С этими словами я повернулся к груде костей, о которой уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно

замуровывать вход в нишу.

Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортунато наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил второй ряд, и третий, и четвертый; и тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел на груду костей. Когда лязг наконец прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил пятый, шестой и седьмой ряды. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике.

Громкий пронзительный крик, целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, с силой отбросил меня назад. На миг я смутился, я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише, но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке, и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им,

я превосходил их силой и яростью. Так я сделал, и кричавший умолк.

Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил восьмой, девятый и десятый ряды. Я довел почти до конца одиннадцатый и последний, оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я поднял его с трудом; я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортунато.

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Отличная шутка, честное слово, превосходная шутка! Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо — хи-хи-хи! — за бокалом вина — хи-хи-хи!

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, да, амонтильядо. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо… и синьора Фортунато и гости?.. Пойдемте.

— Да, — сказал я. — Пойдемте.

– Ради всего святого, Монтрезор!

— Да, — сказал я. — Ради всего святого.

Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпенье. Я громко позвал:

— Фортунато!

Молчание. Я позвал снова.

— Фортунато!

По-прежнему молчание. Я просунул факел в незаделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало: конечно, только сырость подземелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место, я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнюю ограду из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. In pace requiescat![157]

[157] Сноски: 157

Да упокоится с миром! (*лат.*). Фраза, часто встречается в виде аббревиатуры «RIP» на надгробиях, в извещениях о смерти. Цитата из католической заупокойной службы.

Прыг-Скок[158]

Я не знал другого такого любителя пошутить, как покойный король. Казалось, он только ради этого и живет. Рассказать ему хорошую историю в шутливом роде, да еще хорошо рассказать, значило вернейшим образом снискать его расположение. Оттого и оказалось так, что все семь его министров славились как шутники. Они походили на короля и тем, что все были тучные, гладкие мужчины, равно как и неподражаемые шутники. То ли люди тучнеют от шуток, то ли в самой тучности заключено нечто, предрасполагающее к шутливости, я никогда не мог в точности определить; но, без сомнения, тощий шутник — rara avis in terris[159].

Относительно изысков или, как он выражался, «кудреватости» остроумия король очень мало беспокоился. Он особенно ценил размах шутки и ради него мирился с ее *длиннотами*. Он бы предпочел «Пантагрюэля» Рабле вольтерову «За-

---

[158] Сноски: 158
© Перевод. В. Рогов.

[159] Сноски: 159
Редкая птица на земле (*лат.*).

дигу»[160] и, в общем, грубые проказы куда более отвечали его вкусу, нежели словесные остроты.

В пору, к которой относится мое повествование, профессиональные шуты еще не вполне вышли из моды при дворах. Некоторые из великих континентальных «самодержцев» все еще заводили шутов в дурацких колпаках и соответственных нарядах, и в службу им вменялось в любой момент быть наготове и острить ради крох с королевского стола.

Наш король, само собой разумеется, не отказался от «дурака». Дело в том, что ему *требовалось* нечто глупое — хотя для того, дабы уравновесить весомую мудрость семерых мудрецов, служивших ему министрами, не говоря уж о нем самом.

Его дурак, или профессиональный шут, однако, не был *только* шутом. В глазах короля ценность его утраивалась тем, что он был вдобавок карлик и калека. В те дни карлики встречались при дворах так же часто, как и шуты; и многие самодержцы сочли бы затруднительным коротать дни (а дни при дворе тянутся несколько долее, нежели где-нибудь еще), не имея разом и шута, с кем смеяться, и карлика, над кем смеяться. Но,

---

[160] Сноски: 160

«Задиг, или Судьба» (1748) — философская повесть Вольтера, восточная сказка полная иронии.

как я ранее заметил, шутят в девяноста девяти случаях из ста неповоротливые толстяки — и оттого король был в немалой мере доволен собою, ибо принадлежавший ему Прыг-Скок (так звали дурака) являл собою тройное сокровище в одном лице.

Наверное, имя «Прыг-Скок» ему не дали при крещении, но единогласно присвоили семь министров ввиду его неспособности двигаться, как все. Прыг-Скок был в силах перемещаться лишь рывками, вприпрыжку, не то скача, не то виляя, чем, по мнению некоторых, напоминал лягушонка — и движение это бесконечно развлекало и утешало короля, ибо (невзирая на то, что его распирало от жира и самодовольства) весь двор считал короля мужчиною хоть куда.

Но хотя Прыг-Скок из-за уродливых нижних конечностей мог передвигаться лишь с великим трудом как на улице, так и в помещении, руки его, видимо, были наделены поразительною силою, как будто природа решила возместить изъян его ног, дав ему возможность совершать всяческие чудеса ловкости там, где оказались бы деревья, веревки или все, по чему можно карабкаться. При подобных упражнениях он скорее напоминал белку или мартышку, нежели лягушонка.

Не могу в точности сказать, откуда он был родом, но из какого-то варварского края, о котором никто никогда не слыхал, весьма отдаленного от двора нашего короля. Прыг-Скок и юная девушка, тоже карлица, лишь немногим по величине его превосходящая (хотя изящно сложенная и чудесная танцовщица), были силою отторгнуты от своих семейств в сопредельных провинциях и посланы в дар королю одним из его неизменно победоносных полководцев.

Не удивительно, что при подобных обстоятельствах между маленькими пленниками завязалась тесная дружба. Очень скоро они сделались близкими друзьями. Хотя Прыг-Скок и шутил вовсю, но его не любили, и он мало чем был в силах помочь Пушинке, но ею благодаря ее грациозности и очаровательной прелести, все восхищались, ласкали ее, так что она завоевала большое влияние; и при любой возможности употребляла его на пользу шуту.

В какой-то большой праздник — не припомню, в какой именно — король решил устроить маскарад, а когда маскарад или нечто подобное имело быть при нашем дворе, то обыкновенно призывали на помощь дарования и шута и танцовщицы. Прыг-Скок в особенности был столь

изобретателен в измышлении всяческих потешных шествий, придумывании новых персонажей и сочинении костюмов для маскированных балов, что, казалось, без его участия ничего и сделать было нельзя.

Подошел вечер, назначенный для празднества. Под наблюдением Пушинки роскошную залу обставили всем, способным придать блеск маскараду. Весь двор ожидал его с нетерпением. Что до костюмов и масок, то можно смело предположить, что каждый что-нибудь придумал. Многие выбрали себе роли за неделю, а то и за месяц; и дело обстояло так, что в этом смысле все приняли какое-то решение — кроме короля и семи его министров. Почему мешкали они — не могу вам сказать, разве что шутки ради. Более вероятно, что они затруднялись на чем-либо остановиться из-за своей изрядной толщины. Во всяком случае, время шло; и в виде последнего средства они позвали танцовщицу и шута.

Когда два маленьких друга явились на зов короля, то увидели, что он сидит и пьет вино с семью министрами; но государь, видимо, пребывал в весьма дурном расположении духа. Он знал, что Прыг-Скок не любит вина; ибо оно доводило бедного уродца почти до исступления;

а исступление — чувство не из приятных. Но его величество любил пошутить, и его забавляло, когда Прыг-Скок по его принуждению пил и (как выражался король) «веселился».

— Поди сюда, Прыг-Скок, — сказал он, как только шут со своею приятельницей вошли в комнату, — выпей-ка этот бокал за здоровье твоих далеких друзей (тут Прыг-Скок вздохнул), а потом порадуй нас своими выдумками. Нам нужны костюмы — понимаешь, *костюмы* для маскарада — что-нибудь новенькое — из ряда вон выходящее. Нам наскучило это вечное однообразие. А ну, пей! Вино прояснит тебе ум.

Прыг-Скок попытался, по обыкновению, отшутиться, но не мог. Случилось так, что как раз был день рождения несчастного карлика, и приказ выпить за «далеких друзей» вызвал у него слезы. Много крупных, горьких капель упало в кубок, пока он брал его из рук тирана.

— А! ха! ха! ха! — загрохотал тот, когда карлик с неохотою осушил чашу. — Видишь, что может сделать бокал хорошего вина! Да глаза у тебя прямо-таки заблестели!

Бедняга! его большие глаза скорее *сверкали*, а не блестели; ибо вино оказало на его легко возбудимый мозг действие столь же сильное, сколь и

мгновенное. Он нервно поставил кубок и обвел собравшихся полубезумным взором. Всех, видимо, позабавила удачная королевская «шутка».

— А теперь к делу, — сказал премьер-министр, очень толстый мужчина.

— Да, — сказал король, — Ну-ка, Прыг-Скок, помоги нам. Нам нужны характерные костюмы, молодец ты мой; всем нам не хватает характера — всем — ха! ха! ха! — и, так как король всерьез считал это шуткою, семерка начала ему вторить.

Прыг-Скок тоже засмеялся, но слабо и как бы машинально.

— Ну, ну, — с нетерпением сказал король, — неужели ты ничего не можешь нам предложить?

— Я пытаюсь придумать что-нибудь *новенькое*, — отвечал карлик рассеянно, ибо вино совсем помутило его рассудок.

— Пытаешься! — свирепо закричал тиран. — Что значит — *пытаешься*? А, понимаю. Ты не в себе и хочешь еще вина. А ну-ка, выпей! — и он до краев налил бокал и протянул калеке, а тот, задыхаясь, отупело смотрел на него.

— Пей, говорят тебе, — заорал изверг. — Не то, черт меня дери…

Карлик замялся. Король побагровел от бе-

шенства. Придворные захихикали. Пушинка, мертвенно бледная, бросилась к креслу государя и, пав перед ним на колени, умоляла пощадить ее друга.

Несколько мгновений тиран смотрел на нее, явно изумляясь ее дерзости. Он словно растерялся, не зная, что делать или говорить — как наилучшим образом выразить свое возмущение. Наконец, не проронив ни звука, он отшвырнул ее и выплеснул содержимое наполненного до краев кубка прямо ей в лицо.

Несчастная едва могла подняться и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола.

Около полминуты царила такая мертвая тишина, что можно было бы услышать, как падает лист или перо. Ее нарушил тихий, но резкий скрежет, который, казалось, доносился изо всех углов разом.

— Ты — ты — ты — ты это *зачем*? — спросил король, яростно поворачиваясь к шуту.

Тот, казалось, в значительной степени оправился от опьянения и, пристально, но спокойно глядя прямо в лицо тирану, лишь воскликнул:

— Я — я? Да как бы я мог?

— Звук, вероятно, шел снаружи, — заметил

один из придворных. — По-моему, это попугай у окна точил клюв о прутья клетки.

— И в самом деле, — отозвался король, как бы весьма успокоенный этим предположением, — но, клянусь моей рыцарскою честью, я готов был дать присягу, что скрежетал зубами этот бродяга.

Тут карлик рассмеялся (король был слишком завзятый шутник, чтобы возражать против чьего-либо смеха) и выставил напоказ большие, крепкие и весьма безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько заблагорассудится государю. Монарх утихомирился; и, осушив без особо заметных дурных последствий еще кубок, Прыг-Скок сразу и с воодушевлением занялся маскарадными планами.

— Не знаю, какова тут связь, — заметил он, очень спокойно и с таким видом, словно вовсе и не пил, — но *тотчас* после того, как ваше величество изволили ударить девчонку и выплеснуть вино ей в лицо — *тотчас* же после того, как ваше величество изволили это сделать и покамест попугай за окном издавал эти странные звуки, пришла мне в голову одна отменная потеха — одна из забав у меня на родине — у нас на маскарадах ее часто затевают, но здесь она будет

совершенно внове. Однако, к сожалению, для нее требуются восемь человек и…

— Пожалуйста! — вскричал король и засмеялся, радуясь тому, с какою проницательностью заметил совпадение. — Ровным счетом восемь — я и семеро моих министров. Ну! Так что же это за потеха?

— Называется она, — отвечал уродец, — Восемь Скованных Орангутангов, и при хорошем исполнении смеху не оберешься.

– *Мы* ее исполним, — заметил король, приосанясь и подмигивая обоими глазами.

— Прелесть игры, — продолжал Прыг-Скок, — заключается в страхе, который она вызывает у женщин.

— Славно! — хором проревели монарх и его министры.

— Я выряжу вас орангутангами, — пояснил свою идею карлик, — уж предоставьте это мне. Сходство будет так разительно, что на маскараде все примут вас за настоящих зверей — и, разумеется, их ужас не уступит по силе их потрясению.

— Ох, это восхитительно! — воскликнул король. — Прыг-Скок! я озолочу тебя.

— Цепи надобны для того, чтобы лязгом усилить переполох. Предполагается, что все вы

сбежали от ваших сторожей. Ваше величество не в силах представить, какой *эффект* производят на маскараде восемь орангутангов, которых почти все присутствующие сочтут за настоящих, когда они с дикими воплями ворвутся в толпу изящно и роскошно одетых кавалеров и дам. *Контраст* неподражаем.

— Уж конечно, — сказал король; и все торопливо поднялись с мест (времени оставалось немного), дабы приступить к осуществлению замысла, предложенного шутом.

Его способ экипировки был весьма прост, но для его цели достаточен. В эпоху, о которой идет речь, орангутангов очень редко видели в какой-либо части цивилизованного мира; и, так как наряды, предложенные карликом, делали ряженых достаточно похожими на зверей и более чем достаточно гадкими, то их верность природе сочли обеспеченной.

Король и министры сперва облачились в плотно облегающие сорочки и панталоны в виде трико. Затем одежду пропитали дегтем. Тут кто-то предложил перья; но предложение было тотчас же отвергнуто карликом, который быстро убедил всех восьмерых посредством наглядной демонстрации, что шерсть такой твари, как оран-

гутанг, гораздо более успешно изобразит *льняная кудель.* И соответственно толстым слоем кудели облепили слой дегтя. Затем достали длинную цепь. Сперва ею опоясали короля и *завязали* ее; за ним — одного из министров, и тоже завязали; и всех остальных — по очереди, подобным же образом. Когда с этим было покончено, король и министры отошли как можно дальше один от другого, образуя круг; и ради большей натуральности Прыг-Скок протянул остаток цепи крест-накрест поперек круга, как в наши дни делают на Борнео охотники на шимпанзе и других крупных обезьян.

Маскарад был в большой круглой зале, очень высокой и пропускающей свет солнца только через люк в потолке. По вечерам (то есть в ту пору, на которую зала специально была рассчитана) ее освещала главным образом большая люстра, свисающая на цепи из середины люка; как водится, люстру поднимали и опускали при помощи противовеса; но (чтобы не портить вида) он помещался снаружи за куполом.

Залу убирали под наблюдением Пушинки; но, видимо, в некоторых частностях она следовала рассудительным советам своего друга карлика. По его предложению в этот вечер люстру убрали.

Капли воска (а в такой вечер их было решительно невозможно избежать) нанесли бы основательный ущерб пышным нарядам гостей, которые при большом скоплении не могли бы все держаться в стороне от центра залы, то есть не под люстрой. В разных частях залы, так, чтобы не мешать гостям, добавили кенкетов; и в правую руку каждой из пятидесяти или шестидесяти кариатид вставили по факелу, пропитанному благовониями.

Восемь орангутангов, следуя совету шута, терпеливо дожидались полуночи (когда зала должна была до отказа наполниться масками), прежде чем появиться на людях. Но не успел еще замолкнуть бой часов, как они ворвались или, вернее, вкатились все разом — ибо цепи мешали им, от чего при входе каждый из них споткнулся, а некоторые упали.

Среди гостей поднялась невероятная тревога, исполнившая сердце короля восторгом. Как и ожидали, многие из присутствующих поверили, будто эти свирепого вида твари — и в самом деле *какие-то* звери, хотя бы и не орангутанги. Многие женщины от страха лишились чувств; и если бы король не позаботился запретить в зале ношение оружия, то он с министрами мог бы очень быстро заплатить за свою потеху кровью. А так — все

ринулись к дверям; но король приказал запереть их сразу после его появления; и, по предложению шута, ключи отдали ему.

Когда смятение достигло апогея и каждый думал только о собственной безопасности (а давка в перепуганной толпе и в самом деле представляла немалую и *подлинную* опасность), можно было заметить, что цепь, которую втянули, убрав люстру, начала очень медленно опускаться, пока крюк на ее конце не повис в трех футах от пола.

Вскоре после этого король и семеро его друзей, враскачку пройдя по зале во всех направлениях, наконец остановились на ее середине и, разумеется, в непосредственном соприкосновении с цепью. Пока они стояли подобным образом, карлик, неслышно следовавший за ними по пятам, подстрекая их поддерживать сумятицу, схватил их цепь в том месте, где две ее части пересекались в центре и под прямым углом. Туда со скоростью мысли он продел крюк, с которого обычно свисала люстра; и тотчас некая невидимая сила потянула цепь от люстры так высоко вверх, что крюк оказался вне пределов досягаемости и, как неизбежное этому следствие, орангутанги очутились очень близко друг от друга и лицом к лицу. К тому времени гости в какой-то мере

оправились от испуга; и, начиная понимать, что все происшествие — тщательно обдуманная проказа, громко захохотали над положением, в какое попали обезьяны.

— Предоставьте их *мне*! — закричал Прыг-Скок, легко перекрывая шум своим резким, пронзительным голосом. — Предоставьте их мне. По-моему, я их знаю. Взглянуть бы хорошенько, и уж *я-то* скажу вам, кто они такие.

Тут он ухитрился по головам толпы добраться к стене; выхватив у кариатиды факел, он тем же самым путем возвратился на середину залы — с ловкостью мартышки вспрыгнул на голову королю — оттуда вскарабкался на несколько футов вверх по цепи — и опустил факел, рассматривая орангутангов и по-прежнему крича: «Уж *я-то* сейчас узнаю, кто они такие!»

И пока все сборище (включая обезьян) корчилось от смеха, шут вдруг пронзительно свистнул; цепь рывком взлетела футов на тридцать — и с нею орангутанги, которые в отчаянии барахтались между полом и люком в потолке. Прыг-Скок, держась за цепь, оставался на том же расстоянии от мнимых обезьян и по-прежнему (как ни в чем не бывало) тыкал в них факелом, как бы пытаясь разглядеть, кто они.

При этом взлете все были настолько повержены в изумление, что с минуту стояла мертвая тишина. Ее нарушил тот же самый тихий, резкий *скрежет*, что привлек внимание советников и короля, когда тот выплеснул вино в лицо Пушинке. Но сейчас не могло быть никакого сомнения, откуда исходил звук. Его издавали клыкообразные зубы карлика, и он с пеной у рта скрипел и скрежетал зубами и с маниакальным исступлением, жадно смотрел на запрокинутые лица короля и семи его спутников.

— Ага! — наконец сказал разъяренный шут. — Ага! Теперь я начинаю понимать, *кто* они такие! Тут, делая вид, что он хочет рассмотреть короля еще более пристально, карлик поднес факел к облеплявшему короля слою кудели, и та мгновенно вспыхнула ярким и жгучим пламенем. Менее чем в полминуты все восемь орангутангов бешено запылали под вопли сраженной ужасом толпы, которая смотрела на них снизу, не в силах оказать им ни малейшей помощи.

Понемногу языки пламени, усиливаясь, вынудили шута вскарабкаться выше по цепи; и при его движении все снова на краткий миг погрузились в молчание. Карлик воспользовался им и снова заговорил:

— Теперь я *хорошо* вижу, — сказал он, — какого сорта люди эти ряженые. Это могущественный король и семеро его тайных советников, — король, который не стесняется ударить беззащитную девушку, и семеро его советников, которые потакают его гнусной выходке. Что до меня, я всего-навсего Прыг-Скок, шут — и это *моя последняя шутка*.

Ввиду высокой воспламеняемости кудели и дегтя, на который она была налеплена, карлик едва успел закончить свою краткую речь, как месть совершилась. Восемь трупов раскачивались на цепях — смрадная, почернелая, омерзительная, бесформенная масса. Уродец швырнул в них факелом, вскарабкался, не торопясь, к потолку и скрылся в люке.

Предполагают, что Пушинка, ожидавшая его на крыше, была сообщницей своего друга в его огненном мщении и что им вместе удалось бежать к себе на родину, ибо их более не видели.

Как была набрана одна газетная заметка[161]

Поскольку доподлинно известно, что «мудрецы пришли с Востока»[162], а мистер Вабанк Напролом прибыл именно с востока, то из этого следует, что мистер Напролом был мудрецом; если же нужны дополнительные доказательства, они также имеются — мистер Напролом был Редактором. Единственной его слабостью являлась раздражительность; а упрямство, в котором его упрекали, было отнюдь не слабостью, ибо он справедливо считал его своей *сильной* стороной. Оно было его достоинством, его добродетелью, и понадобилась бы вся логика Браунсона[163], дабы убедить его, что это «нечто иное».

Я доказал, что Вабанк Напролом был мудрецом; мудрость изменила ему лишь однажды,

---

[161] Сноски: 161

© Перевод. З. Александрова.

[162] Сноски: 162

«Мудрецы пришли с Востока» — афоризм, приписываемый английскому юристу Вильяму Дэви. «Чем дальше мы движемся на Запад, тем больше убеждаемся, что мудрецы пришли с Востока».

[163] Сноски: 163

Орест Браунсон (1803–1876) — американский священник, публицист и издатель, близкий к трансценденталистам.

когда он, покинув Восточные штаты — родину мудрецов — переселился на Запад, в город Александрвеликиополис или что-то в этом роде.

Надо, впрочем, отдать ему справедливость: когда он окончательно решил обосноваться в упомянутом городе, он полагал, что в той части страны не существует газет, а следовательно, и редакторов. Основывая «Чайник», он надеялся иметь в этой области монополию. Я убежден, что он ни за что не поселился бы в Александрвеликиополисе, когда бы знал, что в том же самом Александрвеликиополисе проживал джентльмен по имени (если не ошибаюсь) Джон Смит, который уже много лет нагуливал там жир, редактируя и издавая «Александрвеликиопольскую Газету». Не будь он введен в заблуждение, мистер Напролом не оказался бы в Алекс — будем для краткости называть его «Ополисом» — но раз уж он там оказался, то решил оправдать свою репутацию твердого человека и остаться. Итак, он остался, более того — распаковал печатный станок, шрифты и т. д. и т. п., снял помещение как раз напротив редакции «Газеты» и на третий день по приезде выпустил первый номер «Александро –», то есть «Опольского Чайника»; если память мне не изменяет, именно так называлась

новая газета.

Передовица, надо признать, была блестящая — чтобы не сказать сокрушительная. Она гневно обличала, в общих чертах, всё; а редактора «Газеты» разносила в клочья уже во всех подробностях. Иные из сарказмов Напролома были столь жгучи, что Джон Смит, который здравствует и поныне, всегда с тех пор казался мне чем-то вроде саламандры. Не берусь приводить дословно всю статью «Чайника», но один из ее абзацев гласил:

«О, да! — О, мы понимаем. — О, разумеется! Наш сосед через улицу — гений. — О, бог мой! — *куда* мы идем? *О темпора! О Мориц!*»[164].

Столь едкая и, вместе с тем, классическая филиппика произвела на мирных доселе жителей Ополиса впечатление разорвавшейся бомбы. На улицах собирались группы возбужденных людей. Каждый с неподдельным волнением ждал ответа достойного Смита. На следующее утро ответ появился:

«Позволим себе привести следующую заметку из вчерашнего номера «Чайника»: «*О*, да! — *О*, мы понимаем. — *О*, разумеется! — *О*, бог мой! *О* темпора! *О* Мориц!» Одним словом, сплошные

---

[164] Сноски: 164

Искаженная латинская цитата: O temporal O mores! (О времена! О нравы!).

«О»! Поэтому мысль автора и ходит кругами, и ни ему, ни его рассуждениям не видно ни начала, ни конца. Мы убеждены, что этот бездельник не способен написать ни слова без «О». Что это у него за привычка? Кстати, уж слишком он поспешил сюда с Востока. Интересно, он и там не расставался со своим «О»? О, как же он жалок!»

Негодование мистера Напролома при этих лживых инсинуациях я не берусь описывать. Однако, вследствие привычки, — которая даже угря заставила освоиться со сдиранием шкуры, — нападки на его порядочность рассердили его меньше, чем можно было ожидать. Больше всего он был разъярен насмешками над его *стилем*! Как! *Он*, Вабанк Напролом, не способен написать ни слова без «О»? Он докажет наглецу, что это не так. Да! Он докажет этому щенку, что это *далеко* не так! Он, Вабанк Напролом из Лягуштауна, покажет мистеру Джону Смиту, что может, если ему заблагорассудится, написать целый абзац — да что там абзац! — целую статью, где презренная гласная не будет употреблена *ни разу* — ни единого *разу*. Впрочем, нет; это было бы уступкой упомянутому Джону Смиту. Он, Напролом, *не намерен* менять свой слог в угоду капризам какого бы то ни было мистера Смита. Прочь, низкое подозрение! Да

здравствует «О»! Он не отступит от «О». Будет О-кать сколько ему вздумается.

Исполненный решимости и отваги, великий Ва-банк в ближайшем номере «Чайника» отозвался лишь следующей лаконичной, но решительной заметкой:

«Редактор «Чайника» имеет *честь* уведомить «Газету», что он («Чайник») в завтрашнем утреннем выпуске намерен доказать ей («Газете»), что он («Чайник») способен быть — и будет — *независим* в вопросах стиля; что он («Чайник») намерен выразить ей («Газете») уничтожающее презрение, с каким гордый и независимый «Чайник» относится к нападкам «Газеты», и для этого напишет специальную передовицу, где отнюдь не *намерен* избегать употребления великолепной гласной — эмблемы Вечности — оскорбившей не в меру чувствительную «Газету», о чем и доводит до общего сведения ее («Газеты») покорный слуга «Чайник». «На том и покончим с Букингемом!»[165].

Во исполнение сей зловещей угрозы, которую он скорее выразил туманным намеком, нежели ясно сформулировал, великий Напролом не внял

---

[165] Сноски: 165

Цитата из «Ричарда III», английского драматурга Колли Сиббера (1671–1757).

молениям о «материале», послал к черту метранпажа, когда тот (метранпаж) попытался убеждать его («Чайник»), что давно пора сдавать номер; не стал ничего слушать и просидел до рассвета за сочинением следующей поистине беспримерной заметки:

«Вот, Джон, до чего дошло! Говорили ослу — получишь по холке. Не совался бы в воду, не спросив броду. Уходи скорей восвояси, подобру-поздорову! Каждому в Ономполисе омерзело твое рыло. Осел, козел, обормот, кашалот из Конкордских болот — вот ты кто! Бог мой, Джон, что с тобой? Не вой, не ной, не мотай головой, пойди домой, утопи свое горе в бочонке водки».

Изнуренный этим титаническим трудом, великий Вабанк, разумеется, уже не мог в тот вечер заняться чем-либо еще. Твердо, спокойно, но с сознанием своей силы, он вручил рукопись ожидавшему мальчишке-наборщику и неспешно направился домой, где с большим достоинством лег в постель.

Мальчишка, которому была вверена рукопись, бегом поднялся по лестнице к наборной кассе и немедленно принялся набирать заметку.

Прежде всего — поскольку заметка начиналась со слова «Вот» — он запустил руку в отделение

заглавных «В» и с торжеством вытащил оттуда одно из них. Окрыленный успехом, он стремительно кинулся за строчным «О» — но кто опишет его ужас, когда рука его вернулась из ящика без ожидаемой литеры? Кто изобразит его изумление и гнев, когда он убедился, что напрасно шарит по дну *пустого* ящика? В отделении для строчных «О» не было ни единой буковки; а заглянув с опаской в отделение заглавных «О», он, к великому своему ужасу, обнаружил и там ту же картину. Не помня себя, он прежде всего побежал к метранпажу.

— Сэр! — крикнул он, не переводя духу. — Чего же тут наберешь, когда ни одного тебе «О»?

— То есть *как*? — проворчал метранпаж, очень злой из-за того, что задержался на работе так поздно.

— А так, что во всей кассе ни одного, хоть большого, хоть маленького.

– *Куда* ж они к черту подевались?

— Не знаю, сэр, — сказал мальчишка, — а только парень из «Газеты» что-то целый вечер здесь отирался, так может это *он* спер?

— Чтоб ему сдохнуть! Конечно, он, — ответил метранпаж, багровея от ярости, — а ты вот что, Боб, ты у нас молодец, стащи-ка и ты у них все

«и». Кровь из носу, а пусть и у них так, разрази их гром.

— Есть! — откликнулся Боб, подмигивая. — Уж я им *задам*, я им *пропишу*. А только как же с заметкой? Ее надо в завтрашний, а то хозяин так всыпет, что...

— Да уж это как пить дать, — прервал метранпаж, тяжело вздыхая и упирая на слово «пить»; — А *очень* она длинная, Боб?

— Не так чтобы *очень*, — сказал Боб.

— Ну ты уж как-нибудь постарайся, набери, ведь *спешно*, — сказал метранпаж, у которого работы было по горло; — сунь там что-нибудь вместо «О», все равно эту ерунду никто читать не станет.

– *Ладно*, — ответил Боб. — Замётано. — И поспешил к наборной кассе, бормоча по дороге: — Ничего себе выражается, а еще говорит, не ругаюсь. Поди, значит, и пусти им кровь из носу. Ладно! Это мы *можем*. — Дело в том, что Боб, в свои двенадцать лет и при четырех футах росту, готов был драться с кем угодно.

Упомянутая замена букв — отнюдь не редкий случай в типографиях; и почти всегда при этом, не знаю уж почему, недостающую букву заменяют буквой «х». Возможно, это объясняется тем,

что эта буква всегда имеется в наборной кассе в избытке; так по крайней мере *было* в старину, и наборщики привыкли прибегать к ней при заменах. Боб также посчитал бы за ересь употребить для замены другую букву, а не привычную «х».

— Заменять так заменять, — сказал он себе, с удивлением читая заметку, — но в *жизни* не видел, чтобы столько этих самых «О» зараз.

Он заменял решительно и твердо, и с этими заменами заметка вышла в свет.

Наутро население Онополиса было ошеломлено следующей удивительной передовицей «Чайника»:

«Вхт, Джхн, дх чегх дхшлх! Гхвхрили хслу — пхлучишь пх ххлке. Не схвался бы в вхду, не спрхсив брхду. Уххди скхрей вхсвхяси пх дхбрупх здхрхву! Каждхму в Хнхпхлисе хмерзелх твхе рылх. Хсел, кхзел, хбхрмхт, кашалхт из Кхнкхрдских бхлхт — вхт ты ктх! Бхг мхй, Джхн, чтх с тхбхй? Не вхй, не нхй, не мхтай гхлхвхй, пхйди дхмхй, утхпи свхе гхре в бхчхнке вхдки».

Эта таинственная и кабалистическая заметка наделала невообразимого шуму. Первым впечатлением публики было, что в непонятных иероглифах кроется некий дьявольский заговор; и все бросились на квартиру Напролома, наме-

реваясь вымазать его смолой, но его нигде не оказалось. Он исчез неизвестно куда, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу.

За отсутствием законного объекта, народный гнев в конце концов улегся, оставив, в виде осадка, самые разнообразные мнения о злополучном событии.

Кто-то сказал, что Напролом просто хотел, чтоб похохотали.

Другой — что он храбрец.

Третий — что он хулиган и хам.

Четвертый — что это хула на все хорошее.

Пятый — что надо хранить заметку для потомства.

Что Напролом был доведен до крайности — это было ясно всем; ну, а раз этого редактора обнаружить не удалось, стали поговаривать, что следовало бы линчевать второго.

Большинство, однако, считало, что дело это — если хорошенько подумать — очень хитрое. Даже городской математик признался, что не в силах разобраться в столь сложной проблеме.

Мнение наборщика Боба (который ни словом не проговорился насчет «замен») не встретило, на мой взгляд, должного внимания, хотя он высказывал его открыто и безбоязненно. Он утверждал,

что дело тут ясное: мистер Напролом хлестал спиртное с утра до вечера, ну а во хмелю, конечно, хорохорился.